

Амос Оз

Мой Михаэль



*Научно-издательское предприятие «2Р»
выражает искреннюю благодарность
Институту переводов ивритской литературы
за помощь в осуществлении настоящего издания.*

Amos Oz

MY MICHAEL

Амос Оз

МОЙ МИХАЭЛЬ

РОМАН

Перевод с иврита Виктора Радуцкого

МОСКВА
1994
НИП «2Р»

ББК 84.5И
046

Амос Оз «МОЙ МИХАЭЛЬ». Роман.
Перевод с иврита Виктора РАДУЦКОГО.

Фото Амоса Оза, — Виктора РАДУЦКОГО
Снимки Иерусалима — Якова ЛИХОВЕЦКОГО
Редактор Инна ШОФМАН (Иерусалим)

0 $\frac{4703000000-003}{E 12(03)-94}$

ISBN 5-88246-011-5

- © Амос Оз «Мой Михаэль», 1987
Copyright © 1987 by the author
Mu Michael Amos Oz
- © Виктор Радуцкий, перевод на
русский язык
- © Яков Лиховецкий, Хадас Мишаэль
(консультант) — снимки Иерусали-
ма, 1994
- © Оформление НИП «2Р»

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПРОРОКОМ ...

Я бы сказал, что каждый, кто интересуется современным романом, должен прочесть Амоса Оза. Его проза исполнена силы и энергии. Его проникновение в образ мышления израильтян — виртуозно и великолепно. Он знает жизнь кибуца, где провел долгие годы, но так же хорошо знает жизнь города. Его женские образы выписаны с необыкновенной глубиной, точностью и нежностью; они, безусловно, — в ряду самых тонких воплощений женщины в современной беллетристике. Но не только это свойственно творчеству Оза.

Амос Оз продолжает традицию, которая — скрыто или явно — прослеживается во всех выдающихся произведениях западной литературы. Это традиция, если так можно выразиться, спора с Богом. Разумеется, в таком споре не может быть победителя, но каждая значительная книга — это еще одна попытка. Снова и снова спрашиваем мы не только о том, ЧТО происходит, но и о том, КАК может цивилизация, претендующая на наличие у нее некоего морального фундамента, допустить происходящее. В более привычной форме вопрос звучал бы так: «Движет ли что-либо поступками человека, кроме инстинктивных потребностей и стремления удовлетворить их?»

Книге Иова достаточно было бы состоять всего лишь из нескольких стихов, чтобы мы осознали те выводы, к которым она ведет нас. Вы помните эту историю: человек, живущий жизнью праведника, вдруг без всякой видимой причины теряет все — КАК может он постичь Бога и мир Божий? Число ответов, равно как и «не ответов» бесконечно, и вы делаете свой выбор, но по мере развертывания сюжета явственно проступают параметры отношения человека к своей судьбе и к своей вере. Короче говоря, в истории Иова подвергается сомнению абсолют-

ный порядок жизни. И то же самое происходит в книгах Амоса Оза. Однако писатель с новой силой задает тот же самый вопрос спустя тысячи лет после того, как была создана Книга Иова. Между ними — десятки миллионов безвременных смертей, сотни миллионов заблуждений, пропитанная кровью история человечества. И вот вместо того, чтобы сидеть под звездами Средиземноморья, ища ответы в небесах, писатель, подобно слепцу, простирает руку в стремлении определить формы и размеры животного, которое оказывается дикобразом. Иными словами, работа его кажется и современной, и созданной тысячелетия назад.

Амос Оз — необычайно смелый человек. Его книга «На земле Израиля», где он описывает свои встречи с людьми, находящимися в постоянной осаде проблем, свою полемику со сторонниками «жесткого курса», — это свидетельство абсолютной преданности Оза не только своей стране, но и справедливости. А эти два понятия, как известно нам из нашего американского опыта, далеко не всегда синонимы. Оз сражался в войнах, которые вел Израиль, но тогда рядом с ним сражались и другие бойцы. Когда же он отстаивал свое прозорливое — с позиций нравственности — видение Израиля, писатель чаще всего оказывался в одиночестве. Но сейчас, когда уже идут переговоры между Израилем и ООП по крайней мере один пророк должен чувствовать, что жизнь его прожита не напрасно.

Артур МИЛЛЕР
Ноябрь 1993 г.

МОЙ МИХАЭЛЬ



Иерусалим. Январь 1960

I

Я ПИШУ ПОТОМУ, ЧТО ЛЮДИ, КОТОРЫХ я любила, уже умерли. Я пишу потому, что во мне, девочке, была огромная сила любви, а теперь моя сила любви умирает. Я не хочу умирать.

Я — замужняя женщина тридцати лет. Мой муж, доктор Михаэль Гонен, геолог и добрый человек. Я любила его. Мы встретились в здании «Терра Санта» десять лет назад. Я была тогда вольнослушательницей в Еврейском университете; в те дни лекции все еще читались в «Терра Санта».

Встретились мы так.

Однажды зимой, в девять утра, я поскользнулась на тестнице. Незнакомый юноша поймал меня за локоть. В руке его ощутила я силу и сдержанность. Я заметила короткие пальцы с ровно подстриженными ногтями, бледные пальцы с суставами, поросшими черным пуш-

ком. Его проворство предотвратило мое падение. Я опиралась на его руку, пока не прошла боль. И растерялась, потому что унижительно вдруг очутиться беспомощной среди чужих людей: пронзительные, испытующие взгляды и грязные ухмылки. Я чувствовала смущение, потому что ладонь незнакомца была широкой и теплой. Пока он поддерживал меня, я ощущала тепло его пальцев сквозь рукав моего голубого шерстяного платья, связанного мамой.

Была зима в Иерусалиме.

Он осведомился — не ушиблась ли я.

Я ответила, что, кажется, подвернула лодыжку.

Он заметил, что слово «лодыжка» кажется ему красивым. Улыбнулся. Его стеснительная улыбка стесняла и меня. Я покраснела. И не отказалась, когда он попросил разрешения проводить меня в кафетерий на нижнем этаже. Нога болела. Здание «Терра Санта» — бывший монастырь, арендованный Еврейским университетом, поскольку дорога к корпусам на горе Скопус оказалась отрезанной. Это — холодное здание: коридоры его широки и высоки. Я не могла собраться с мыслями, увлекаемая молодым незнакомцем. Приятно было повиноваться его голосу. Неловко было уставиться на него, чтобы рассмотреть его лицо, и я воображала, что оно — удлиненное, худое, смуглое.

Он сказал:

— А теперь присядем.

Мы уселись, не глядя друг на друга. Он, не спрашивая меня, заказал две чашки кофе ...

Покойного отца я любила больше всех людей на свете ...

Когда мой новый знакомый повернул голову, я увидела, что волосы его подстрижены рукой решительной, а выбрит он неравномерно. Особенно под подбородком, где пробивались темные щетинки. Не знаю, почему эта деталь оказалась для меня такой важной и расположила к нему. Нравилась его улыбка. Нравились его пальцы, играющие ложечкой, будто живущие собственной, независимой жизнью. И ложечке нравилось, как они держат ее. Моему пальцу хотелось легко коснуться его — там, под подбородком, где он был плохо выбрит, где пробивались щетинки.

Михаэль Гонен, так его звали.

Он учился на третьем курсе геологического факультета. Родился и жил в Холоне.

— Холодно в вашем Иерусалиме.

— Мой Иерусалим? С чего это вы взяли, что я из Иерусалима?

О, он просит прощения, если на этот раз ошибся, однако ему кажется, что он прав. Он научился узнавать иерусалимцев с первого взгляда. Произнеся это, он впервые посмотрел мне в глаза. У него глаза были карие. Я увидела в них искорку смеха, но не веселую искорку. И сказала, что на сей раз его догадка верна. Я и вправду из Иерусалима.

— Догадка? О, нет.

Он прикинулся обиженным, усмехнулся кончиками губ: нет, нет, это вовсе не догадка. Он увидел во мне иерусалимку. Увидел? Этому тоже обучают на геологическом факультете? Нет, конечно же, нет. Этому он научился у кошек. У кошек?! Да, он любит наблюдать за кошками. Кошка никогда не подружится с тем, кто не способен полюбить ее. Кошки никогда не ошибаются в людях.

— Вы — счастливчик, — сказала я радостно.

Я засмеялась, и мой смех выдал меня.

Затем Михаэль Гонен пригласил меня подняться вместе с ним на третий этаж «Терра Санта», где будут демонстрироваться научные короткометражные фильмы о Мертвом море и Араве — примыкающей к нему бесплодной равнине.

Когда, поднимаясь по лестнице, мы миновали место, где я поскользнулась, Михаэль снова взял мой локоть в свою теплую ладонь. Будто эта ступенька таила в себе опасность. Сквозь голубую шерсть я ощущала каждый из пяти его пальцев. Он кашлянул, и я взглянула на него. Он поймал мой взгляд, и лицо его залилось краской. Даже уши стали красными. Дождь стучал в окно. Михаэль сказал:

— Что за ливень!

— Ливень, — согласилась я с таким воодушевлением, будто из его слов вдруг выяснилось, что мы — родственники.

Поколебавшись, Михаэль добавил:

— Еще рано утром я видел туман, а потом задул ветер.

— В моем Иерусалиме зима — это зима, — заметила я с восторгом, подчеркнув «мой Иерусалим», потому что хотела напомнить ему те — первые — сказанные мне слова. Я хотела, чтобы он продолжал говорить. Но он не нашелся с ответом, он вообще не был остер на язык. И поэтому снова улыбнулся. В дождливый день в Иерусалиме. В здании «Терра Санта». На лестнице между вторым и третьим этажом. Я не забыла.

Научный фильм показывал нам, как выпаривают воду до появления чистой соли. Белоснежные кристаллы сверкали на фоне серой глины. Кристаллики минералов были подобны нежным жилкам, тонким и очень хрупким. Серая глина раскалывалась прямо у нас на глазах: поскольку фильм — учебный, явления природы он представлял в убыстренной последовательности. Фильм был немым. Черные шторы на окнах затеняли дневной свет. А еще был там старый профессор, который время от времени что-то пояснял. Голос ученого — усталый, надтреснутый. Мне вспомнился приятный голос доктора Розенталя, лечившего меня от дифтерии, когда мне было девять лет. Несколько раз тонкой указкой отмечал профессор основные моменты демонстрируемых картин, чтобы мысли его студентов не отвлекались от главного. И только я была вольна замечать те детали, от которых не было никакой пользы для науки, например, упрямые ползущие растения пустыни, вновь и вновь появляющиеся на экране у подножия установок, производящих поташ. В мерцающем свете «волшебного фонаря» вольно мне было разглядывать старого профессора, его лицо, руку с указкой. Словно он — гравюра на дереве, иллюстрация в одной из любимых старых книг. Я помнила темные гравюры из книги «Моби Дик».

Снаружи прокатились тяжелые раскатистые громы. Разбушевавшийся дождь стучал в затемненные окна, будто требовал от нас с трепетом выслушать из уст его срочное известие.



II

ИОСИФ, МОЙ ПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ, БЫВАЛО, говорил: «Люди сильные вольны делать почти все, что пожелают, но даже самые сильные люди не вольны желать все, чего им хочется». Я не принадлежу к самым сильным.

В тот же день мы условились с Михаэлем встретиться вечером в кафе «Атара» на улице Бен-Иегуды. За окном бушевала настоящая буря, будто в неистовстве пробовала крепость иерусалимских стен.

В те времена еще не отменили продовольственные карточки. Нам подали эрзац-кофе и сахар в крошечных пакетиках. Михаэль пошутил по этому поводу, но шутка вышла не смешной, потому что он не умел острить. Мне нравились его усилия, и было радостно, что я — причина его внутреннего напряжения. Ради меня он из кожи вон лезет, старается веселить и быть веселым. Когда я была

девятилетней девочкой, я все еще надеялась, что вырасту мужчиной, а не женщиной. В детстве у меня не было подруг. Я водилась с мальчишками. Любила их книжки. Боролась, лягалась, карабкалась. Жили мы в Кирият-Шмуэль, на самой границе с кварталом Катамон. Заброшенный выгон на косогоре, скалы, колючки, железный хлам. А у подножия холма стоял дом близнецов. Близнецы-арабы, Халиль и Азиз, сыновья Рашида Шхаде. Я — принцесса, а они мои телохранители. Я — полковдец, а они — военачальники. Следопыт в лесах, а они — охотники. Капитан корабля, а они — матросы. Разведчица, а они — мои агенты. Мы шатались по дальним улицам, носились в зарослях, голодные, запыхавшиеся, издевались над детьми из религиозных семей, забирались в рощу Сен-Симон, дразнили полицейских-англичан. Убегая и преследуя. Прячась и появляясь внезапно. Я властвовала над близнецами. Это доставляло удовольствие, от которого шел холодок по коже. Как далеко это.

Михаэль сказал:

— Ты — застенчивая девушка.

После того, как мы допили кофе, Михаэль достал трубку из кармана пиджака и положил ее на стол. Между нами. На мне были коричневые вельветовые брюки и красный тяжелый свитер. В те времена студентки в Иерусалиме носили такие свитера, создающие впечатление приятной небрежности. Михаэль, смущаясь, заметил, что утром, в голубом шерстяном платье, я выглядела более женственно. По его мнению, понятно.

Я сказала:

— Утром ты тоже показался мне иным.

Михаэль был в сером пальто, которое он не снимал все время, что провели мы в кафе «Атара». Щеки его пылали, потому что с холода мы вошли в тепло. Был он худощав, угловат. Зажав в ладони незажженную трубку, он чертил ею узоры на скатерти. Его пальцы, поигрывающие трубкой, вызывали во мне какое-то чувство умиротворения.

Может, он сожалел о своем замечании по поводу моего наряда. И как бы исправляя ошибку, сказал, что, на его взгляд, я — красивая женщина. Произнеся это, он со-

средоточил свой взгляд на трубке. Я не из самых сильных, но я сильнее этого парня.

Я сказала:

— Расскажи о себе.

Михаэль произнес:

— В рядах ПАЛМАХА не сражался. Я был в войсках связи. Радистом в бригаде «Кармели».

Затем Михаэль предпочел рассказать о своем отце. Он — вдовец. Работает в отделе водоснабжения муниципалитета Холона.

Рашид Шладс, отец близнецов, служил чиновником в техническом отделе Иерусалимского муниципалитета во времена британского мандата. Это был образованный араб, который с незнакомыми вел себя подобострастно, как официант.

Михаэль рассказал, что отец тратит почти всю свою зарплату на его образование в университете: ведь он — единственный сын, и отец возлагает на него великие надежды. Не может примириться с тем, что сын его — ординарный парень. С благоговением читает он работы Михаэля, написанные им в рамках учебного курса геологии, оценивая их обычно так: «Это — научная работа. Весьма тщательная». Заветное желание отца — увидеть Михаэля профессором в Иерусалиме, потому что покойный дед, отец отца, был учителем природоведения в еврейской учительской семинарии в Гродно. Уважаемым учителем. И это великолепно, считает отец Михаэля, если от поколения к поколению будет передаваться традиция.

Я сказала:

— Семья — это не эстафета, а профессия — вовсе не факел.

— Но я не могу сказать это отцу, — отвечал Михаэль, — потому что он человек чувствительный и обращается с традиционными представлениями, как когда-то обращались с дорогим хрупким сервизом. А теперь — твоя очередь рассказывать о своей семье.

Я рассказала Михаэлю, что мой отец умер в сорок третьем году. Был он спокойным человеком. Обращался с людьми так, будто считал себя обязанным добиться расположения, которого он вовсе не достоин. Владел не-

большим магазином радио- и электротоваров — продажа и мелкий ремонт. С тех пор, как умер отец, мать моя живет в кибуце Ноф Гарим, у старшего брата Иммануэля. Под вечер сидит она в комнате Иммануэля и его жены Рины, пьет чай и пытается обучать хорошим манерам Иоси, внука, поскольку родители его принадлежат к поколению, пренебрегающему хорошими манерами. Целые дни проводит она в маленькой комнатке на окраине кибуца, читает на русском Тургенева или Горького, пишет мне письма на плохом иврите, вяжет, слушает радио. Вот и то голубое платье, в котором я тебе так понравилась утром, связала Малка, моя мать.

Михаэль улыбнулся:

— Может, было бы неплохо, если бы твоя мать и мой отец встретились. Наверняка нашли бы много общих тем. Не так, как мы, Хана. Мы сидим здесь и говорим о родителях. Тебе скучно? — спросил тревожно Михаэль; глаза его прищурились, будто этот вопрос причинил ему боль.

— Нет, — ответила я, — мне вовсе не скучно. Мне хорошо здесь.

Не потому ли я ответила так, что боюсь его обидеть, спросил Михаэль. Я решительно возразила. И даже стала упрашивать, чтобы он еще рассказал об отце. Ведь его так интересно слушать.

Отец Михаэля сознательно избрал аскетизм образом жизни. По вечерам на общественных началах возглавляет он клуб Рабочей партии в Холоне. Возглавляет? Расставляет скамейки, расклеивает объявления, размножает листовки, собирает окурки после заседаний. Может, было бы неплохо, если бы наши родители встретились. Это уже было сказано, он просит прощения за утомительные повторения. Что я изучаю в университете? Археологию?

Я снимаю комнату у очень религиозной семьи в квартале Ахва. По утрам я работаю воспитательницей в детском саду Сарры Зельдин в Керен Авраам. А после полудня слушаю лекции по ивритской литературе, древней и новой. Но в университете я — вольнослушатель.

«Вольнослушатель — вольнокушатель», — Михаэль подбирал смешную рифму, изо всех сил стараясь, чтобы пауз в нашей беседе не было. Однако успех не казался ему столь очевидным, он попробовал еще раз поиграть слова-

ми. Но вдруг умолк и предпринял новую, решительную попытку разжечь свою непокорную трубку.

Я радовалась его смущению. В те времена я все еще с презрением относилась к тому типу суровых мужчин, которых обожали мои подружки: медведей-палмахников, обрушивавших на тебя неистощимый водопад комической доброты, или трактористов с мощными бицепсами, которые появляются, покрытые пылью Негева, и набрасываются на женщин, как мародеры, получившие город на разграбление. Мне нравилось смущение Михаэля Гонена в кафе «Атара», зимним вечером.

Знаменитый ученый вошел в кафе в сопровождении двух женщин. Михаэль склонился ко мне, шепча его имя в самое ухо. Его губы коснулись моих волос, и я подумала: «Вот теперь он вдыхает запах волос, и они щекочут его кожу». И это было мне приятно.

Я сказала:

— Я могу читать твои мысли. Вижу тебя насквозь. Сейчас ты себя спрашиваешь: «Что же дальше? Как продолжить?» Не так ли?

Михаэль вдруг покраснел, как мальчишка, уличенный в краже конфет:

— У меня еще никогда не было постоянной подруги.

— Не было?

Михаэль осторожно отодвинул пустую чашку. Взглянул на меня. В его взгляде сквозила насмешка, упрятанная глубоко под покровом смирения:

— Пока.

Спустя четверть часа знаменитый ученый покинул кафе в сопровождении одной из женщин. Ее подруга пересела за дальний столик, с горечью закурила сигарету. Михаэль сказал:

— Эта дама завидует.

— Завидует? Нам?

— Скорее тебе ...

Михаэль снова попытался шутить. Но шутки были немешны, потому что он старался изо всех сил. Если бы мне удалось объяснить ему, что эти старания говорят в его пользу. Меня завораживали его пальцы. Я не могла сказать об этом, но и молчать боялась. Я стала рассказы-

вать Михаэлю, что люблю встречаться с известными в Иерусалиме людьми — писателями, учеными ... Эту склонность я унаследовала от Иосифа, моего покойного отца. Когда я была маленькой, отец всегда показывал мне знаменитостей, проходящих по улице. Он очень любил выражение — «всемирно известный». С каким-то восторженным удивлением шептал он мне, что профессор, только что скрывшийся в цветочном магазине, человек — всемирно известный, а вон тот прохожий — он приобретает репутацию в научном мире. И я видела крошечного старичка, с осторожностью отыскивающего свой путь, будто он заблудился в чужом городе. Когда в школе мы учили Книги Пророков, я воображала этих Пророков писателями и учеными, которых мне показал отец: люди с тонкими лицами, в очках, с аккуратно подстриженными седыми бородками, выступающие пугливо и осторожно, словно спускающиеся по крутому склону ледяной горы. И рисуя в своем воображении, как эти хрупкие люди метали громы, порицая грехи народа, я улыбалась, потому что мне казалось — на вершинах гнева голос их срывался, обращаясь в тонкий визг ... Если же писатель или профессор заходил на улицу Яффо, в магазин отца, тот возвращался домой, словно осененный светом небесным. С трепетом повторял он обыденные вещи, сказанные знаменитыми посетителями, перебирая слова и фразы, как нумизмат — редкие монеты. Он всегда искал какой-то скрытый намек в их речах, потому что жизнь виделась ему неким уроком, из которого необходимо извлечь определенные выводы. Он был человеком, который умел прислушиваться. Однажды субботним утром отец взял меня и брата Иммануэля в кинотеатр «Тель-Ор», где Мартин Бубер и Хуго Бергман выступали на собрании пацифистского объединения «Брит-Шалом». Мне запомнился странный эпизод. Когда мы вышли из зала, профессор Бергман, остановившись против нас, обратился к отцу: «Дорогой доктор Либерман, вас я никак не ожидал сегодня увидеть с нами ... Простите? Мой господин вовсе не доктор Либерман? И все же мы где-то встречались. Ваше лицо, мой господин, мне определенно знакомо». Отец пробормотал что-то. Он побледнел, будто был обвинен в непорядочности. Профессор тоже смутился, принес извинения за

свою ошибку и, может, стремясь загладить неловкость, коснулся моего плеча и сказал отцу: «Во всяком случае, мой господин, ваша дочь — это ваша дочь? — прелестная девушка». И под его усами промелькнула нежная улыбка. Это происшествие отец не забыл до конца дней своих. С радостью и волнением рассказывал он об этом вновь и вновь. И когда сидел он в кресле, в домашнем халате, очки сдвинуты на лоб, горестная улыбка на губах, — походил мой отец на человека, который замер, прислушиваясь к голосу некой сокрытой силы. «И ты знаешь, Михаэль, до сего дня мне иногда кажется, что я стану женой молодого ученого, которому уготована мировая слава. В свете настольной лампы, над грудями старинных немецких фолиантов возносится голова моего мужа, а я вхожу на цыпочках: поставлю на стол стакан чаю, опорожню пепельницу, тихо опущу жалюзи и выйду так, что он и не заметит. А теперь смейся надо мной».



III

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ.

Михаэль и я, каждый в отдельности, расплатились по счету, как было принято у студентов, и вышли в ночь. Обжигающий холод полоснул по лицу. Я выдохнула облачко пара, чтобы мое дыхание смешалось с дыханием Михаэля. Перчаток у меня не было, и Михаэль настоял, чтобы я надела его перчатки, грубые, кожаные, на подкладке.

А когда рука моя коснулась его пальто, я ощутила плотную, тяжелую ткань, приятную нащупь. Потоки воды, журча в канаве у кромки тротуара, неслись в сторону площади Сиона, будто нечто сенсационное происходило сейчас в центре города. Нас миновала парочка; они шли обнявшись, тесно сплетясь друг с другом.

Девушка сказала:

— Просто невероятно. Не могу в это поверить.

Ее спутник рассмеялся:

— Ну и наивная же ты!

Мы постояли несколько мгновений, не зная, что станем делать. Но мы знали, что расставаться нам не хочется. Дождь прекратился, холод пробирал до костей. Я окоченела. Мы глядели на воду, бегущую по желобу вдоль края тротуара. Дорога отбрасывала блики. Асфальт искаженно отражал желтый свет автомобильных фар, разбрасывая изломанные лучи. В голове проносились обрывки мыслей: как удержать Михаэля подольше?..

Михаэль сказал:

— Я готовлю тебе ловушку, Хана.

Я ответила:

— Не рой другому яму ... Осторожно, Михаэль.

— Черные сети я раскинул, Хана.

Дрожащие губы выдали его.

На миг он показался мне большим грустным ребенком, которому обкорнали волосы. Мне хотелось купить ему шапку. Прикоснуться к нему.

Неожиданно Михаэль поднял руку.

Остановилось такси, слегка скрипнув тормозами.

Мы оказались в его теплой утробе. Михаэль сказал, что водитель может ехать куда ему вздумается. Водитель метнул в мою сторону хитроватый взгляд, исполненный гнусного веселья. В красноватом свете, отбрасываемом приборным щитом, лицо водителя выглядело так, будто с него сняли кожу, обнажив алое мясо. Это было лицо насмешливого сатира. Я не забыла.

Минут двадцать мы ехали в неизвестном направлении. Пар нашего дыхания оседал на стеклах. Михаэль говорил о геологии. В Техасе, в Америке, бурят водяную скважину, а оттуда вдруг забьет нефтяной фонтан. Наверно, и в Израиле есть неоткрытые месторождения нефти. Михаэль сказал: «литосфера». Он сказал: «песчаник», «меловой слой». И еще сказал: «докембрий», «кембрий», «метаморфные скалы», «магматические скалы», «тектоника». Тогда впервые ощутила я ту внутреннюю судорогу, которую чувствую и сегодня, когда я слышу этот странный язык моего мужа. Слова эти говорят о вещах, касающихся меня, и только меня, словно закодированная радиограмма. Под земным покровом непрерывно действуют в про-

тивоположных направлениях эндогенные и оксигенные силы. Мягкие осадочные породы подвергаются постоянному распаду под воздействием давления. Литосфера — это оболочка из твердых скальных пород. Под оболочкой из твердых скальных пород kloкочет сидеросфера — раскаленное ядро.

Я не совсем уверена, что Михаэль произносил все эти слова во время той поездки, в Иерусалиме, зимней ночью, в тысяча девятьсот пятидесятом году. Но некоторые я в ту ночь слышала впервые. Я вся сжалась, будто что-то чужое, недоброжелательное направлено на меня, а я никак не могу расшифровать его. Похоже на бесполезные попытки восстановить ночной кошмар, рассыпавшийся в глубинах памяти. Ускользящий, как фабула сна.

Когда Михаэль произносил все эти слова, его голос был глубок и размерен. В темноте мерцали красноватые огни на приборном щите автомобиля. Михаэль говорил так, будто на него возложена тяжкая ответственность, будто именно сейчас точность имеет наивысшее значение. Если бы взял он мою ладонь, сжал в своей, я бы не отняла руку. Но мой любимый был охвачен каким-то сдержанным воодушевлением. Пафос, спокойный и увлекающий. Я ошиблась. Он может быть и очень сильным, если захочет. Намного сильнее меня. Я приняла его. Его слова вселяли в меня покой, нечто подобное испытывала я после полуденного сна: умиротворенной просыпаешься в сумерки, когда время как бы смягчается, и я нежна, и все вокруг исполнено нежности.

Такси мчалось по мокрым улицам, которых мы не могли узнать, потому что окна заволкло паром нашего дыхания. Два «дворника» скользили по ветровому стеклу. Они работали в точном ритме, будто подчиняясь какому-то суровому закону.

Спустя двадцать минут Михаэль сказал: «Хватит». Богачом он не был, наша прогулка уже обошлась ему в сумму, на которую можно пять раз пообедать в студенческой столовой на улице Мамила.

Мы вышли из машины в незнакомом месте. Круто поднимающийся переулок, вымощенный каменными плитами. Дождь, который к тому времени возобновился с но-

вой силой, хлестал по этим плитам. Дикая холод глумился над нами.

Мы шли медленно. Промокли до костей. Вода стекала по волосам Михаэля. Лицо его выглядело смешным, он был похож на плачущего ребенка. Один раз он пальцем смахнул дождевую капельку, задержавшуюся на кончике моего подбородка. Вдруг мы оказались на площади перед зданием «Дженерале». Крылатый лев, вымокший и промерзший лев, взглянул на нас сверху. Михаэль готов был поклясться, что лев смеялся негромко.

— Разве ты не слышишь, Хана? Смеется! Он смотрит на нас и смеется! По-моему, вполне справедливо.

Я сказала:

— Жаль, что Иерусалим — маленький город, где нельзя сбиться с пути и заблудиться.

Михаэль провожал меня по улице Мелисанда, по улице Пророков, по улице Штрауса, называемой также улицей Здоровья, ибо там стоял Дом Здоровья. Ни единой живой души мы не встретили. Казалось, все жители покинули город, оставив его нам в полное владение. В детстве я играла в «Принцессу города». Братья-близнецы исполняли роли послушных подданных. Временами я подстрекала их к бунту, а затем умирала железной рукой. Это было изысканное удовольствие.

Ночью, зимой, иерусалимские здания подобны застывшим серым химерам, на которые наброшен черный покров. Пейзаж, затаивший обузданное насилие. Иерусалим умеет прикинуться абстракцией: камни, сосны и ржавое железо.

Коты с задранными хвостами металась по пустынным улицам. Стены домов возвращали искаженное эхо наших шагов, и от этого шаги звучали глухо, протяжно.

Мы постояли минут пять у порога дома.

Я сказала:

— Михаэль, я не могу пригласить тебя к себе и предложить чаю, потому что мои хозяева — религиозные люди. Снимая у них комнату, я обещала, что никогда не буду приглашать к себе мужчин. А сейчас — половина двадцатого ночи.

Когда я произнесла «мужчины», мы оба засмеялись. Михаэль ответил:

— Я и не надеялся, что ты пригласишь меня подняться в комнату.

Я сказала:

— Михаэль Гонен, ты — безупречный кавалер. И я благодарна тебе за этот вечер. За все. И если однажды ты пригласишь меня снова, не думаю, что смогу тебе отказать.

Он склонился ко мне. С силой сжал мою левую руку в своей правой. Затем поцеловал мне руку. Движения его были решительны, будто всю дорогу он разучивал их, повторяя вновь и вновь, и, казалось, он шепотом сосчитал до трех, прежде чем склонился и поцеловал руку.

Сквозь кожаные перчатки, которые он дал мне, когда мы вышли из кафе, захлестнула меня теплая, сильная волна. Сырой ветер зашумел в кронах деревьев и затих. Как принц из английских фильмов, Михаэль поцеловал мою руку в перчатке. Разве что, вымокнув до нитки, он забыл улыбнуться при этом. Да и перчатка не была белоснежной.

Я сняла перчатки и вернула их Михаэлю. Он поспешил надеть их, пока хранили они мое тепло. Кто-то зашелся пронзительным кашлем за опущенными жалюзи на втором этаже.

— Какой ты сегодня странный, — улыбнулась я. Словно я знаю, каков он в иные дни.



IV

У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ о дифтерии, которой я болела в девять лет. Это было зимой. Долгие недели проводила я в постели у окна, выходившего на юг. За окном открывались хмурые просторы, дожди, клочья тумана — южный Иерусалим, тени гор Вифлеема, Эмек Рефаим, богатые арабские дома в долине. То был зимний мир, где линии размыты, мир, на пространствах которого громоздились темные глыбы различных оттенков: от бледно-серого до почти черного. А еще я видела железную дорогу и провожала взглядом составы на всей протяженности Рефаимской долины — от законченного здания вокзала до извивов полотна возле арабской деревни Бейт-Сафафа. Железная дорога была в моем подчинении. Верные мне солдаты удерживали господствующие высоты. Я была императором в изгнании. Императором, чью власть и величие не умень-

шают ни расстояния, ни одиночество. В моих снах южные кварталы Иерусалима были перенесены на острова Сен-Пьер и Микелон: я узнала про эти острова, разглядывая альбом с марками моего брата Иммануэля. Их названия пленили меня. Я готова была продлить мир моих снов, перенеся его через грань пробуждения. И дни, и ночи — чередование, таящее некое предопределение ...

Сильный жар тому способствовал. Это были «лунатичные», волшебством расцвеченные недели. Я была королевой. Мое холодное господство сменялось необузданным бунтом. Силы низкие внезапным порывом настигали меня. Я была схвачена толпой черни, арестована, подвергнута унижениям и пыткам. Но кучка верных мне людей втайне замыслила заговор во имя моего спасения. Я верила в них. Сладки мне были пытки, ибо из них возносились гордость. Возвращенное мне превосходство. Доктор Розенталь говорил, что я когтями вцепилась в болезнь, что есть дети, которые стараются заболеть и отказываются выздоравливать, потому что болезнь — в известном смысле, состояние свободы. Это — дурная черта.

К моему выздоровлению — в конце зимы — познала я вкус изгнания. Утратила я алхимию колдовства, способность повелевать снами, чтобы переносили они меня за грань пробуждения. До того дня каждое пробуждение ощущалось мною как лавина, обвал. Я подсмеиваюсь над своей потаенной жаждой быть тяжело больной.

Расставшись с Михаэлем, я поднялась к себе в комнату. Вскипятила чай. Четверть часа простояла у керосинки, согреваясь, ни о чем не думая. Я очистила яблоко, что прислал мне Иммануэль из своего кибуца Ноф Гарим. Вспомнила, как три или четыре раза безуспешно пытался Михаэль раскурить свою трубку. Техас — страна удивительная: человек копает у себя во дворе лунку, чтобы посадить дерево, а из лунки вдруг забьет струя нефти. Я никогда об этом не думала, о тех скрытых мирах, существующих под каждой пядью, на которую ступала моя нога. Минералы, кварцы, доломитовые скалы и все прочее ...

Потом я написала короткое письмо матери и семье брата. Я им всем объявила, что мне хорошо. Утром я должна не позабыть купить марку.

В литературе периода Еврейского Просвещения часто пишется война Света и Тьмы. Автор заинтересован, чтобы Свет победил Тьму. Я должна сказать, что предпочитаю тьму, потому что она более живая и теплая, чем свет. Особенно — летом. Белый свет измывается над Иерусалимом. Унижает город. Но в моем сердце нет никаких сражений между светом и тьмой. Я вспомнила, как тром поскользнулась в здании «Терра Санта». Момент был унижительный. Одна из причин, в силу которых я люблю спать, состоит в том, что я ненавижу принимать решения.

Во сне порой случаются страшные вещи, но всегда срабатывает некая сила, которая решает за тебя, а ты свободна быть уютной лодчонкой, плывущей туда, куда сны стремят свое течение, и все матросы погружаются в дрему, повсем, как в известной балладе. И еще — плавное покачивание, чайки и водный простор, распростертый ковром, непрерывно дышащий; в его дыхании — и нежность, и буря бездонных глубин. Я знаю — морская пучина холодна. Но не всегда. Однажды я читала книгу о теплых течениях и подводных вулканах. В определенном месте, под ледяной толщей вод, во глубине глубин затаилась теплая пещера. Девочкой я читала и перечитывала «20 тысяч лье под водой» Жюль Верна. Бывают такие счастливые ночи, когда я нахожу потаенный путь сквозь тьму и толщу вод, среди слизистых, в зеленой тине подводных скал — пока не постучусь в двери, ведущие в теплую пещеру. Там мой дом. Там ждет меня хмурый капитан в окружении книг, карт и трубок. Борода его черна, в глазах затаились голодные молнии. Словно дикарь, он хватается за меня, и я смиряю его клокочущий гнев. И еще: маленькие рыбки проплывают сквозь нас, словно оба мы сотворены из воды. Прошивая меня насквозь, эти рыбки оставляли во мне тонкие полоски острого наслаждения.

Готовясь к завтрашнему семинару, я прочитала две главы из книги Авраама Мапу «Любовь к Сиону». Если бы я была Тамар, то позволила бы Амнону преклонить предомной колени в течение семи ночей. И когда на языке Священных книг изольет он все муки любви, я прикажу ему, чтобы парусная лодка доставила меня на один из островов далекого архипелага, где даже краснокожие индейцы

обернутся фантастическими морскими созданиями, серебряно поблескивающими, испускающими электрические искры. И где чайки садятся на голубую гладь.

А иногда по ночам я вижу пустынную русскую степь. Равнины, покрытые голубоватой корочкой льда, отражают мерцание одичавшей луны. Я вижу сани и медвежью полость, и согнутую черную спину кучера, и яростный бег коней, и сверкающие во тьме глаза подступившей волчьей стаи. И одинокое дерево — высохший ствол, — стоящее на белом косогоре, и ночь, чернее черной ночи, и недремлющие зловещие звезды. Кучер вдруг оборотил ко мне свое тяжелое лицо, будто высеченное рукою пьяного скульптора. Ледяные сосульки повисли на кончиках его длинных усов. Рот приоткрыт, и кажется, что это из его, кучера, рта, вырывается пронзительный вой леденящего ветра. Мертвое дерево, стоящее на белом косогоре, не зря оно стоит там, у него своя роль, и, проснувшись, я никак не могу назвать ее. Однако, пробудившись, я все же помню, что дерево это имеет свое предназначение. Итак, я возвращаюсь не с пустыми руками.

Утром я спустилась купить марку. Отправила письмо в Ноф Гарим. Позавтракала простоквашей с булочкой, выпила чай. Моя хозяйка, госпожа Тарнополер, зашла ко мне в комнату, попросила к вечеру купить канистру керосина. За чаем я успела прочитать еще одну главу из Авраама Мапу. А в детском саду Сарры Зельдин нашлась проницательная девчушка, которая сказала мне:

— Хана, ты сегодня веселая, как маленькая девочка.

Я надела голубое шерстяное платье, повязала шею красным шелковым платком. Глянув на свое отражение в зеркале, я обрадовалась тому, что благодаря платку кажусь дерзкой, способной внезапно потерять голову.

В полдень Михаэль ждал меня у входа в здание «Терра Санта», рядом с тяжелыми железными воротами, украшенными завитушками из черного металла. В руках у него был ящик с образцами геологических пород. Если бы мне пришлось в голову пожать ему руку, это оказалось бы невозможным.

Я сказала:

— А, это ты? С чего ты решил ждать меня здесь? Кто назначал тебе встречу?

— Дождь прекратился, — ответил Михаэль. — И ты не мокнешь. А когда ты не мокнешь, то и смелости в тебе намного больше.

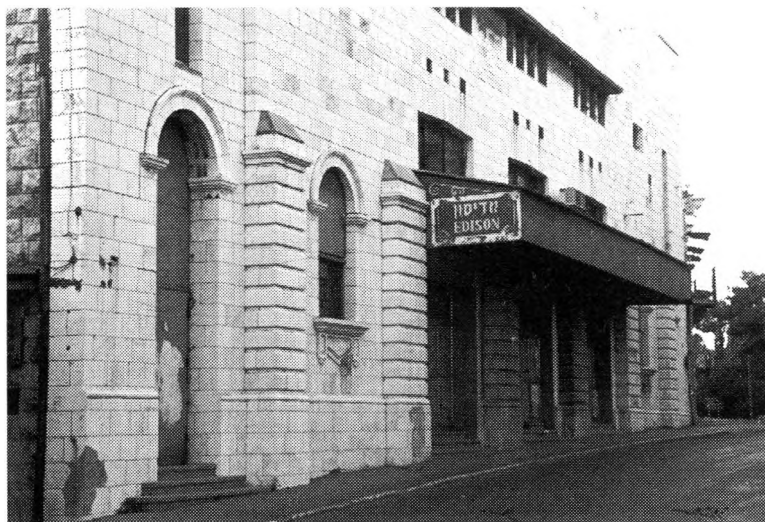
А затем он обратил мое внимание на лукавую, распутную улыбку Святой Девы, бронзовой скульптуры, стоящей на вершине здания. Она распростерла руки, будто обраталась заключить в объятия весь город.

Я спустилась в подвал, в библиотеку. В узком темном переходе, уставленном большими запечатанными ящиками, я столкнулась с библиотекарем, добрейшим коровышкой, в шапочке, которую носят на макушке религиозные евреи. Мы с ним обычно здоровались и обменивались шутками. И он, будто совершая открытие, спросил меня:

— Что с вами случилось сегодня, юная леди? Хорошие вести? Радостью полон весь облик Ханы, и счастьем очи ее обуяны ...

На семинаре профессор сообщил любопытный курьез: религиозные фанатики-евреи утверждали, что с тех пор, как Авраам Мапу издал свою книгу «Любовь к Сиону», прибавилось лежанок в домах разврата.

Что со всеми случилось сегодня? Все словно сговорилось. Моя хозяйка, госпожа Тарнополер, купила новый обогреватель. Она ко мне явно расположена.



V

К ВЕЧЕРУ НЕБО СЛЕГКА ПРОЯСНИЛОСЬ. ГОЛУБЫЕ ПРОГАЛИНЫ В РАЗРЫВАХ ОБЛАКОВ ПЛЫЛИ НА ВОСТОК. ВОЗДУХ БЫЛ НАПОЕН ВЛАГОЙ.

Мы с Михаэлем условились встретиться у кинотеатра «Эдисон». Тот, кто появится первым, купит два билета на фильм с Гретой Гарбо. Героиня фильма умирала от безответной любви, принесла в жертву подлецу свое тело и свою душу. Глядя на экран, я все время подавляла безудержное желание расхохотаться: и страдание, и жестокость казались мне двумя математическими символами в простом уравнении; я не соблазнилась попыткой отыскать неизвестные. Даже до пренебрежения не опустилась. Чувства переполняли меня. И я склонила голову на плечо Михаэля, поглядывая искоса на экран, пока сменяющиеся кадры не превратились в скачущий поток, переливающийся оттенками черного, белого, светло-серого ...

Когда мы вышли, Михаэль сказал:

— Чувства набухают и превращаются в злокачественную опухоль, если человек сыт и ему нечем занять себя.

— Весьма банальное наблюдение, — отозвалась я.

— Видишь ли, Хана, искусство — это не моя область. Я — человек техники, технарь, как говорится.

— И это — банальность, — не унималась я.

— Ну и что? — улыбнулся Михаэль.

Всякий раз, не находя ответа, он заменял его улыбкой, похожей на улыбку ребенка, обнаружившего мелочность в поступке взрослого: стеснительная улыбка, вызывающая ответное смущение.

Мы спустились по улице Исаяи в сторону улицы Геула. Колючие звезды глядели с небес Иерусалима. Немало уличных фонарей периода британского мандата пострадало от артобстрела во время Войны за Независимость. В 1950 году большинство из них все еще было разбито. В пролетах переулков чернели тени гор.

— Это не город, а обман, — сказала я, — со всех сторон подступают горы, прорываясь внутрь: Кастель, Масличная гора, Августа-Виктория, Неби Самуэль, Мисс Керри. И вдруг открывается, что город этот не устойчив, а зыбок.

Михаэль сказал:

— Иерусалим после дождя нагоняет грусть. И вообще — когда этот город не наводит грусть? Однако у каждого часа и у каждого времени года — своя грусть.

Рука его обняла меня за плечи. Я упрятала руки в карманы моих коричневых брюк из вельвета. Один раз я вытащила руку, чтобы прикоснуться к нему, там, под подбородком. Сказала, что сегодня он гладко выбрит, не то что при нашей первой встрече в «Терра Санта». Наверняка он побрился, чтобы мне понравиться.

Михаэль смутился. Он солгал, когда сказал, что именно сегодня купил новую бритву. Я засмеялась. Поколебавшись, он решил присоединиться ко мне.

На улице Геула мы увидели религиозную женщину в белом чепце, которая, открыв окно на третьем этаже, высунулась из него наполовину, словно намеревалась выброситься на улицу. Но она всего лишь пыталась закрыть тяжелые железные ставни, которые отчаянно скрипели.

Когда мы миновали площадку детсада Сарры Зельдин, я рассказала Михаэлю, что работаю тут. Я — строгая воспитательница? Он полагает, что я сурова с детьми. Почему он так полагает? Ответа у него не было. Ну просто, как ребенок: начинает говорить и не знает, как закончить. Высказывает мнение, но не может его отстоять. Как ребенок ...

Михаэль улыбался.

Из подворотни на улице Малахии вдруг раздался кошачий вой. Это был ужасный истерический визг, а за ним — два сдавленных всхлипывания и, наконец, тихий, тоненький, покорный плач, будто все — бессмыслица, надежды нет. Плач отчаяния.

Михаэль сказал:

— Они кричат от любви. Знаешь ли ты, Хана, что у котов период любви наступает именно зимой, в самые холодные дни? Когда я женюсь, то заведу в доме кота. Я всегда хотел иметь кота, но отец не позволял. Я был единственным ребенком. Коты кричат, когда влюблены, потому что они начисто лишены хороших манер и вообще ни с чем не считаются. Я полагаю, что коту, сгорающему от любви, должно казаться, будто чья-то рука схватила его и сжимает со страшной силой. Это — жгучая физическая боль ... Нет, в рамках курса геологии я этого не изучал ... Я так и знал, что ты с насмешкой отнесешься к этим разговорам. Пошли.

— Ты был очень избалованным ребенком, — заметила я.

— Я был надеждой семьи, — ответил Михаэль. — Я и сегодня — надежда семьи. Отец и четыре его сестры — все поставили на меня, словно я — скаковая лошадь, а университетское образование — дорожка ипподрома. Что ты делаешь, Хана, по утрам в своем детском саду?

— То же, что делают воспитательницы в детсадах всего мира. Недавно, на праздник Ханука, я клеила волчки из бумаги и вырезала Маккавеев из картона. Иногда я сгребая сухие листья на дорожках во дворе детсада. Иногда бренчу на пианино. Частенько рассказываю детям истории про индейцев, про острова, путешествия, подводные лодки. Маленькой я обожала читать принадлежащие брату Иммануэлю книги — Жюль Верна и Фенимора Ку-

тера. Думала, что, если стану лазать на деревья, драться, читать книги, которые читают мальчишки, мое тело станет таким, как у них, и я не буду больше девочкой. Мне казалось, быть девчонкой — противно. Взрослые женщины вызывали во мне ненависть и отвращение. Даже сегодня я иногда тоскую по встрече с таким человеком, как Михаил Строгов. Огромным и сильным, но сдержанным и очень спокойным. Вот каким он должен быть: молчаливый, преданный, кроткий, но с трудом сдерживающий напор своей внутренней энергии ... Почему ты спрашиваешь о себе? Нет, я вовсе не сравниваю тебя с Михаилом Строговым. Да и к чему мне сравнивать? Нет.

— Если бы мы встретились в детстве, — сказал Михаэль, — ты бы меня поколачивала. В младших классах самые драчливые девчонки, бывало, валили меня на землю. Я был из тех, кого называют «пай-мальчик»: флегматичный, старательный, ответственный, прямой и чистюля. Зато теперь я не флегматик.

Я рассказала Михаэлю о близнецах. С ними дралась я, стиснув зубы. Позднее, в двенадцать лет я была влюблена в обоих. Звала их Хальзиз. Халиль и Азиз. Юные красавцы. Два моряка, стройные, расторопные, от таких не отказался бы и сам капитан Немо. Слов они произносили мало. Молчали, либо издавали гортанные звуки. Не любили слов. Два темно-серых волка, гибкие, белозубые. Два смуглых дикаря. Пираты. Что ты знаешь, маленький Михаэль ...

Потом Михаэль рассказал мне о своей матери. Она умерла, когда Михаэлю было три года. Он помнит белую руку. Лица совсем не помнит. Фотографий немного, убогого качества. Его вырастил отец. Он воспитывал сына евреем и социалистом: рассказы о Хасмонеях, о ребятах из местечек, о детях нелегальных иммигрантов, подростках из кибуцев. Истории про малышей из Индии, страдающих от голода, про юных участников Октябрьской революции в России. «Сердце» Д'Амицис — дети ранены, но город они спасают. Делятся последней коркой хлеба. Угнетенные, они борются. С другой стороны, были четверо сестер отца: ребенок должен быть чистым, прилежным, учиться, продвигаться. Молодой врач полезен стра-

не — его все уважают. Молодой адвокат мужественно выступает перед британскими судьями, и все газеты пишут о нем. В день провозглашения Независимости отец сменил нашу фамилию. «Гонен» вместо «Ганц». Мои друзья в Холоне все еще называют меня Ганц. Но ты, Хана, не называй меня так. Ты по-прежнему будешь называть меня Михаэлем.

Мы прошли мимо стен военного лагеря «Шнеллер». Много лет назад здесь был сирийский дом сирот. Это место всколыхнуло очень давние грустные воспоминания, причина которых ускользнула от меня. Далекий колокол все звонил и звонил где-то на востоке. Я старалась не подсчитывать его удары. Мы с Михаэлем шли обнявшись. Моя ладонь была ледяной, а у Михаэля — теплой. Он пошутил:

— Холодные руки — горячее сердце, а горячие руки — сердце холодное.

Я ответила:

— У моего отца были теплые руки и горячее сердце. Он владел магазином электро- и радиотоваров, но был плохим коммерсантом. Я помню, как он стоит и моет посуду, обрядившись в мамин передник. Тряпочкой протирает пыль. Выбивает покрывало. Мастерски готовит омлеты. Рассеянной скороговоркой произносит благословения, зажигая свечи на Хануку. Считается с мнением даже самых ничтожных людей. Старается всем нравиться. Будто каждый — ему судья, а он — подсудимый, и приговорен вечно сдавать на «отлично» делящийся без перерывов экзамен — во искупление какого-то невидимого изъяна.

Михаэль сказал:

— Тот, кто станет твоим мужем, должен быть человеком очень сильным.

Начал идти тонкий дождик. Пал туман, серый, густой. Дома казались невесомыми. В квартале Мекор Барух промчался мимо нас мотоциклист, обдав брызгами. Михаэль погрузился в свои мысли.

У моего порога я приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. Он погладил меня и обтер мой мо-

крый лоб своей горячей рукой. Его губы как-то суматошно коснулись моей кожи. И он назвал меня холодной прекрасной дочерью иерусалимской. Я сказала ему, что он мне нравится. Если бы я была его женой, то не позволила бы ему оставаться таким тощим. В темноте он казался хрупким подростком. Михаэль засмеялся. Если бы я была его женой, сказала я, то научила бы его отвечать, когда с ним разговаривают, а не бесконечно улыбаться, будто в мире не осталось больше слов. Михаэль сглотнул слюну, взглянул на разрушающиеся лестничные перила и сказал:

— Я хочу на тебе жениться. Пожалуйста, не отвечай мне сейчас.

Снова закапал ледяной дождь. Я дрожала. На мгновение мне стало приятно, что я совсем не знаю, сколько ему лет. Однако, по его вине я сейчас дрожу. Верно, мне запрещено приглашать его к себе. Но почему бы ему не предложить, чтобы мы отправились к нему? Когда мы вышли из кино, Михаэль дважды порывался сказать что-то, но я оборвала его замечанием: «Это банальность». Что он пытался сказать, я уже не помню. Понятно, что ему можно будет держать кота в доме. Какое чувство покоя он вселяет в меня. Почему тот, кто станет моим мужем, обязан быть очень сильным человеком?



VI

СПУСТЯ НЕДЕЛЮ МЫ ВМЕСТЕ ПОЕХАЛИ в кибуц Тират Яар, что в Иудейских горах.

В кибуце Тират Яар была у Михаэля школьная подруга, одноклассница, которая вышла замуж за кибуцника. Михаэль упросил меня поехать с ним. Ему очень важно, сказал он, представить меня этой подруге.

Подруга Михаэля оказалась женщиной сухой, высокой, исполненной горечи. Походила она на ученого мужа своими серыми волосами и плотно сжатыми губами. Двое детей неопределенного возраста притаилась в углу комнаты. Что-то в моем лице или в моем наряде вызывало у них порывы безудержного смеха, который они пытались сдержать. Я чувствовала себя неловко. Около двух часов вел Михаэль шутливую беседу со своей подругой и ее мужем. Я была забыта после трех-четырех вежливых фраз. Угостили меня негорячим чаем и сухими бисквита-

ми. Битых два часа сидела я, вся кипя, играя застёжкой Михаэлева портфеля. Зачем он привез меня сюда? Почему я согласилась поехать с ним? Что за человека встретила я, мудрая-премудрая? Парень трудолюбивый, ответственный, честный, аккуратный — какая скука. И остроты его тяжеловесны. Человеку, лишённому остроумия, не стоило бы шутить беспрестанно. Изю всех сил старается Михаэль быть остряком и весельчаком. Они обменялись скучными воспоминаниями о скучнейших учителях. Любовные похождения учителя физкультуры по имени Иехиам Пелед вызвали у Михаэля и его подруги приступ ядовитого смеха. Гимназистки. А затем вспыхнул сердитый спор по поводу встречи Абдаллы, короля Трансиордании, с Голдой Меерсон в самом начале Войны за Независимость. Муж Михаэлевой подруги грохнул кулаком по столу. Михаэль тоже возвысил голос. Когда он кричал, голос его был дрожащий, тоненький. В первый раз я видела его в обществе других людей. Я в нем ошиблась.

Потом, в темноте, мы шли к шоссе. Дорога, по обеим сторонам которой выстроились кипарисы, соединяет Тират Яар с шоссе, ведущим к Иерусалиму. Жесткий ветер колотил лицо. В закатных сумерках виднелись горы Иерусалима и, казалось, замышляли недоброе. Михаэль шагал слева. Молчал. Не нашел для меня ни единого слова. Он был чужим, и я была чужой. Я помню странный миг: некое острое чувство пронзило меня — я не бодрствую и не пребываю в настоящем времени. Все это уже однажды со мной происходило. Или кто-то много лет назад сурово предупредил меня, чтобы не ходила я в темноте по этой черной дороге в компании со злым человеком. Время перестало быть размеренным и ритмичным. Его течение расщепилось на несколько прерывистых потоков. Это было в детстве. Или это сон. Или какая-то жуткая история. Вдруг меня обуял ужас перед человеком, идущим в темноте слева, не произносящим ни слова. Поднятый воротник пальто упирался в его подбородок. Фигура его тонка, будто он — тень. Черная кожаная студенческая фуражка, надвинутая на глаза, скрывала большую часть лица. Кто это? Что ты о нем знаешь? Не брат твой, не родственник, не друг детства, а чужая тень, в пустынном месте, в теме-

ни, в поздний час. Вдруг он нападет на меня? Может, он болен? Ни один человек не сказал тебе о нем ни единого слова. Почему он не говорит со мной? О чем размышляет? Зачем притащил меня сюда? Какие планы строит? Ночью. За городом. Я одна. Он один. А что, если все, что он мне рассказал, — обдуманная ложь? Он вовсе не студент. И не Михаэль Гонен. Он сбежал из психушки. Он очень опасен. Когда это уже было со мной в прошлом? Кто-то мне уже давно говорил, что именно так случится несчастье. Что это за протяжные голоса, доносящиеся со стороны темного поля? Даже свет звезд не пробивается сквозь кроны кипарисов. И в садах кто-то есть. Если я закричу, заору, кто меня услышит? Чужак прибавил шагу, ступая твердо и резко, не считаясь со мной. Я намеренно отстала, но он и не заметил. Зубы стучали от холода и страха. Воющий зимний ветер хлестал нещадно. Этот замкнувшийся человек не принадлежал мне; напротив, он был далек, глубоко погружен в себя, будто я — это только его внутренняя мысль, я не существую. «Михаэль, мне холодно». Он не слышит. Может, я не произнесла это вслух. Я закричала изо всех сил:

— Мне холодно, и я не могу бежать так быстро.

Как человек, которого оторвали от его мыслей, Михаэль бросил мне:

— Еще немного. Еще немного, и мы выйдем к остановке. Терпение.

Сказал и снова замкнулся, утонул в своем широком пальто — и исчез. Горло мое сжалось, и глаза наполнились слезами. Я была обижена. Унижена. Боялась. Мне нужна была его ладонь. Я знакома только с его ладонью, а его я совсем не знаю. Совсем.

Холодный ветер переговаривался с кипарисами шепотом, исполненным враждебности. Радость исчезла из мира и нигде ее не было: ни в кипарисах, ни в осыпающейся дороге, ни в горах, темнеющих окрест.

— Михаэль, — предприняла я отчаянную попытку, — на прошлой недели ты говорил, что слово «лодыжка» кажется тебе красивым. Ради Бога, скажи, знаешь ли ты, что туфли мои полны воды, и лодыжки болят, будто я иду по полю, усеянному колючками?

Михаэль вдруг обернулся, порывисто, пугающе. В полумраке он уставился на меня растерянными глазами. Передо мной оказалась его мокрая щека, теплыми губами он впился в мою шею, будто ребенок, сосущий грудь. Весь дрожал. Холодным и мокрым было его лицо. И выбрит он на этот раз плохо. Каждую щетинку на его подбородке я ощущала собственной кожей. Так приятна на ощупь грубая ткань его пальто — будто погружаешься в теплый, тихий поток. Он расстегнул пуговицы пальто, прижал меня к себе. Мы были вместе. Я вдыхала его запах. И тогда я почувствовала, что он существует. И я тоже. Я не была одной из мыслей, притаившихся в нем, а он не был страхом, что во мне. Мы были реальностью. Я ощутила его сдерживаемую панику. Я наслаждалась ею. «Ты мой», — шептала. «Никогда не отдаляйся», — шептала. Мои губы коснулись его лба, его пальцы отыскивали мой затылок. Его прикосновение к затылку было стыдливым и осторожным. Дрожь била нас. Вдруг я вспомнила про ложечку в его пальцах, там, в буфете «Терра Санта»: как хорошо ей было в его руке. Если бы Михаэль был злым человеком, то и пальцы его были бы злыми.



VII

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО СВАДЬБЫ МЫ С МИХАЭЛЕМ отправились в Холон — познакомиться с его отцом и тетушками, и в кибуц Ноф Гарим — познакомиться с моей матерью и семьей брата.

Квартира его отца была тесной и мрачной: две комнаты в комплексе «Жилье для рабочих». В день нашего приезда в Холоне были перебои с электричеством. Иехезкиэль Гонен представился мне в свете закопченной керосиновой лампы. Он был простужен и не хотел поцеловать меня, чтобы не заразить накануне свадьбы. Был он в коричневом домашнем халате. Лицо казалось серым. Заявил, что отдает в мои руки удивительного гения — его Михаэля. Сказав это, Иехезкиэль Гонен смутился и пожалел о своих словах. Попытался сделать вид, будто это шутка. Смущенный и испуганный, перечислил старик все болезни, которыми переболел Михаэль в детстве. Особо

остановился на тяжелой ангине, которую перенес Михаэль в десять лет. И в конце подчеркнул, что с тех пор, как исполнилось Михаэлю четырнадцать, он ни разу не болел: несмотря ни на что, наш Михаэль — парень здоровый, хотя и не из самых крепких. Я вспомнила, что покойный отец, продавая подержанный радиоприемник, говорил с покупателями подобным образом: откровенно, разумно, сдержанное дружелюбие, незаметные, но упорные усилия понравиться.

Изысканно вежлив был Иехезкиэль Гонен, обращаясь ко мне. С сыном едва обменялся двумя словами. Только сказал ему, что был удивлен безмерно, получив письмо с сообщением о свадьбе. Чай или кофе он, к сожалению, предложить не может, потому что электричества нет, а керосинки или примуса в его хозяйстве не имеется, нет и газовой плитки. Когда еще жива была Това, благословенна ее память ... Тova — это мать Михаэля ... Если бы удостоилась быть с нами в этот час, все выглядело бы торжественней. Она была особенной женщиной. Но он не будет говорить о ней, поскольку не хочет смешивать радость с печалью. Наступит день, и он еще расскажет мне очень грустную историю.

Чем же он может нас угостить? О, шоколадом.

И вправду, как человек, вспомнивший, что пренебрег священным долгом, Иехезкиэль Гонен, порывшись в тумбочке, извлек коробку конфет, старинную бонбоньерку, перевязанную ленточкой, в цветной оберточной бумаге: «Берите, берите, дорогие детки, пожалуйста, угощайтесь».

Виноват, не совсем понял, что именно я изучаю в университете? А-а, да, понятно, ивритскую литературу. Отныне он это запомнит. Под руководством профессора Клаузнера? Да, да, великий человек профессор Клаузнер, хотя он и не любит Рабочее движение. Кстати, у него есть один из томов «Истории Второго Храма». Мигом разыщу и покажу. Впрочем, он хотел бы подарить этот том: ведь мне он более необходим, потому что у меня впереди вся жизнь, а его жизнь уже позади. Электричества нет, трудно сейчас найти эту книгу, но ради своей невестки он не пожалеет трудов.

Пока Иехезкиэль Гонен, горестно вздыхая, искал том на нижней полке книжного шкафа, пришли три из четырех теток. Они тоже были приглашены познакомиться со мной. Из-за неполадок с электричеством тетушки опоздали, а еще им не удалось разыскать и привезти тетю Гиту. Поэтому они приехали втроем. В мою честь, в честь выдающегося события они специально заказали такси из Тель-Авива в Холон, чтобы вовремя прибыть. Но тьма египетская пала на всю округу.

Тетушки обращались со мной с особо подчеркнутой симпатией, будто мои черные замыслы ими раскрыты, но по доброте сердечной мне все прощается. Как они рады со мной познакомиться. Много хорошего рассказывал Михаэль обо мне в своих письмах. Как им приятно убедиться, что Михаэль нисколько не преувеличивал. У тети Леи есть в Иерусалиме друг, господин Кадишман, человек весьма образованный, влиятельный, который по просьбе тети Леи уже поинтересовался моей семьей. И тетушки уже знают, все четыре, что я из хорошего дома.

Тетя Женя хотела бы поговорить со мной с глазу на глаз. Она просит прощенья. Она знает, что неприлично секретничать в обществе. Но между родственниками нет необходимости в соблюдении этикета, а ведь отныне я — член семьи.

Мы вышли в соседнюю комнату. Присели в темноте на жесткую постель Иехезкиэля Гонена. Тетя Женя зажгла карманный фонарик. Казалось, мы вместе шагаем в одиночестве по ночному полю. При каждом движении наши тени выплясывали дикарский танец на противоположной стене, потому что фонарик дрожал в ее руке. Безумная идея вдруг пришла мне в голову: тетя Женя собирается попросить меня, чтобы я разделась. Может, потому, что Михаэль рассказал мне по дороге, что тетя Женя — детский врач.

Тетя Женя начала тоном вежливым, но настойчивым: материальное положение Иехезкиэля, то есть отца Михаэля, не блестяще. Иехезкиэль — мелкий чиновник. Нет нужды объяснять умной девушке, что это значит — мелкий чиновник муниципалитета. Большую часть своей зарплаты он тратит на образование Михаэля. Насколько это

нелегко — мне не надо объяснять. И Михаэль не должен прерывать учебу. Она должна объявить об этом самым ясным и решительным образом, не оставляющим места для недоразумений: ни при каких условиях семья не согласится, чтобы Михаэль бросил учебу. Об этом не может быть и речи.

Они, тетушки, переговорили об этом во время поездки в такси. Ради Михаэля они готовы предпринять любые усилия и помочь нам, скажем, суммой приблизительно в пятьсот фунтов каждая. И тетя Гита, несомненно, призовет свою помощь, хотя ей не удалось приехать сегодня вечером. Нет, не стоит нас благодарить. Наша семья очень семейственная, если можно так выразиться на иврите. Очень. А когда Михаэль станет профессором, он сможет вернуть нам деньги, ха-ха.

Неважно. Главное, что на эти деньги невозможно сегодня обставить дом. Она, тетя Женя, потрясена жуткой дороговизной. Деньги падают в цене со дня на день. Ей хотелось бы спросить: решение пожениться в марше — окончательное? Нельзя ли отложить на время? Тетя Женя позволит себе задать еще один вопрос, абсолютно откровенный, чисто по-семейному: произошло ли нечто такое, что свадьбу откладывать невозможно? Нет? Тогда почему же эта спешка? Она сама — ей это хочется рассказать — была помолвлена в Ковно в течение шести лет, пока не вышла за первого своего мужа. Шесть лет! Да, она понимает, что нынче другое поколение, и нет помолвок, которые не могут быть шести лет. Но, предположим, год? Нет? Ну-ну. Ведь работая воспитательницей в детском саду, она не смогла, как она полагает, скопить приличную сумму. Мне надо тратить на жизнь, есть расходы на учебу. Я должна знать, подчеркнула тетя Женя, что финансовые трудности в самом начале совместной жизни могут, к несчастью, ее разрушить. Она говорит об этом на основании собственного жизненного опыта. Она обещает, что придет время, и я услышу от нее потрясающую историю. Как врач она позволяет себе говорить открыто: в течение месяца, двух, полугода секс вытесняет все остальные проблемы. Но что будет дальше? Ведь я — образованная девушка, и она, тетя Женя, просит меня рассуждать здраво. Она слышала, что моя семья живет в каком-то кибуце, не так

ли? Это не совсем точно? Покойный отец отписал в своем завещании три тысячи фунтов на день вашей свадьбы? Это хорошая новость. Очень хорошая. Видишь ли, Ханеле, Михаэль позабыл рассказать нам об этом в своем письме. И вообще Михаэль все еще витает в облаках. Гений в науке и младенец в жизни. Итак, решили в марте? Пусть будет март. Старики не должны навязывать свое мнение молодым; у молодых — вся жизнь впереди. Наша жизнь уже позади. Каждое поколение должно совершить собственные ошибки. В добрый, благословенный час. И еще: всегда, всегда, если мне понадобится совет или помощь я должна, нет, я просто обязана обратиться к тете Жене. У нее огромный жизненный опыт, которого нет у большинства обычных женщин. А теперь вернемся-ка в большую комнату. Мазл тов, Иехезкеле! Мазл тов, Миха! Здоровья и счастья!

В кибуце Ноф Гарим, что расположен в Галилее, Иммануэль, мой брат, встречая Михаэля, заключил его в медвежьи объятия, изо всей силы хлопал его по плечу, будто отыскался пропавший брат. Стремительно, за двадцать минут обойдя все, показал Иммануэль гостю кибуц.

— В ПАЛМАХе был? Нет? Ну что ж ... Неважно. И другие тоже занимались нужным делом.

Полушутя, полусерьезно Иммануэль предложил нам жить здесь, в кибуце Ноф Гарим. А что? И здесь интеллигентный парень может приносить пользу и быть довольным жизнью. Не только в Иерусалиме. Правда, присмотревшись к Михаэлю, он заметил, что тот — не лев рыкающий. Так сказать, в физическом смысле. Ну и что? Мы здесь не сборная по футболу. Он может работать в птичнике, даже в бухгалтерии. Ринеле, Ринеле, раз-два, выставь на стол бутылку коньяка, которую мы выиграли на балу в Пурим. Поспеши, у нас теперь есть новый зять, нежный и прекрасный. А ты, Ханочка, ты чего молчком да молчком? Девушка собирается замуж, а по лицу можно подумать, что овдовела. Михаэль, парнишка, ну, ты уже знаешь, почему распустили ПАЛМАХ? Брось, не начинай рассуждать и спорить, я только хотел узнать, ты уже слышал этот анекдот? Не слышал? Отстает, отстает ваш Иерусалим. Ну, так слушай ...

И наконец мама.

Говоря с Михаэлем, мать расплакалась. На ломаном иврите она рассказала ему о смерти отца, но слова ее тоннули в потоке слез. Она просит разрешения измерить Михаэля. Измерить? Да, измерить. Она хочет связать ему белый свитер. Она приложит все усилия, чтобы закончить его ко дню свадьбы. Есть у него черный костюм? Может, на церемонию он хочет надеть костюм Иосифа, покойного мужа, благословенна его память? Она его распорет и ушьет. Сумеет подогнать. Разница в размерах невелика. Она очень просит. Пусть это выглядит сентиментальным. Она не в состоянии купить ему другой подарок.

И с тяжелым русским акцентом моя мать повторяла снова и снова, будто заклинала его встревоженным сердцем.

— Ханеле — девушка нежная. Очень нежная. Но в ней много боли. Вы должны знать это. И еще ... не знаю, как сказать это на иврите ... Очень нежная. Вы должны знать это ...



VIII

ИОСИФ, МОЙ ПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ, НЕ РАЗ ГОВаривал: «Простой человек никогда не сможет выдать совершенную ложь. Само притворство его изобличит. Подобно короткому одеялу: натянет на ноги — голова открыта, подтянет к голове — ноги выглядывают. Человек изобретает хитроумные выдумки, чтобы укрыть истину, не замечая, что тем временем именно эти выдумки обнажают злую правду. Но, с другой стороны, жгучая правда разрушает все, ничего не созидая. Что же остается простым людям? Нам остается помалкивать да поглядывать. Именно это нам и остается: молчать да глядеть».

За десять дней до свадьбы мы сняли двухкомнатную квартиру в квартале Мекор Барух, на северо-западе Иеру-

салима. В пятидесятые годы там селились, кроме религиозных семей, мелкие чиновники из правительственных учреждений и Еврейского Агентства, оптовые торговцы текстилем, кассиры из кинотеатров или Англо-Палестинского банка. Уже тогда этот квартал приходил в упадок. Иерусалим новой застройки тянулся к югу, к юго-западу. Квартира была темноватой, да и сантехника устаревшей, зато комнаты — с очень высокими потолками, как я любила. Мы между собой порешили, что стены выкрасим в веселые тона, а вазонов с цветами будет у нас много-много. Тогда мы еще не знали, что в Иерусалиме цветы в вазонах склонны к увяданию. Может, потому, что в воде из кранов много ржавчины и химических очистителей.

В свободные часы мы слонялись по городу, делая необходимые покупки: кое-какую мебель, кое-что из утвари, немного из одежды. К своему удивлению, я обнаружила, что Михаэль умеет торговаться, не роняя своего достоинства. Я никогда не видела, чтобы он сердился. Я им гордилась. Моя лучшая подруга, которая недавно вышла замуж за молодого экономиста, уже известного как восходящая звезда, так отозвалась о Михаэле:

— Парень разумный и скромный. Может, и не блестящ, но надежен.

Друзья моих родителей, семья иерусалимских старожилов, сказали мне:

— Он производит хорошее впечатление.

Мы ходили, взявшись за руки. По лицам знакомых я пыталась прочитать их внутренний приговор Михаэлю. Михаэль говорил мало. Вглядывался во все настороженно. Был любезен и сдержан в присутствии посторонних.

Люди говорили:

— Геология? Удивительно. Кажется, что он студент-гуманитарий.

По вечерам я приходила в комнату Михаэля, которую он снимал в Мусраре. Там мы складывали все наши покупки. Большую часть вечера я занималась вышиванием цветов на наволочках. На новой одежде я вышила наше имя: «Гонен». Михаэлю нравилась вышивка. Мне нравилось вышивать. Я, бывало, сидела в кресле, купленном для балкона в нашей квартире. Михаэль за своим столом,

погруженный в подготовку семинарской работы по геоморфологии. Ему очень хотелось закончить работу и сдать ее до дня нашей свадьбы. Он дал себе слово. В свете настольной лампы я видела его худое, смуглое, удлинненное лицо, коротко стриженные волосы. Временами он казался мне учеником религиозного интерната или одним из мальчиков сиротского дома Дискина. В детстве я видела, как вели их на вокзал по нашей улице. Все они были очень коротко пострижены, шли парами, взявшись за руки, послушные и грустные. В этом послушании чувствовалось некое укрощенное бунтарство. Он снова выбрился весьма небрежно. Под подбородком проглядывали черные щетинки. Неужели потерял свою новую бритву? Нет, он признался, что солгал мне в наш второй вечер. Он не покупал новой бритвы. Ради меня он выбрился тогда с особой тщательностью. Почему он сказал неправду? Потому, что стеснялся. Почему же он снова бреется раз в два дня? Потому, что теперь он не стесняется меня. Как он ненавидит бриться! Если бы он был художником, а не геологом, то, может, отпустил бы бороду.

Я, представив себе это, громко рассмеялась.

Михаэль поднял на меня удивленный взгляд:

— Что тут смешного?

Он обиделся?

Нет, он не обиделся. Вовсе нет.

Так почему же он так на меня смотрит?

Потому что ему удалось рассмешить меня. Много раз он старался, но я никогда не смеялась. А вот теперь, когда он вовсе к этому не стремился, я рассмеялась. И это его радует.

У Михаэля коричневые глаза. Когда он улыбается, дрожат уголки губ. Коричневый и сдержанный мой Михаэль.

Каждые два часа я готовила ему чай с лимоном, как он любил. Мы почти не разговаривали: мне не хотелось отрывать его от работы. Мне нравилось слово «геоморфология». Как-то раз я, тихо ступая босыми ногами, подкралась к Михаэлю, склонившемуся над своими записями, и незаметно встала у него за спиной. Михаэль не почувствовал моего присутствия. Отдельные фразы я прочита-

да через его плечо. У Михаэля — четкий, округлый почерк старательной гимназистки. Но слова заставили меня задрожать. Спасение месторождений минералов. Вулканические силы, действующие изнутри. Застывшая лава. Базальт. Обсеквентные и консеквентные течения. Морфотектонический процесс, начавшийся миллионы лет тому назад и все еще продолжающийся. Постепенный разлом. Внезапный разлом. Легкие сейсмические колебания, которые могут быть уловлены лишь весьма чувствительными приборами.

И на этот раз я вздрогнула, встретив эти слова: мне передано закодированное сообщение. Моя судьба зависит от его содержания. Но ключа у меня нет.

Затем я вернулась в кресло, вновь взялась за вышивание. Михаэль поднял голову и сказал:

— Я никогда не встречал женщины, подобной тебе.

И добавил с улыбкой, словно торопясь опередить меня:

— Как это банально.

Я хочу здесь написать, что до нашей брачной ночи не отдавала я Михаэлю свое тело.

За несколько месяцев до смерти позвал меня отец к себе в комнату, закрыл за мной дверь и запер ее. Лицо его уже было изъедено болезнью. Впалые щеки, желтая сухая кожа. Он смотрел не на меня, а на коврик, что лежал у ножек кресла, будто на этом коврике читал он слова, которые собирался сказать. Слова о том, что существуют гнусные мужчины, совращающие женщин, а затем бросающие их на произвол судьбы. Мне было около тридцати лет. Все, что он мне сказал, я уже давно слышала от хихикающих девочек и парней с твердыми подбородками. Но в устах отца все это не походило на веселую шутку. Он говорил с тихой грустью и сформулировал свои мысли так, будто существование двух различных полов — это отсутствие гармонии, увеличивающее мировое страдание, и люди обязаны изо всех сил стараться сгладить эту дисгармонию. И в заключение отец сказал, что, если я вспомню о его словах в трудную минуту, может, это уберет меня от неверного шага.

Не думаю, что это — причина того, что я не отдалась Михаэлю до нашей брачной ночи. О подлинной причине

мне писать не хочется. Люди должны быть очень осторожны, употребляя слово «причина». От кого я это слышала? Да ведь от самого Михаэля. Обнимая меня за плечи, Михаэль был силен и сдержан. А может, замкнут, как я. Он упрасивал меня не словами. Просили его пальцы, но никогда не требовали. Они медленно сбегали вниз по моей спине. Затем он убирал руку, разглядывал свои пальцы, потом меня. Меня, и снова — свои пальцы. Будто осторожно сравнивал одну вещь с другой. Мой Михаэль.

Однажды вечером, перед тем, как расстаться с Михаэлем (менее недели осталось мне жить у семейства Тарнополер в квартале Ахва), я сказала:

— Михаэль, ты будешь удивлен, но я, возможно, знаю о консеквентных и субсеквентных потоках нечто такое, чего даже ты не знаешь. Если будешь хорошим, я как-нибудь расскажу об этом.

Сказала и провела рукой по его коротко стриженным волосам: настоящий ежик. Что я имела в виду, и сама не знаю.

В одну из последних ночей, за два дня до свадьбы, мне снился страшный сон.

Я с Михаэлем была в городе Иерихоне. Мы шли по торговой улице, между низкими глинобитными хижинами. (В тысяча девятьсот тридцать восьмом году мы поехали в Иерихон — отец, Иммануэль и я. Было это в праздник Суккот. Мы ехали в автобусе, принадлежащем арабской компании. Мне было восемь. Я не забыла. Мой день рождения — в Суккот.)

Мы с Михаэлем купили циновку, пуфики в восточном стиле, софу с витиеватыми украшениями. Михаэлю эти вещи не нравились. Но я их выбирала, а он молча платил. Базар в Иерихоне был пестрым и шумным. Люди кричали, словно дикари. Я проходила мимо них спокойная, одетая в спортивную юбку. В небе — жуткое, гнетущее солнце, такое я видела на картинах Ван Гога. Внезапно рядом с нами остановился армейский «джип». Британский офицер, коротышка, весь начищенный до блеска, выпрыгнул из него и тронул Михаэля за плечо. Михаэль вдруг развернулся, вырвался, затопал, как бык, и пустился наутек, переворачивая на бегу прилавки, пока рыночная тол-

па не поглотила его. Я осталась одна. Вопили женщины. Появились два парня, потянули меня за руку. Были укутаны они в одежды бедуинов, видны только горящие глаза. Их жесткая хватка причиняла боль. Они волокли меня извилистыми улицами на окраину города. Это место походило на крутые переулочки, что за улицей Эфиопов, на востоке нового Иерусалима. Миновав многочисленные ступени, меня втащили в подвал, где горела закопченная керосиновая лампа. Это был черный подвал. Меня швырнули на землю. Я почувствовала сырость. Воздух был пропитан запахом плесени. Снаружи слышался приглушенный лай собак, протяжный, оупляющий. Вдруг близнецы сбросили с себя накидки бедуинов. Мы — все трое — были ровесниками. Их дом стоял напротив нашего, по ту сторону заброшенного участка на границе Кирьят-Шмуэль и Катамон. Был у них дворик, отгороженный от всех ветров. Дом окружал этот внутренний дворик. Виноградные лозы вились по стенам виллы. Стены были сложены из розового камня, столь любимого богатыми арабами, селившимися на южных окраинах Иерусалима.

Сейчас, во сне, я боялась близнецов. Они орали на меня. Зубы у обоих — белые-пребелые. А сами они гибки и смуглы. Два сильных серых волка. Я закричала: «Михаэль! Михаэль!» Но у меня пропал голос. Я онемела. Тьма объяла меня. Тьме этой хотелось, чтобы Михаэль явился и вырвал меня из рук братьев только в конце, когда испытую я и боль, и наслаждение. Если и помнили близнецы наше детство, то виду не подавали. Разве что смех их ... Они подпрыгивали на месте, невысоко, часто, будто холод пробирал их до костей. Но холодно не было. Эти пружинящие прыжки рождала энергия, переполнявшая братьев. Близнецы ярились. Я не смогла подавить нервный, мерзкий смех. Азиз был чуть выше брата, темнее его лицом. Он обошел меня и открыл дверь, которую я раньше не заметила. Указал на дверь и отвесил поклон официанта. Я была свободна. Могла уйти. Наступило жуткое мгновение. Я могла уйти, но не ушла. И тут Халиль издал низкий вибрирующий стон, закрыл дверь и запер на ключ. Из складок своей накидки вытащил Азиз огромный, сверкающий нож. Тот самый нож для резки хлеба, который мы с Михаэлем вчера купили в магазине

«Шварц» на Кикар Цион. Глаза его сверкали. Он рухнул на четвереньки. Глаза его пылали. Помутневшие белки налились кровью. Я отпрянула и прижалась к стене подвала. Вся стена была загажена. Липкая, омерзительная мокрота просочилась сквозь одежду и растеклась по коже. Из последних сил я закричала.

Утром явилась ко мне в комнату госпожа Тарнополер, моя хозяйка, чтобы сказать, что я кричу по ночам. Если вы, госпожа Хана, кричите ночью за два дня до свадьбы, ясно, что это верный признак какой-то большой беды. В снах предъявляют нам счет за все дела наши, говорила госпожа Тарнополер. Будь она моей матерью, — это она обязана сказать мне, даже если я рассержусь на нее, — не позволила бы она мне вдруг выскочить замуж за какого-то человека, случайно встреченного на улице. Ведь случайно я могла встретить совсем другого человека или вообще никого не встретить. К чему это может привести? К несчастьям. Вы женитесь, будто жизнь — это карнавал в праздник Пурим. Госпожа Тарнополер вышла замуж по сватовству, и сват знал, что написано на небесах, потому что хорошо был знаком с обоими семействами, тщательно проверил, из какого теста жених, из чего слеплена невеста. В конце концов человек — это его семья. Родители. Дедушка с бабушкой. Тетя и дядя. Брат и сестра. Ведь колодец — это вода. Сегодня вечером, перед сном, госпожа Тарнополер приготовит мне чай из трав. Это успокаивает мятущуюся душу. Пусть всем врагам моим приснятся злые сны накануне свадьбы. Все это происходит с госпожой Ханой потому, что вы женитесь, как идолопоклонники, описанные в Библии: девушка встречает незнакомца, не разобравшись, из чего он сделан, договаривается с ним, сама назначает день свадьбы, будто кроме нее не существует никого в этом мире.

Когда госпожа Тарнополер произнесла слово «девушка», улыбнулась она усталой улыбкой. Я в разговоре участия не принимала.



IX

МЫ С МИХАЭЛЕМ ПОЖЕНИЛИСЬ В СЕРЕДИ-
не марта. Церемония состоялась на крыше старо-
го здания раввината, что на улице Яффо, напротив мага-
зина иностранной книги «Стеймацкий», под облачным не-
бом, где светло-пепельные тона соседствовали с глыбами
мрачного серого цвета.

Михаэль и его отец были одеты в черные костюмы,
и каждый вдел белый платочек в верхний карман пиджа-
ка. Они так были схожи, что я дважды ошиблась: мужа
моего, Михаэля, я называла Иехезкиэлем.

Традиционный стакан Михаэль разбил тяжелым уда-
ром. Лопнувшее стекло издало сухой треск. Сдержанный
шепот пробежал среди собравшихся. Тетя Лея плакала.
Мать моя тоже плакала.

Брат Иммануэль забыл приготовить головной убор. Он покрыл свою шевелюру клетчатым носовым платком. Рина, жена брата, поддерживала меня твердой рукой, будто я могла вдруг хлопнуться в обморок. Я ничего не забыла.

Вечером собралась дружеская вечеринка в одном из залов здания «Ратисбон». Десять лет тому назад, когда мы поженились, большинство университетских факультетов размещалось в зданиях бывших христианских монастырей. Корпуса на горе Скопус оказались отрезанными от города после Войны за Независимость, иерусалимские старожилы все еще верили, что это временное отчуждение. Политические пророчества звучали постоянно ... Ощущалась некая подавленность...

Очень высоким и холодным был тот зал с закопченным потолком в здании «Ратисбон», где проходила вечеринка. Потолок был разрисован множеством неясных символов, краска на них облупилась. Сделав усилие, я смогла различить отдельные сцены из жизни Иисуса, от святого рождения до распятия. Я опустила взгляд.

Мать моя была в черном платье. Это то самое платье, которое сшила себе мать после смерти отца, Иосифа Гринбаума, в тысяча девятьсот сорок третьем году. На этот раз она приколола медную брошку, чтобы не смешивать радость с трауром. В свете старинных ламп я увидела еще и тяжелое ожерелье, которое надела Малка, моя мать.

Тридцать или сорок студентов собрались на вечеринку. Большинство из них были геологи, и только несколько — студенты-первокурсники с кафедры ивритской литературы. Моя лучшая подруга Хадасса пришла с мужем и подарила мне картину Абеяя Пана, портрет старой женщины из Йемена. Несколько старинных друзей отца, сложившись, вручили нам деньги. Брат Иммануэль прихватил с собой из кибуца семерку молодых парней. Они подарили позолоченную вазу. Иммануэль и его друзья старались организовать веселье, но присутствие студентов смущало их.

Затем поднялись два молодых геолога и по очереди читали очень длинный, невнятный, утомительный диалог, где проводились параллели между сексом и геологическими слоями. Свое произведение они напищкали грубыми намеками и двусмысленностями — и все это для того, чтобы развеселить нас.

Сарра Зельдин, у которой я работала в детском саду, принесла в подарок сервиз. Пара влюбленных в голубых одеждах была изображена на каждом предмете, окантованном золотой полоской. Сарра обнялась с моей матерью, и они расцеловались. Между собой они говорили на идиш, непрерывно при этом качая головами.

Четыре тетушки Михаэля, сестры его отца, уселись во круг стола, уставленного бутербродами, и с оживлением беседовали обо мне. Они и не пытались понизить голос. Я им не нравилась. Все эти годы Миха был ответственным, дисциплинированным парнем, а вот теперь он наспех женится, что может дать повод для гнусных сплетен. Шесть лет была тетя Женя помолвлена в Ковно, шесть лет, пока наконец согласилась выйти за своего первого мужа. Подробности тех сплетен, что могут возникнуть из-за нашей спешки, тетушки излагали по-польски.

Мой брат и его друзья из кибуца перебрали в выпивке. Они расшумелись. На разные лады громко распевали: «Пересохло наше горло». Развлекали девушек, и те смеялись взахлеб, задыхаясь от смеха. Студентка-геолог по имени Ярдена, с золотыми волосами, в платье с серебряными блестками, сбросив туфли, стала плясать бурный испанский танец. Все гости ритмично хлопали. Мой брат Иммануэль разбил в ее честь бутылку с апельсиновым соком. А затем Ярдена взобралась на стул и, держа в руке рюмку с ликером, спела популярную американскую песню о безответной любви.

Я должна написать и об этом: когда вечеринка заканчивалась, мой муж решил неожиданно поцеловать меня в затылок. Подкравшись сзади, он приблизился ко мне. Может, его друзья-студенты надоумили его. В ту минуту я держала в руке полный бокал вина, переданный мне братом. Когда губы Михаэля коснулись моей кожи,

я вздрогнула от испуга. Вино выплеснулось на мое белое свадебное платье. И на коричневый костюм тети Жени тоже брызнуло вино. Важна ли эта подробность? С того самого утра, когда моя хозяйка госпожа Тарнополер говорила со мной о том, что я кричу по ночам, не оставляют меня предзнаменования. Это так похоже на моего отца. Отец был человеком, который вслушивался. Он жил так, будто жизнь — это предварительный курс, из которого извлекают уроки, приобретая опыт на будущее.



Х

В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ПОДОШЕЛ КО МНЕ МОЙ профессор, чтобы поздравить меня. Случилось это в коридоре здания «Терра Санта», в перерыве между двумя частями его ежедневной лекции о творчестве Авраама Мапу. Добрые вести — он слышал, что молодая госпожа создала новый дом в Израиле. Так вот, он желает госпоже, чтобы дом ее был воистину еврейским — человеческим домом. И в этом пожелании заключены и все другие добрые слова, потому что они вытекают из сказанного. Чем занимается счастливый молодожен? Геологией? В таком сочетании сокрыт и символический смысл: и литература, и геология проникают в тайные глубины, дабы извлечь на поверхность погребенные клады. Будет ли молодая госпожа продолжать занятия? Если так, это доставит ему огромную радость, ибо его студенты дороги ему, как собственные дети.

Мой муж купил просторный книжный шкаф. Книг у нас пока немного. Двадцать или тридцать томов. Но с годами книг прибавится. Он мечтает, чтобы в нашем доме была одна стена, вся уставленная книгами. А пока книжный шкаф почти пуст. Я принесла из детского сада Сарры Зельдин несколько фигурок, сделанных мною, — игрушки из проволоки и раскрашенного пальмового волокна. Я расставила все на пустых полках.

Испортился котел, из которого подавалась горячая вода. Михаэль попытался его исправить. Он рассказывал, что в детстве собственноручно чинил протекающие краны в доме отца и в квартирах тетушек. Но на этот раз он не справился. Может, даже усугубил поломку. Был вызван сантехник, красавец-парень, уроженец Северной Африки, который мигом починил котел. Михаэль переживал свою неудачу. Он стоял, молчаливый, будто мальчишка, получивший нагоняй. Мне нравилась его растерянность. А сантехник сказал:

— Вы — чудесная молодая пара. Много я с вас не возьму.

Поначалу я могла заснуть по ночам только при помощи снотворного. Когда исполнилось мне восемь, брат мой Иммануэль был переведен из нашей общей детской, и с тех пор я всегда спала одна в комнате. Мне казалось странным, что Михаэль закрывает глаза и спит. До нашей первой ночи я никогда не видела его спящим. Обычно он укрывался с головой, так что его и не видно. Временами я должна была напоминать себе, что ритмичное хлокотанье — это его дыхание, и отныне нет в целом мире для меня человека ближе его. И на новой нашей двуспальной кровати, купленной за бесценок у прежних хозяев квартиры, я по ночам ворочалась с боку на бок до самого рассвета. Кровать была украшена замысловатой резьбой, сверкающей коричневым лаком. Ширины она была необъятной, как и все старинные постели. Настолько широка, что однажды я по ошибке подумала, что Михаэль поднялся и неслышно вышел. А он лежал, свернувшись, у другого края.

Будто наяву, они выступили из сумерек. Пришли пре-

красные и безмолвные. Явились смуглые, молчаливые, гибкие ...

Я никогда не желала, чтобы мой мужчина был неуемным дикарем. За что свалилась на меня эта напасть? Девочкой я всегда представляла себе, что выйду замуж за молодого ученого, которого ждет мировая слава. На цыпочках войду я в его кабинет, обставленный в строгом стиле, поставлю стакан чаю на один из тяжелых немецких томов, рассыпанных по столу, вытряхну пепельницу, неслышно закрою жалюзи, чтобы он и не заметил. И на цыпочках уйду. И если бы набросился на меня мой муж, как умирающий от жажды, мне было бы стыдно перед собой. Но Михаэль отнесся ко мне так, будто я — хрупкий сосуд, будто я — лабораторная пробирка, которую он держит в пальцах, с чего бы мне обижаться? Ночью я вспомнила его груботканное теплое пальто, которое было на нем в тот вечер, когда мы шли из кибуца Тират Яар к автобусной остановке на иерусалимском шоссе. И ложечку, которой играли его пальцы в буфете «Терра Санта», я вспоминала в наши первые ночи.

Чашечка кофе дрожала в моей руке, когда я спросила своего мужа в одно из этих утр — глаза прикованы к выщербленной половице — хороша ли я как женщина? Он задумался на секунду и ответил, как отвечают на академические вопросы, что судить не в состоянии, потому что других женщин не знал. Откровенно ответил мне Михаэль, но почему же не унялась моя дрожь, и кофе расплескался, оставив пятна на новой скатерти?

Каждое утро я жарила двойную яичницу. Варила кофе на двоих. Михаэль нарезал хлеб.

Я любила надевать голубой фартук и заново расставлять всю утварь у себя на кухне. Дни были исполнены покоя. В восемь Михаэль уходил на занятия. В руках у него — новый портфель: по случаю свадьбы купил ему отец большой черный портфель. Я прощалась с ним на углу и отправлялась в детский сад Сарры Зельдин. Я купила себе новое весеннее платье спортивного покроя, с желтыми цветами. Но весна запаздывала, и зима все тянулась. Долгая и тяжелая зима стояла в Иерусалиме в тысяча девятьсот пятидесятом году.

Из-за снотворного я и днем не могла выбраться из дремы. Старая Сарра Зельдин, бывало, метнет в мою сторону понимающий взгляд поверх очков в золотой оправе. Может, в своем воображении рисует она бурные ночи. Я хотела бы разъяснить ей, что она ошибается, но не знала, какими словами это можно сделать. Ночи наши были тихими. Иногда мне чудилось, будто я спиной ощущаю поднимающееся неясное ожидание. Словно нечто воистину важное все еще не произошло. Как будто все — только прелюдия. Репетиция. Приготовления. Я разучиваю сложную роль, которую мне предстоит исполнить вскоре. Вот-вот в моей жизни произойдет великое событие.

Я напишу нечто странное о Переце Смоленскине.

Профессор, завершив цикл лекций об Аврааме Мапу, перешел к обсуждению книги «Блуждающий по дорогам жизни». Массу подробностей сообщил нам профессор о странствиях Переца Смоленскина, о его душевных терзаниях. В те годы исследователи все еще верили, что писатель напрямую причастен к происходящему в книге.

Я помню мгновенья, когда овладевало мной острое, ясное чувство, будто мне хорошо знаком этот человек, Перец Смоленскин. Может, его портрет, напечатанный на суперобложке напомнил мне чье-то знакомое лицо. Но я не думаю, что это и есть настоящая причина. Мне казалось, что еще девочкой я слышала из его уст нечто важное, касающееся моей жизни, и вскоре я вновь с ним встречу. Я обязана, обязана в душе своей сформулировать точные вопросы, чтобы знать о чем расспросить Переца Смоленскина.

Главное — я должна выяснить, каково влияние Чарльза Диккенса на рассказы Переца Смоленскина. Каждый день после полудня я сидела на постоянном месте в читальном зале «Терра Санта» и читала «Давида Копперфильда» в старом английском издании. Копперфильд-сирота у Диккенса подобен Иосифу-сироте из города Мадмена в рассказе Смоленскина: и тот, и другой перенесли все возможные страдания. Каждый из них повстречал на жизненном пути жестоких людей из разных слоев общества. Но писателей отнюдь не заботит общество — их заботит судьба сирот. Исполненная покоя, сидела

я два-три часа над книгой, читая о страданиях и жестоко-
стях, будто я читаю о динозаврах, которые исчезли из ми-
ра и никогда не возродятся. Будто передо мной — ка-
кие-то невнятные басни, мораль которых вовсе не важна.

В те годы в подвальном этаже «Терра Санта» работал
старик-библиотекарь, носивший на макушке черную ша-
почку. Он знал мою старую фамилию, знал и новую. Те-
перь, наверно, его уже нет в живых. Я обрадовалась, ко-
гда он сказал мне:

— Госпожа Хана Гринбаум-Гонен, ваши инициалы об-
разуют слово «хаг», что значит «праздник». Я молю Господ-
да, чтобы все дни вашей жизни были днями праздника.

Закончился март. Половина апреля пролетела. Долгая
и тяжелая зима стояла в Иерусалиме в тысяча девятьсот
пятидесятом.

В сумерках я стояла у окна, ожидая возвращения му-
жа. Подышав на стекло, я рисовала пальцем пронзенное
стрелой сердце, сплетенные руки, вензеля «Х» и «Г», «М»
и «Г», «Х» и «М». А иногда и другие фигуры.

Завидя Михаэля в конце переулка, я торопливо все
стирала. Издали Михаэлю казалось, что я приветственно
машу ему рукой, и он махал мне в ответ. Когда пересту-
пал он порог, рука моя была холодна, как ледышка, пото-
му что я водила ею по запотевшему стеклу. Михаэль лю-
бил повторять:

— Руки горячие — сердце холодное, а холодные ру-
ки — горячее сердце.

Из кибуца Ноф Гарим пришла посылка, и в ней два
свитера, связанные Малкой, моей матерью. Белый — для
Михаэля, а мне — свитер спокойных тонов, под цвет его
тихих глаз.



XI

В ОДНУ ИЗ ГОЛУБЫХ СУББОТ — ВНЕЗАПНАЯ весна заполонила горы — мы отправились пешком из Иерусалима в Тират Яар. В семь утра вышли мы из дому и спустились по дороге к деревне Лифта. Пальцы наши были сплетены. И было утро, промытое лазурью. Очертанья гор прорисовывались в голубизне, словно выписанные тонкой кистью. В ущельях скал гнездились цикламены. Анемоны пылали на склонах. Земля пропиталась влагой. В расселинах камней все еще стояла дождевая вода. Омытые, вздымались сосны. Дыша в упоении, стоял одинокий кипарис у подножия руин заброшенной арабской деревушки Колония.

Несколько раз Михаэль останавливался, показывая мне отдельные геологические структуры, объясняя их названия. Знаю ли я, что море покрывало эти горы сотни тысяч лет назад?

— В конце всех времен море вновь поглотит Иерусалим,— сказала я твердо.

Михаэль засмеялся:

— Неужели и Хана в пророках?

Был он весел и бодр. Временами, поднимая камень, произносил суровые слова, будто выговаривал ему. Когда взобрались мы на вершину горы Кастель, вдруг появилась большая птица, то ли ястреб, то ли коршун, и стала кружить над нами.

— Мы пока не умерли,— сказала я радостно.

Скалы все еще были скользкими. Я нарочно оступилась, чтобы напомнить лестницу в «Терра Санта». Рассказала Михаэлю про то, что говорила накануне нашей свадьбы госпожа Тарнопольер: будто мы женимся, как идолопоклонники, про которых написано в Библии, словно в Пурим в лотерею играем: девушка загляделась на какого-то случайно подвернувшегося парня, а ведь так же случайно могла встретить совсем другого ...

Затем я набрала цикламенов и продела их в петли рубашки Михаэля. Он взял мою руку в свою. Ладонь моя была холодной, а его пальцы теплыми.

— Есть у меня одна банальная поговорка,— сказал Михаэль со смехом.

Я ничего не забыла. Забыть — значит умереть. Я не хочу умирать.

Лиора, подруга моего мужа, была на субботнем дежурстве. Она не могла освободиться даже ради нас. Она пришла узнать, счастливы ли мы. И тотчас же возвратилась на кухню. Мы пообедали в кибуцной столовой. В полдень растянулись на лужайке, голова моего мужа на моих коленях. Я уж было собралась рассказать ему о том, что томит меня, о близнецах. Внутренний страх сковал меня. Не рассказала.

Затем мы прогулялись к источнику Аква Белла. Неподалеку, на полянках рощицы расположились парни и девушки, которые добрались сюда из Иерусалима на велосипедах. Один из парней чинил шину, лопнувшую в пути. До нас долетали обрывки разговоров.

— У лжи ноги короткие,— заметил парень, чинивший велосипед.— Вчера я соврал отцу, что иду в клуб допри-

звивников, а сам отправился в кинотеатр «Сион» смотреть «Самсона и Далилу». Представьте, кто сидел у меня за спиной? Мой отец, собственной персоной.

Спустя несколько минут мы услышали девушку, рассказывающую подружке, что сестра ее Эстер вышла замуж из-за денег, а вот она выйдет только по любви, ибо жизнь прожить — не поле перейти. Подружка ответила, что она, со своей стороны, не очень-то отвергает свободную любовь: ведь когда тебе двадцать, как узнать, продержится ли любовь до тридцати. Ее наставник из молодежного движения провел беседу, объяснив, что у современных людей любовь должна быть простым, обыденным делом — все равно что выпить стакан воды. Однако она не уверена, что следует терять голову. Всему свой предел. Не то, что Ривкеле, меняющая мужчин каждую неделю. Но и Далия хороша: едва приблизится к ней мужчина, чтобы узнать, который час, она заливается краской и убегает, будто все хотят ее изнасиловать. В жизни ко всему следует относиться осторожно, избегать крайностей, ибо тот, кто живет необузданно, умрет молодым, как сказано в романе Стефана Цвейга.

На исходе субботы первым же автобусом мы вернулись в Иерусалим. К вечеру задул сильный северо-западный ветер. Небо заволкло тучами. Весна, что разлилась поутру, оказалась мнимой. Зима все еще властвует в Иерусалиме. Мы отменили наши планы — сходить в город и посмотреть фильм «Самсон и Далила» в кинотеатре «Сион». Мы рано улеглись в постель. Михаэль читал субботнее приложение к газете. Я читала «Похороны осла» Переца Смоленскина, готовясь к завтрашнему семинару. В доме нашем царил тишина. Жалюзи спущены. Свет ночника выписывал тени, на которые мне боязно было взглянуть. Я слышала звук капель, падающих в раковину из крана на кухне. Уловила ритм их падения.

К ночи прошла переулком ватага подростков. Они возвращались из клуба религиозно-молодежного движения. Прямо под нашими окнами парни запели:

Все девчонки сотворены Сатаной,
Я всех ненавижу, кроме одной.

А девочки завизжали тонкими голосами.

Михаэль отложил газету. Можно ли мне помешать? Ему хотелось сказать мне кое-что: будь у нас деньги, мы бы купили радио, и можно было бы слушать концерты дома. Но поскольку мы в долгах, как в шелках, в этом году купить радио не удастся. Может, эта старая скряга Сарра Зельдин с будущего месяца станет платить побольше? Кстати, парень, починивший котел, и в самом деле мил и приятен, но котел для подогрева воды снова неисправен.

Михаэль погасил лампу. Его рука пыталась нащупать мою. Глаза его еще не привыкли к слабому свету, пробиравшемуся сквозь жалюзи. В этих поисках его локоть с силой врезался в мой подбородок, и вздох боли вырвался у меня невольно. Михаэль просил прощения. Гладил меня по волосам. Я была усталой и растерянной. Он прижался щекой к моей щеке. Далеким и прекрасным было наше путешествие, поэтому он и не успел побриться. Кожей своей я ощущала покалывание щетинок. Вспоминаю тот ужасный миг, когда я походила на невинную невесту из вульгарного анекдота, не понимающую, чего добивается от нее жених. Ведь двупальная кровать так широка. Это был унижительный миг.

Ночью мне снилась госпожа Тарнополер. Мы были в одном из городов приморской изменности, может быть, в Холоне. Кажется, в квартире отца моего мужа. Госпожа Тарнополер приготовила мне чай из трав. Горький вкус его был омерзителен. Меня вырвало. Я испортила свое белое свадебное платье. Госпожа Тарнополер залилась гнусавым смехом. Она высокомерно заявила, что предупреждала меня заранее, но я пренебрегла всеми предостережениями. Злая птица наострила свои кривые когти. Когти эти коснулись моих век. Я проснулась в панике. Я теребила руку Михаэля. Он сердился во сне, пробормотал, что я помешалась, что я должна оставить его в покое, он обязан выспаться, завтра ждет его трудный день. Я проглотила таблетку снотворного. Через час еще одну. Наконец я уснула, будто провалилась в обморок. Наутро была у меня пониженная температура. Я не пошла на работу. В полдень поссорилась с Михаэлем. Я бросала обидные слова. Михаэль сдержался. Молчал. К вече-

ру мы помирились. Каждый из нас считал, что именно он виновник ссоры. Моя подруга Хадасса с мужем пришли в гости. Муж Хадассы — экономист. Дискуссия развернулась вокруг политики экономических ограничений. По мнению мужа Хадассы, правительство действует, исходя из смехотворных предпосылок, будто все государство Израиль — единый молодежный лагерь. Хадасса сказала, что чиновники заботятся только о себе, приведя в качестве примера скандальную аферу, потрясшую Иерусалим и передаваемую из уст в уста. Михаэль задумался, затем решил заметить, что было бы ошибкой подходить к жизни с непомерными требованиями. Я так и не поняла, говорит ли он все это в оправдание правительства или в знак согласия с мнением наших гостей. Я спросила, что он имеет в виду. Михаэль улыбнулся, будто я и не жду от него другого ответа, кроме улыбки. Я встала и вышла на кухню, чтобы подать кофе, чай и печенье. Двери в кухню были открыты, и я могла слышать подругу мою Хадассу. Она расхваливала меня моему мужу, рассказывала, что я была самой лучшей ученицей и самой развитой девочкой в классе. Затем разговор завертелся вокруг Еврейского университета в Иерусалиме. Это очень молодой университет, но руководят им закоренелые консерваторы.



XII

В ИЮНЕ, ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ, я забеременела. Михаэль не обрадовался, когда я сообщила ему о беременности. Дважды он переспрашивал, уверена ли я, что понесла. Как-то еще до свадьбы прочитал он в медицинском справочнике, что на этот счет легко ошибиться. Особенно, при первой беременности. Может, я перепутала симптомы?

Когда он сказал это, я встала и вышла в другую комнату. Он остался на своем месте, перед зеркалом, выбривая чувствительное место — впадинку между нижней губой и подбородком. Наверно, я допустила ошибку, заговорив с ним об этом именно во время бритья.

На следующий день прибыла из Тель-Авива тетя Женья, детский врач. Утром Михаэль позвонил ей, она все бросила и немедленно приехала.

Тетя Женя говорила со мной сурово. Она обвинила меня в безответственности: я сведу на нет все усилия Михаэля достичь кое-чего в жизни. Как я не понимаю, что достижения Михаэля — это и моя судьба. И именно теперь, накануне выпускных университетских экзаменов.

— Как дитя, — сказала тетя Женя. — Ну просто дитя.

Она наотрез отказалась заночевать у нас. Ведь она все оставила и понеслась в Иерусалим, как дурочка. Она жалеет, что приехала. О многом она сожалеет. Всего-то и дела — операция в десять минут. Просто и легко, как удаление гланд у ребенка. Но на свете есть сложные женщины, которым невозможно объяснить простые вещи. А ты, Михаэль, сидишь и молчишь, как истукан, будто тебя это не касается. Иногда ей кажется, что нет никакого смысла в том, что старшее поколение жертвует собой во имя молодых. Она сдержится, чтобы не прорвалось то, что у нее на сердце. Привет обоим.

Тетя Женя схватила свою коричневую шляпу и ушла. Михаэль сидел и молчал, рот его был приоткрыт, как у ребенка, услышавшего страшную историю. Я ушла в кухню, заперла дверь и плакала. Натерла морковь на терке, посыпала сахаром, полила лимонным соком — и плакала. Стучал ли Михаэль в двери — я не слышала и не отвечала. Я почти уверена сейчас, что Михаэль не постучался в дверь.

Сын наш Яир родился в годовщину нашей свадьбы, в марте пятьдесят первого, после тяжелой беременности.

Летом, в самом начале моей беременности, я потеряла на улице наши продовольственные карточки. Михаэля и мои. А без них невозможно было купить необходимые продукты. Через пару недель у меня появились первые признаки авитаминоза. Михаэль наотрез отказался купить на черном рынке даже крупицу соли. Подобные взгляды передал ему по наследству Иехезкиэль, отец его: преданность — высокая и страстная — законам нашей страны.

Но и после того, как мы получили новые карточки, всяческие осложнения не оставили меня. Однажды, в приступе головокружения, я грохнулась наземь во дворе

детского сада Сарры Зельдин. Врач сказал, что мне нельзя больше работать. Решение это было трудным, поскольку с деньгами у нас было очень плохо. Врач также велел впрыскивать мне печеночный экстракт и кальций. Все это время не прекращалась головная боль. Мне постоянно казалось, что в правом виске застрял осколок ледяного металла. Все мучительней становились сны. Я просыпалась в крике. Михаэль известил письмом свою семью, что я вынуждена была оставить работу и очень это переживаю. Благодаря хлопотам мужа моей лучшей подруги Хадассы, Михаэль смог получить скромную ссуду в студенческой кассе взаимопомощи.

В конце августа пришло заказное письмо от тети Жени. Ни одной строки не написала она, но в конверте лежал сложенный вдвое банковский чек на триста лир. Михаэль сказал, что, если честь обязывает меня вернуть деньги, он готов прервать занятия и найти себе работу, а я вольна вернуть тете Жене ее деньги. Я ответила, что не люблю слово «честь», а деньги принимаю с благодарностью. В таком случае Михаэль просит, чтобы я не забыла, что он, со своей стороны, был готов отказаться от продолжения учебы и заняться поисками работы.

«Я запомню, Михаэль. Ведь ты меня знаешь. Я не умею забывать».

Я перестала посещать лекции в университете. Я больше не вернусь к изучению ивритской литературы. Я еще успела записать в своей тетради, что произведения поэтов Еврейского Возрождения насыщены неизбывным ощущением сиротства. Каковы источники этого ощущения, в чем его суть,— об этом мне уже не дано было узнать.

И домашнее хозяйство велось спустя рукава. Утренние часы я проводила на нашем маленьком балкончике, который выходил на пустынный задний двор. Я отдыхала в кресле, бросала хлебные крошки птицам. Любила наблюдать за играми соседских детей. Покойный отец, бывало, говорил: «Вглядываться и молчать». Я вглядываюсь и молчу. Быть может, мой взгляд и мое молчание далеки от того, что подразумевал отец. Что находят дворовые дети в дикарских состязаниях? Утомительная игра, а победа лишена смысла. Что ждет победителя? Наступит ночь.

вернется зима, польются дожди и все сотрут. Сильные ветры вновь задуют в Иерусалиме. Может, будет война. Игра в прятки до смешного ничтожна. Со своего балкона я всех вижу. Кто и вправду может спрятаться? Кто пытается? Как странна эта увлеченность. Отдохните-ка, усталые дети. Зима все еще далека, но она надвигается, а расстояние обманчиво.

В полдень я падала на постель, словно изнуренная каторжной работой. Не в силах прочесть даже газету.

Михаэль уходил в восемь утра и возвращался в шесть вечера. Стояло лето. Я не могла, подышав на оконное стекло, рисовать на нем. Чтобы не утруждать меня, Михаэль вернулся к своему давнему обычаю: обедать в холостяцкой компании соучеников в студенческой столовой, что в самом конце улицы Мамила.

Декабрь — шестой месяц моей беременности. Михаэль сдавал экзамены на получение первой университетской степени. Его оценка — четыре с плюсом. Я не проявила интереса к его радости. Пусть себе радуется, а меня оставит в покое. Он продолжил учебу для получения второй университетской степени. Вечером, уставший, он вызывался сходить к зеленщику, в продовольственную лавку, в аптеку. Однажды ему пришлось отказаться от лабораторных работ, потому что я просила его пойти в поликлинику и получить результаты моих анализов.

В этот вечер Михаэль нарушил обет молчания, который он сам для себя установил. Попытался объяснить мне, что и его жизнь теперь совсем не легка. Мне не следует думать, что целые дни он только и делает, что ест мед ложками, как говорится.

— Я так не думала, Михаэль.

А если так, то почему же я отношусь к нему, будто он во всем виноват?

Итак, почему же я отношусь к нему, будто он виноват?

И отношусь ли я к нему, будто он виноват?

Он обязан понять, что сейчас я не в состоянии быть романтической. У меня нет даже платья для беременных женщин. Я каждый день одеваюсь в свои обычные платья, которые и не подходят, и неудобны. Как уж тут выглядеть милой и красивой?

Нет, этого он от меня не требует. Не отсутствие красоты его заботит. Он просит, самым убедительнейшим образом просит, чтобы я не была отчужденной, не впадала в истерику.

И вправду, в тот период царил в наших отношениях некий зыбкий компромисс. Мы ходили на двух пассажиров, которых свела судьба в одном купе во время долгого путешествия. Они не обязаны внимательно относиться друг к другу, проявлять заботу друг о друге. Важно не беспокоить, не отягощать. А также и не копать, не выяснять отношений. Быть вежливыми и спокойными. Быть может, время от времени забавлять спутника приятной беседой, не требующей умственного напряжения. В определенные минуты может даже возникнуть сдержанная взаимная симпатия.

Но за окнами железнодорожного вагона расстился унылый плоский ландшафт: опаленная степь, низкий кустарник.

Если я попрошу закрыть окно, он с радостью мне поможет.

Это было зимнее равновесие. Осторожное, натужное, как спуск по скользким лестницам, омытым дождем.

Отдохнуть. Отдохнуть мне хочется.

Признаюсь: именно я зачастую нарушала равновесие. Если бы не твердая рука Михаэля, я бы не устояла. Злостно молчала целые вечера напролет, будто я одна в доме. Если Михаэль спрашивал меня о здоровье, я отвечала: «А тебе какое дело?» Если он обижался и на следующее утро не интересовался моим здоровьем, я обвиняла его в безразличии. Один или два раза я довела его своими слезами. И криками: «Злодей!» Обвиняла его в душевной глухоте и бессердечии. Михаэль отвечал спокойно, размеренным голосом. Терпелив и осторожен был он в разговорах со мной. Был у него свой подход: будто он — обидчик, а я удостою его примирением. Я была упряма, как взбунтовавшаяся девчонка. Я ненавидела его до спазм в горле. Я исходила рвотой, чтобы вывести его из себя.

Размерен и точен был Михаэль, когда мыл полы, выполаскивал тряпку, дважды протирая всю комнату. Затем спрашивал, не стало ли мне легче. Согревал для меня мо-

локо, убирая ненавистную пенку. Просил прощения за то, что раздражает меня в моем положении. Просил, чтобы я ему точно объяснила, чем вызван мой гнев, дабы он вновь не повторил свою ошибку в будущем.

Он спустился вниз, чтобы купить канистру керосина ...

В последние месяцы беременности я чувствовала себя очень некрасивой. Я не осмеливалась взглянуть на себя в зеркало, потому что на лице у меня появились бурые пятна. Мне пришлось бинтовать ноги эластичными бинтами из-за расширения вен. Теперь я, наверно, похожа на госпожу Тарнополер или старую Сарру Зельдин.

— Я кажусь тебе безобразной, Михаэль?

— Ты мне очень дорога, Хана.

— А если я, по-твоему, не безобразна, то почему же ты не обнимаешь меня?

— Потому, что ты опять расплачешься и скажешь, что я притворяюсь. Ты уже позабыла, о чем просила меня утром? Ты просила, чтобы я к тебе не прикасался. Потому я и не прикасаюсь.

Когда Михаэля нет дома, ко мне возвращается тоска тех дней, томленье маленькой девочки — быть тяжело больной.



ХІІІ

СТАРЫЙ ИЕХЕЗКИЭЛЬ СОЧИНИЛ И ПРИСЛАЛ рифмованное письмо — поздравление Михаэлю по случаю успешной сдачи выпускных экзаменов. «На экзаменах успех» рифмовалось у него со словами «радость на душе у всех» и «счастье Ханы без помех». Прочитав мне это письмо, Михаэль признался, что в глубине души он надеялся и от меня получить небольшой подарок, быть может, новую трубку в честь присуждения ему первой университетской степени. Произнося все это, он улыбался смущенной улыбкой, вызывавшей и мое смущение. Я рассердилась на него и за его слова, и за его улыбку. Ведь я столько раз ему говорила, что голова у меня раскалывается от боли, будто в ней застрял осколок холодного металла. Почему он всегда думает о себе и никогда — обо мне?

Из-за меня он трижды отказался от важных геологических экскурсий, в которых приняли участие все его товарищи: на гору Манара, где обнаружили железную руду; в Великой впадине, что в Негеве; на заводы поташа в Сдоме, на Мертвом море. В этих экскурсиях участвовали и семейные соученики Михаэля. Я не стала благодарить Михаэля за его отказ от поездок. Но случилось так, что однажды вечером всплыли в моей памяти давно позабытые две строчки из детской песенки, в которой поется про мальчика по имени Михаэль:

Пять лет веселый Михаэль плясал, все прыг да скок.
Пять лет плясал, а на шестой — прощай-ка, голубок!

Я залилась смехом.

Михаэль поднял на меня глаза, полные сдерживаемого удивления: не так уж часто он видел меня веселой. Хотелось бы и ему узнать, что привело меня в такое веселое настроение.

Я смотрю ему в глаза, широко раскрытые от удивления, и снова заливаюсь громким смехом.

Михаэль погрузился в раздумья. Спустя три минуты он, приняв некое решение, стал рассказывать мне политический анекдот, который он сегодня слышал в студенческой столовой.

Малка, моя мать, приехала из кибуца Ноф Гарим, что в Верхней Галилее, чтобы пожить у нас до моих родов, вести хозяйство. После смерти отца, в тысяча девятьсот сорок третьем, мама переехала в Ноф Гарим. С тех пор ей не приходилось заниматься хозяйством. Она была неутомима и все делала с энтузиазмом. После первого же обеда, приготовленного ею сразу же по приезде, она сказала Михаэлю: дескать, ей известно, что он не любит баклажаны, и вот, он и не заметил, а она накормила его тремя блюдами из баклажан. Чудеса можно сотворить, умея готовить. И вправду он не почувствовал вкуса баклажан? Совсем, совсем не распознал?

Михаэль признался вежливо: совершенно не заметил. Чудеса можно сотворить, умея готовить.

Мать держала Михаэля на посылках. Возможно, отравляла ему жизнь, воинственно настаивая на соблюдении правил гигиены: он обязан тщательно мыть руки, банжно-

ты и монеты нельзя класть на стол, за которым люди обедают. Необходимо снять оконные решетки, чтобы основательно их вымыть и вычистить. Нет, вправду, она безмерно удивлена ... Нет, не на балкон, пожалуйста, ведь вся пыль полетит в квартиру ... нет, не на балкон, а вниз, во двор ... Да, именно так, вот теперь все отлично ...

Ей известно, что Михаэль рос сиротой, без матери. Поэтому она на него не сердится. И все-таки ей очень трудно понять: ученый, университетское образование, а совсем не знает, что мир полон вирусов. Михаэль все исполнял с отменной вежливостью, как хорошо воспитанный ребенок. Чем он может помочь? Можно ли ему? Не мешает ли он? Да, он спустится и купит. Конечно же, спросит у зеленщика. Хорошо, он постарается пораньше прийти из университета. Корзинку для покупок он возьмет с собой. Нет, не забудет. Вот он записывает, чтобы не забыть. Он согласен, он отказывается от своего намерения приобрести первые тома Новой Еврейской Энциклопедии. Нет необходимости. Он понимает, что теперь все мы должны по возможности экономить.

По вечерам Михаэль работает помощником библиотекаря в библиотеке отделения естественных наук — за весьма скромную плату. Я выговариваю ему, что и по вечерам не удостоена лицезреть его величество. Даже от куренья трубки Михаэль отказался, потому что Малка, моя мать, не выносит запаха табака, а кроме того, она убеждена, что куренье вредит младенцу.

Когда ему трудно совладать с собой, муж мой спускается в переулок, четверть часа стоит он под старинным уличным фонарем, словно поэт в поисках вдохновения. Как-то я стояла у окна, наблюдая за ним сверху. В свете уличного фонаря видела я коротко остриженные волосы на затылке. Клубы дыма окутывали его, будто образ вызван из небытия, а сам он — неживой. Я запомнила слова, давно сказанные Михаэлем: «Коты не ошибаются в людях». Слово «лодыжка» кажется ему красивым. В его глазах я — дочь иерусалимская, красивая и нежная. А он — парень средний, так он сам думает. До встречи со мной не было у него постоянной подруги. Никогда. А когда идет дождь, каменный лев наверху здания «Дженерали» заливается беззвучным смехом. Если человек сыт и

ему нечем занять себя, чувства набухают и превращаются в злокачественную опухоль. Иерусалим — это город, несущий печаль, но в каждый час, в каждое время года печальны в Иерусалиме по-своему. С тех пор много воды утекло. Все это уже позабыто Михаэлем. Только я отказываюсь отдать в когти холодного времени хотя бы единую песчинку. Я спрашиваю себя: каким колдовством воздействует время на самые банальные слова? Существует в мире некое таинство; оно задает и внутреннюю мелодию моей жизни. Неправ был наставник из молодежного движения, который сказал девушке, встреченной нами у источника Аква Белла, что любовь у современных людей станет делом очень простым — все равно, что выпить стакан воды. Прав был Михаэль, когда говорил мне ночью на улице Геула: человек, который женится на мне, должен быть очень сильным ...

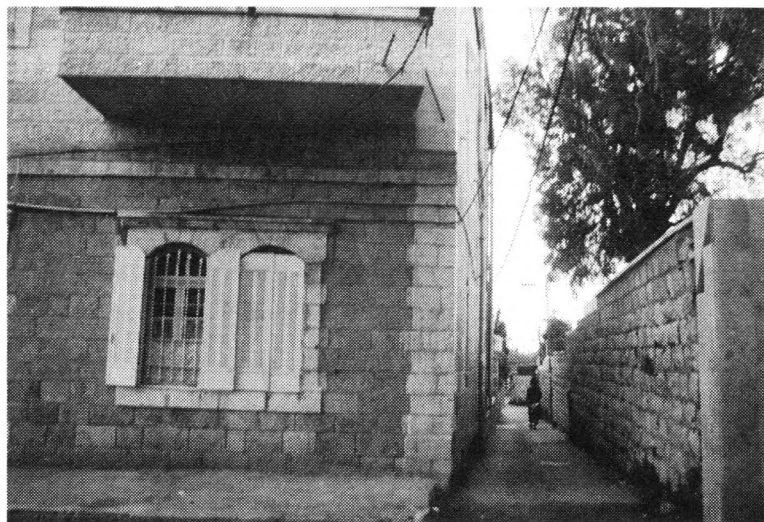
В тот момент я чувствовала, что, хотя он стоит и курит там, под фонарем, будто выставленный за дверь нашкочивший мальчишка, у него нет никакого права винить меня в своем страдании, потому что вскоре я буду мертва, и я не обязана с ним считаться. Михаэль погасил свою трубку и направился к дому. Я поспешила лечь в постель, отвернулась лицом к стене. Мама попросила, чтобы он вскрыл коробку консервов. Михаэль ответил, что сделает это с превеликим удовольствием. Издалека донеслась сирена «скорой помощи».

Как-то ночью, когда в молчании мы уже погасили свет, Михаэль шепнул мне, что ему кажется иногда, будто я перестала любить его. Спокойно сказал это. Так называют вещи своими именами.

Я сказала:

— Грустно мне. И это все ...

Михаэль проявил понимание. Я — в особом положении. Здоровье мое пошатнулось. Условия трудные. Может, в этой беседе Михаэль употребил слова: «психофизический», «психосоматический». Всю зиму ветер гнет кроны сосен в Иерусалиме, а когда утихомирится буря — нет на деревьях и знака ее. Ты чужой. Михаэль. Ты лежишь рядом со мной по ночам, и ты чужой.



XIV

В МАРТЕ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ первого года родился наш сын Яир. Иосиф — имя моего любимого отца — получил сын Иммануэля, брата. А мой сын назван двойным именем — Яир-Залман Гонен, в память Залмана Ганца, деда моего мужа.

Иехезкиэль Гонен прибыл в Иерусалим на следующее утро после родов. Михаэль привел его в палату рожениц в больнице «Шаарей Цедек». Здание больницы — хмурое, мрачное, построенное еще в прошлом веке. Напротив моей кровати штукатурка на стене облупилась, сеть трещин побежала по ней. Я глядела на стену, и виделись мне странные фигуры и формы: дикие горные цепи или черные женщины, застывшие в истерической судороге.

Иехезкиэль Гонен тоже был мрачен и подавлен. Долгое время просидел он у моей постели, держа Михаэля за руку, утомительно рассказывая историю своих дорожных

страстей: как утром он добрался из Холона в Иерусалим, и с автобусной станции по ошибке отправился в Меа Шеарим, а не к нам, в Мекор Барух. В квартале Меа Шеарим есть уголки — между винтовыми лестницами и веревками, увешанными бельем, — которые напоминают ему бедняцкие окраины города Радома в Польше. Нет, мы не можем даже вообразить, говорил Иехезкиэль, сколь велики его боль и печаль, как беспредельно его горе. Итак, добрался он до Меа Шеарим, и спросил дорогу, и ответили ему: так, мол, и так, и вновь он спросил, и снова его направили по ложному пути. Он не может поверить, что дети религиозных евреев способны на такие выходки, а может, иерусалимские переулки заколдованы. Наконец, усталый и измученный, сумел он найти дом, да и то — лишь по счастливому совпадению. Все хорошо, что хорошо кончается, как принято говорить. Не в этом главное. Главное же, что он хочет поцеловать меня в лоб — вот так! — пожелать мне всего самого хорошего от своего имени и от имени четырех его сестер; передать нам запечатанный конверт, а в нем — сто сорок семь лир, остатки его сбережений; цветы он забыл мне принести; и он просит самым убедительным образом, чтобы я назвала его внука Залманом.

Сказал и стал обмахиваться потертой шляпой, направляя поток охлажденного воздуха на свое усталое лицо, и вздохнул, будто камень скатился с души. Почему Залман? Это он хочет мне объяснить, но не в долгих словах, а самым кратким образом: у него есть сентиментальная привязанность. Не утомляет ли он своими разговорами? Итак, сентиментальная привязанность: Залман Ганц — его отец. Дед нашего дорогого Михаэля. Залман Ганц был в своем роде евреем замечательным. Наш долг — увековечить его имя, как это принято у евреев. Был он учителем. Учителем Божьей милостью. Преподавал естественные науки в еврейской учительской семинарии в Гродно. От него унаследовал Михаэль свои превосходные способности к наукам. Значит так, вернемся к главному. Он, Иехезкиэль очень просит. До сего дня ничего у нас не просил. Кстати, когда здесь позволяют взглянуть на младенца? Да, ничего у нас не просил. Всегда давал. Только давал — все, что было в его силах. Но сейчас он обращает-

ся к своим дорогим детям с великой, особой просьбой. Пожалуйста, назовите моего внука Залманом.

Иехезкиэль встал и вышел в коридор, чтобы смогли мы, Михаэль и я, посоветоваться. Нежная душа была у этого старика. Я не знала, кричать мне или плакать.

Михаэль очень осторожно предлагает записать в документах двойное имя — Яир-Залман. Он только предлагает, но не настаивает. Окончательное решение за мной. И пока парень не подрастет, Михаэль полагает, что нам не следует говорить о втором имени ни единому человеку, чтобы не осложнять жизнь нашему ребенку.

Ты умен, мой Михаэль. Ты просто мудр.

Муж мой погладил меня по щеке. Спросил, что еще ему следует купить и приготовить. Затем расстался со мной и вышел в коридор к отцу, чтобы рассказать ему о найденном компромиссе. Я полагаю, что он хвалил меня: я с легкостью согласилась на то, что другая женщина ... и все такое прочее.

На церемонии обрезания я не присутствовала. Врачи обнаружили у меня некоторые осложнения и не позволили встать с постели. В полдень прибыла в больницу тетя Женя, доктор Женя Ганц-Криспин. Как буря, прошла она по родильному отделению. Ворвалась в ординаторскую. Говорила по-немецки и по-польски тоном агрессивным. Угрожала, что специальной каретой «скорой помощи» переведет меня в одну из тель-авивских больниц, где она занимает пост заместителя заведующего детским отделением. У нее есть серьезные претензии к моему лечащему врачу. В присутствии сестер и врачей она заявляет о его халатности. Стыд и позор! Будто в какой-то азиатской больнице. Упаси Боже.

Я не знаю, чего добивалась тетя Женя от лечащего врача, чем она так возмущалась. К моей постели она подошла лишь на краткий миг. Она коснулась моей щеки своими губами и пушком своих усиков, велела мне не беспокоиться. Она сама обо всем позаботится. Она, не колеблясь, устроит скандал, дойдет до самых высоких инстанций, если это понадобится. На ее взгляд, наш Михаэль — законченный лодырь. Совсем, как Иехезкиэле. «Дер зелбер хухем». Говоря все эти суровые слова, тетя Женя

положила ладонь на мое белое одеяло. Я видела мужскую короткопалую руку. Тетя Женя с силой сжала свои пальцы, будто она сдерживала себя, чтобы не расправились они в тот миг, когда рука ее касается моей постели.

В молодости тетя Женя немало страдала. Кое-что о ней рассказывал мне Михаэль. Сначала она была замужем за врачом, гинекологом, по имени Липа Фройд. Он бросил тетю Женю в тридцать четвертом году и бежал в Каир — за спортсменкой из Чехословакии. Он повесился в номере гостиницы «Шепард», одной из самых красивых гостиниц на Востоке. Во время Второй мировой войны тетя Женя вышла за актера Альберта Криспина. Этот муж заболел нервным расстройством, а когда выздоровел — впал в полнейшую апатию. Вот уже десять лет он находится в пансионате в Нагарии, где ничего не делает, только спит, ест да глазеет вокруг. Тетя Женя содержит его.

Я задаюсь вопросом: почему страдания других людей кажутся нам лишь опереточным сюжетом? Только потому, что они — другие люди? Покойный отец говорил, что даже самые сильные люди не вольны желать все, чего им хочется.

Уходя, тетя Женя сказала:

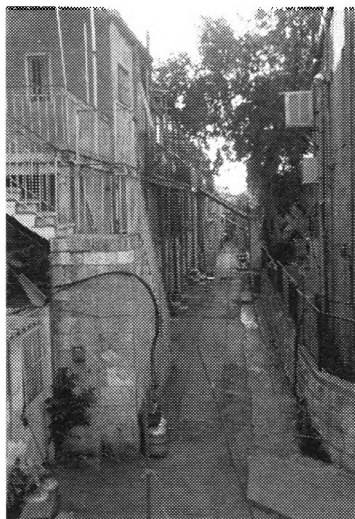
— Ты еще увидишь, Хана, этот врач проклянет день, когда повстречался со мной. Законченный мерзавец. Куда ни глянешь на этом свете — всюду идиотизм и мерзость. Будь здорова, Хана.

Я ответила:

— И вы тоже, тетя Женя. Спасибо вам. Столько усилий ... И все ради меня.

Тетя Женя сказала:

— Какие усилия? Что за усилия? Не болтай глупости, Хана. Люди должны быть людьми. Не лютым зверьем. Кроме таблеток кальция, не соглашайся глотать лекарства. Скажи, что я так велела.



XV

НОЧЬЮ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ БОЛЬНИЦЫ «Шаарей Цедек» плакала восточная женщина, рыдала в отчаянии. Старшая сестра, дежурный врач старались успокоить ее. Упрашивали рассказать о своей боли: может, удастся ей помочь. Но женщина все рыдала, монотонно и заунывно, словно исчезли из мира и слова, и люди.

Будто следователи, допрашивающие коварную преступницу, говорили они с плачущей женщиной. То сурово, то нежно. То угрожая, то заверяя, что все будет в порядке.

Но женщина не отзывалась на их слова. Может, овладела ею упрямая гордость. В тусклом свете ночника я видела ее лицо. Не пробегала по нему гримаса плача. Лицо ее было гладким, без единой морщинки. Но голос ее был пронзителен, и медленно катились слезы.

В полночь медперсонал держал совет. Старшая сестра принесла плачущей женщине ее девочку, хотя время кормления, установленное расписанием, еще не наступило. Женщина выпростала из-под одеяла свою руку, походившую на лапку маленького зверька. Она притронулась к головке ребенка, но тут же отдернула пальцы, будто коснулась раскаленного железа. Положили ей ребенка на постель. Плач не унимался. И когда унесли младенца, ничего не изменилось. Наконец, старшая сестра в сердцах схватила ее костлявую руку и воткнула в нее иголку шприца. Женщина кивала головой, движения ее были медленны, и вся она была исполнена удивления, будто странны ей эти образованные люди, которые беспрестанно возятся с ней, заботятся, совершенно не чувствуя, что все потеряно в этом мире.

Всю ночь доносился пронзительный плач.

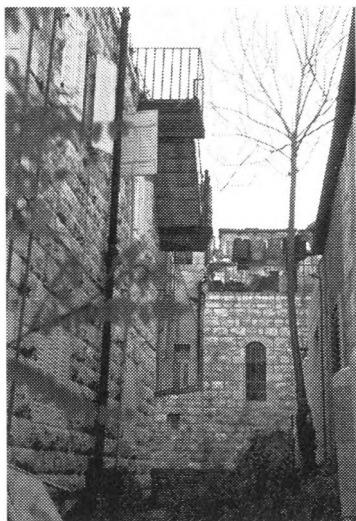
Я не видела обшарпанной комнаты и усталого света ночника. Я видела землетрясение в Иерусалиме.

Старый человек прошел по улице Цфания. Был он тяжел и сумрачен. Большой мешок у него на спине. Остановился на углу улицы Амос. Закричал: «Почи-няю примус! Почи-няю примус!» Улицы опустели. Ни дуновенья ветерка. Исчезли птицы. Но вот коты — хвост трубой — вырвались из дворов. Мягки они в движениях, увертливы, спины выгнуты. Взобрались на деревья у кромки тротуара. Карабкались, продираясь сквозь густые ветки. Сверху коты оглядывали землю, вздыбив шерсть, злобно дыша, будто злая собака проходила кварталом Керем Авраам. Старый человек положил свой мешок посреди улицы. Улица была пуста, потому что британская армия объявила всеобщий комендантский час. Человек поскреб свою шею. Все движенья его были исполнены ярости. В руке его оказался ржавый гвоздь, которым он стал ковырять асфальт. Проковырял он маленькую трещину. Трещина раздалась, разветвилась мгновенно, будто сеть железных дорог в учебном кинофильме, где все процессы показаны в ускоренном темпе. Я прикусила кулак, чтобы не завывать от страха. Легкая осыпь гравия прокатилась по уклону улицы Цфания в сторону Бухарского квартала. Маленькие камешки, коснувшиеся моей кожи, не причиняли боли.

Будто гравий — поток катышей из шерсти. Но воздух исполнен был нервным содроганьем, словно кот перед прыжком, трепещущий, ощетилившийся. Медленно соскользнула огромная скала с горы Скопус, пересекла квартал Бейт Исраэль, будто выстроен он из костяшек домино, прокатилась вверх по улице Пророка Иехезкиэля. Я чувствовала, что эта огромная скала не может катиться вверх по склону, она обязана двигаться только вниз! Я боялась, что мое новое ожерелье будет сорвано с моей шеи, бусы растеряются, а я буду наказана. Я было кинулась бежать, но старый человек раскинул свой мешок во всю ширину улицы, сам стал на него, а выдернуть из-под него мешок оказалось невозможно, потому что тяжел был старик. Я прижалась к забору, хотя знала, что выпачкаю свое самое любимое платье, и тут на меня накатились огромная скала. Но и эта огромная скала была будто ком шерсти, совсем не твердой, мягкой. Рухнула, рассыпалась длинная череда домов. Они разваливались и медленно вращались, как разряженные герои, гибнущие во всем своем великолепии на оперной сцене. Обвал не причинил мне боли. Он накрыл меня, словно теплое покрывало, словно груда пуха. То было мягкое объятие, сдержанное, отнюдь не от чистого сердца. Из руин поднимались истерзанные женщины. Госпожа Тарнополер была среди них. Они причитали на восточный манер, подобно наемным плакальщицам, которых я видела на похоронах Иосифа, отца моего, у покойницкой, во дворе больницы «Бикур Холим». Потекли многочисленные толпы, худые дети ортодоксов с пейсами, в черных лапсердаках; молчаливо текли толпы из кварталов Ахва, Геула, Сангедрия, Бейт Исраэль, Меа Шеарим, Тель Арза. Набросились на развалины, разгребали, копошились. Суматошные, кишащие толпы. Трудно было взглянуть в них и не оказаться женщиной из толпы. Я и была одной из них. Какой-то мальчик, обрядившись в костюм полицейского, парил в высоте, стоя на рассыпающемся балконе, повисшем на единственной стене, оставшейся от дома. Этот мальчишка смеялся от радости, видя меня распластавшейся на дороге. Вульгарный, грубый мальчишка. В изнеможении, распростертая на асфальте, я увидела медленнодвигающийся зеленый британский бронетранспортер. Из люка, через

громкоговоритель, обращались на иврите. Доносившийся голос был размерен, мужественен, от него шел приятный ток по всему телу, от макушки до ступней. Голос возвестил о введении всеобщего комендантского часа. Всякий, находящийся вне дома, будет застрелен без предупреждения. Вокруг меня собрались врачи, потому что я изнемогла посреди улицы, не имея сил подняться. Врачи говорили по-польски. Они говорили: «Опасность распространения эпидемий». Польский их оказался ивритом, но ивритом ущербным. Шотландские «красные береты» ожидают прибытия батальонов подкреплений. Они придут в пилотках цвета крови, на двух английских эсминцах «Дракон» и «Тигрица». Вдруг мальчишка, переодетый полицейским, ринулся с балкона, что прилепился высоко на единственной стене, оставшейся от дома. Он летел вниз головой, летел медленно-медленно, будто Верховный Британский наместник в Палестине генерал Каннихэм уже отменил законы гравитации, которым подчинялись евреи в стране. Он падал, будто снег ночью, по направлению к развороченному тротуару, он парил, а я не могла кричать.

Около двух часов ночи разбудила меня дежурная сестра. В скрипящей колясочке привезли мне сына, чтобы я покормила его. Кошмары переполняли меня, и я плакала навзрыд, плакала сильнее, чем та восточная женщина, которая все еще продолжала всхлипывать. Сквозь слезы я настаивала, чтобы сестра объяснила, как случилось, что мой мальчик жив, что малыш мой уцелел в этом бедствии.



XVI

И ВРЕМЯ, И ПАМЯТЬ ЩАДЯТ СЛОВА БАНАЛЬНЫЕ. Словно по-особому расположены к ним, простирают над ними некий свет сумерек, исполненный милосердия.

Я припадаю к памяти и к словам, как прижимается к перилам человек, находясь на высоте.

Например, слова старой детской песенки, которую цепко держит память:

Любезный клоун мой, не спляшешь ли со мной?
Веселью клоун рад и кружит всех подряд.

Я хочу сказать: во второй строке этой песни есть ответ на вопрос, заданный в первой. Однако ответ этот разочаровывает.

Спустя десять дней после родов врачи позволили мне покинуть больницу. Но я должна была оставаться в посте-

ли и избегать всяких усилий. Михаэль проявил терпение и заботу.

Едва я появилась дома со своим младенцем, добравшись из больницы на такси, вспыхнула громкая ссора между Малкой, моей мамой, и тетей Женей. Вновь взяла тетя Женя отпуск на один день и прибыла в Иерусалим, чтобы наставить меня и Михаэля: она хочет повлиять на меня, чтобы я вела себя разумно.

Тетя Женя велела Михаэлю поставить колыбель у южной стены, чтобы при поднятых жалюзи солнечные лучи не могли повредить младенцу. Малка, моя мама, велела поставить колыбель рядом с моей кроватью. Она не спорит с врачами о медицине. Это — нет. Но, кроме тела, у человека есть еще и душа, говорила мама, а душу матери может понять только мать. Младенец и его мать должны быть рядом. Чувствовать один другого. Дом — это не больница. Это — не медицина. Это — чувства. Все это мама говорила на очень плохом иврите. Тетя Женя обратилась не к ней, а к Михаэлю, сказав, что вполне можно понять чувства госпожи Малки, но ведь мы, мы-то люди рациональные.

И с этого момента начал разветвляться ядовитый конфликт. Однако на удивление вежливый. И каждая из женщин уступила противнице, и обе провозгласили, что дело того не стоит, чтобы о нем вообще разговаривать. Но каждая при этом наотрез отказалась принять уступку, сделанную другой стороной.

Михаэль, в своем сером костюме, стоял и молчал. Ребенок уснул у него на руках. Глаза моего мужа молили женщин забрать у него ребенка. Михаэль походил на человека, который собирается чихнуть, но с огромным трудом удерживается. Я улыбнулась ему.

Каждая из женщин, цепко держа другую за руку, вежливо отталкивали друг друга, обращаясь к визави «пани Гринбаум» и «пани доктор». Отныне спор велся на беглом польском.

Михаэль пробормотал:

— Нет нужды. Не стоит.

Он не осмелился пояснить, в каком из двух предложений нет нужды.

Наконец, тетя Женя предложила, будто удостоившись внутреннего озарения: пусть родители сами решат, где поставить колыбель.

Михаэль произнес:

— Хана?

Я очень устала. Я выбрала вариант тети Жени, потому что утром, по приезде в Иерусалим, купила она мне голубой фланелевый халат. Не могла я ее обидеть, будучи одетой в красивый халат, подаренный ею.

Тетя Женя ликовала. Она коснулась плеча Михаэля, как леди, которая поздравляет своего юного жокея, победившего в последнем забеге. Малка, моя мама, произнесла сладким голосом:

— Гут. Гут. Азой ви Ханеле вил. Йо.

Но вечером, сразу же после отъезда тети Жени, мама тоже решила расстаться с нами и завтра же вернуться в Ноф Гарим. Помочь она не может. Мешать она не хочет. А там, у Иммануэля, в ней очень нуждаются. Все проходит. Когда Ханеле была маленькой, времена были очень тяжелые. Все проходит.

После того, как обе женщины покинули наш дом, я убедилась, что мой муж научился нагревать молоко в стеклянной бутылочке, опуская ее в кастрюльку с горячей водой, кормить сына, поднимать его время от времени, чтобы младенец срыгнул и его не мучили газы. Врачи запретили мне кормить, поскольку обнаружилось новое осложнение. Но и это осложнение оказалось не таким уж серьезным: боли, которые пройдут со временем, и определенные неприятные ощущения.

Между дремой и дремой малыш поднимал веки, обнажая острова чистой голубизны. Казалось, что это — его внутренний цвет, и в бойницах его глаз обнаруживаются лишь крохи избытка лучающейся голубизны, разлитой под кожей младенца. Когда мой сын взглянул на меня, я вспомнила, что пока он еще не в состоянии видеть что-либо. Эта мысль повергла меня в ужас. Я не доверяла природе, которой и на этот раз предстоит завершить установленный цикл явлений. Я совсем не знала законов, которым подчиняется тело. Михаэль не многому смог на-

учить меня. Обычно, говорил он, в реальности действуют постоянные законы. Он, конечно, не биолог, но как ученый-естественник не находит он смысла в моих настойчивых вопросах о причинах и свойствах. Слово «причина» всегда приводит к осложнениям и недоразумениям.

Я любила своего мужа, когда прилаживал он белую пеленку поверх серого своего пиджака, тщательно мыл руки, осторожным движением поднимал своего сына.

— Ты проворен, Михаэль, — робко посмеивалась я.

— Смеяться надо мной не обязательно, — отвечал Михаэль.

Когда я была маленькой, Малка, моя мама, часто пела мне милую песенку про мальчика по имени Давид.

Чудный мальчик наш Давид,
Аккуратен, чист, умыт.

Продолжения этой песни я не помню. Если бы не моя болезнь, отправилась бы я в город и купила подарок мужу. Новую трубку. Красивый цветной туалетный набор. Я мечтаю ...

В пять утра Михаэль обычно вставал, кипятил воду и стирал детские пеленки. Позднее, открыв глаза, я видела моего мужа у своего изголовья. Молчаливого, старательного. Он протягивал мне чашку горячего молока с медом. Я была сонной. Иногда я не сразу брала чашку, потому что мне казалось, что я вижу Михаэля не наяву, а во сне.

Бывали ночи, когда Михаэль даже не раздевался. До рассвета сидел он за своим столом и работал. Во рту его зажата погасшая трубка. Я не забыла постукивания зубов по мундштуку. Может, и дремал он, сидя, полчаса-час: рука его распростерта по столу, голова упала на руку.

Если по ночам плакал ребенок, Михаэль, мой муж, извлекал его из кровати, расхаживал с ним по комнате — взад и вперед, от окна до двери, нашептывая ему в ухо то, что должен был заучить, готовясь к занятиям. В полусне я слышала загадочные пароли: «девон», «пермион», «триас», «литосфера», «сидеросфера». В одном из моих снов профессор ивритской литературы с похвалой отзывался о лингвистическом синтезе в произведениях Менделе Мохер-Сфарим, в своей лекции ученый привел

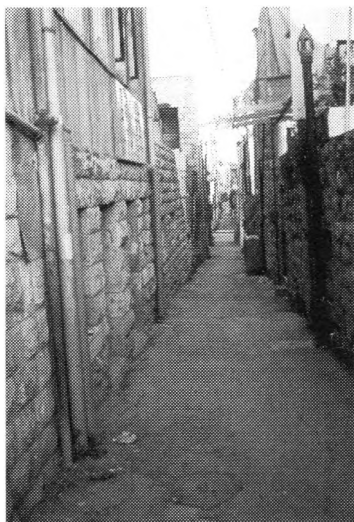
некоторые примеры. Он также сказал мне: «Госпожа Гринбаум, будьте столь любезны, разъясните вкратце амбивалентность ситуации». И во сне старый профессор улыбался мне. Это была мягкая, милосердная улыбка. Улыбка, подобная нежному прикосновению.

Серьезный труд писал Михаэль по ночам. О старинном споре между непунистской и платонистской теориями, трактующими вопросы образования Земли. Этот спор предшествовал теории туманностей Канта и Лапласа. Словосочетание «теория туманностей» казалось мне волшебным.

— Как же все-таки образовался земной шар, Михаэль? — спросила я у мужа.

Михаэль ответил мне улыбкой, будто я и не просила у него другого ответа. Да и вправду, я не просила ответа. Я была вся в себе. Я была больна.

В эти летние дни тысяча девятьсот пятьдесят первого года Михаэль открыл мне свою заветную мечту. Расширить свое сочинение и через несколько лет напечатать его как небольшую исследовательскую работу. Его собственную работу. Он спрашивает, представляю ли я, какую радость доставит он этим своему старому отцу? Но ни единого слова поощрения не нашлось у меня. Я вся сжалась, погруженная в собственную душу, будто потеряла я на дне моря крошечную булавку с бриллиантами. На долгие часы уходила я, затерянная, в зеленоватые сумерки океана. Боли, подавленность, страшные сны — и днем, и ночью. Я почти не замечала синих кругов, что появились у Михаэля под глазами. Он устал смертельно. Час, а то и два, стоял он в очереди в «детской кухне», где по карточкам выдавалось питание для кормящих матерей. Ни единого слова жалобы не произнес он. Только шутил и посмеивался, суховато, по своему обыкновению, утверждая, что дополнительное питание, по сути, предназначено ему, ибо он-то и кормит младенца.



XVII

МАЛЕНЬКИЙ ЯИР НАЧАЛ ОБНАРУЖИВАТЬ сходство с Иммануэлем, моим братом: широкое лицо, пышущее здоровьем, тяжелый нос, высокие скулы. Меня это сходство не обрадовало. Яир был крепким, ненасытным. Он усердно поглощал пищу и сквозь дрему издавал сытое урчанье. Кожа его была розовой. Острова просветленной лазури превратились в маленькие глазки, карие, пытливые. Иногда накатывалась на него какая-то непонятная волна гнева, и он молотил воздух сжатыми кулачками. Я думала про себя, что, не будь эти кулачки такими крохотными, было бы опасно приближаться к нему. В такие минуты я звала своего сына «мышонком рыкающим» — по названию известной кинокомедии. Михаэль выбрал для него другое прозвище — Медвежонок. В три месяца у нашего сына было больше волос, чем у многих его сверстников.

Временами, когда ребенок плакал, а Михаэля не было дома, я вставала с постели, босая подходила к кровати, с силой раскачивала ее и в сладостном утолении боли называла своего сына — Залман-Яир, Яир-Залман. Будто мой мальчик в чем-то провинился передо мной. Я была равнодушной матерью в первые месяцы его жизни. Мне запомнился ужасный визит тети Жени в самом начале моей беременности: иногда, в затмении памяти, мне казалось, что это я хотела избавиться от будущего ребенка, а тетя Женья силой заставила меня не делать этого. Мне казалось также, что скоро я буду мертва, и потому ничего не должна ни одному живому существу. Даже этому ребенку, розовому, здоровому, вредному. Яир был вредный. Часто он орал у меня на руках, и лицо его наливалось краской, подобно лицу пьяного распоясавшегося мужика из русского кинофильма. Только когда Михаэль брал его у меня и пел ему своим низким голосом, Яир милостиво успокаивался. А я хранила обиду, будто кто-то посторонний пристыдил меня, обвинив в черной неблагодарности.

Я помню. Не забыла. Когда Михаэль с ребенком на руках ходил взад и вперед по комнате, от двери к окну, заучивая свои, вызывающие дрожь термины, мне вдруг виделись эти двое, отец и сын, впрочем, все мы втроем виделись мне некой материей, которую я назову «меланхолия», ибо не подберу другого слова, чтобы написать его здесь.

Я была больна. Даже, когда доктор Урбах объявил мне, что осложнения исчезли, к его великому удовлетворению, и я могу вести себя как абсолютно здоровая женщина,— я все еще была больна. И все же я решила удалить постель Михаэля из комнаты, где стояла детская кровать. Отныне я сама буду заботиться о нашем сыне. Муж мой будет спать в гостиной, чтобы мы больше не отрывали его от работы. Он сможет наверстать упущенное за последние месяцы.

В восемь вечера я кормила ребенка, укладывала его спать, запирала дверь изнутри, и лежала, распростершись, на нашей широкой двуспальной кровати. Иногда в половине десятого или в десять Михаэль робко стучал в дверь. Если я открывала ему, он, бывало, говорил:

— Я видел свет, пробивающийся из-под двери, и подумал, что ты еще не спишь. Поэтому и постучался.

Произнося все это, он глядел на меня своими карими глазами, будто он — мой мудрый старший сын. А я, отстраненная и холодная, отвечала обычно:

— Я больна, Михаэль. Ведь ты знаешь, что я больна?

Он с силой сжимал в кулаке свою погасшую трубку, так что суставы его пальцев белели:

— Я хотел только спросить, не ... помешаю ли я? И ... я мог бы помочь ... не нужен ли я? Не сейчас ... Ты ведь знаешь, Хана ... Я в соседней комнате, и если тебе понадобится любая помощь ... Я сейчас ничем не занят, я в третий раз перечитываю книгу Гольдшмидта и ...

Как-то давно сказал мне Михаэль Гонен, что коты никогда не ошибаются в людях. Никогда не подружится кот с человеком, который не любит котов. Итак ...

Я просыпаюсь до рассвета. Иерусалим — удаленный город, даже если живешь в нем. Даже если в нем родился. Я просыпаюсь и слышу ветер в переулках Мекор Барух. Будки из жести, выстроенные во дворах и на ветхих балконах. Ветер прошелся по ним. И по мокрому белью, трепещущему на веревках, протянутых во всю ширину улицы. Мусорщики волокут баки с мусором на край тротуара. Один из них вечно бранится сиплым голосом. В чужом дворе петух раскричался сердито. Со всех сторон врываются далекие голоса. Какое-то возбуждение, напряженный покой разлиты вокруг. Вой котов, обезумевших от страсти. На севере — одинокий просвет по кромке темноты. Далекий рокот мотора. Стон женщины в соседней квартире. Отдаленное пенье колоколов с востока, быть может, это церкви Старого города. Свежий ветер бороздит кроны деревьев. Иерусалим — город сосен. Между соснами и ветром царит напряженная приязнь. Старые сосны в Тальпите, в Катамонах, в Бейт-а-Керем, за черной рощей Шнеллера. В этот же час в низине, в деревне Эйн Керем, белые туманы под утро — провозвестники царства иных цветов. Монастыри, окруженные высокими стенами, в нижней деревне Эйн Керем. Но и за стенами перешептываются сосны. Жуткие заговоры плетутся в ту-

склом предутреннем свете. Клубятся заговоры, будто я не слышу. Будто я и не существую. Шуршанье шин. Молочник на велосипеде. Его легкие шаги в подъезде. Приглушенный кашель. Собачий лай в подворотнях. Что-то устрашающее было там, вонне, учуянное собаками, но скрытое от меня. Скрежет жалюзи. Они плетут заговоры, как будто меня нет. Но мишень их — я.

Каждое утро, покончив с покупками, я вывожу Яира в его колясочке на прогулку. В Иерусалиме — лето. Безмятежная голубизна неба. Мы направляемся к рынку Махане Иегуда, чтобы подешевле купить новую сковородку или дуршлаг. Когда я была девочкой, мне нравились голые загорелые спины грузчиков с Махане Иегуда. Мне приятен был запах их пота. И сегодня водоворот запахов на рынке пробуждает во мне некое умиротворение. Иногда я сижу на скамейке перед оградой религиозной школы для мальчиков «Тахкемони», детская коляска рядом, а я глазею на мальчишек, резвящихся на переменках.

Часто мы отправляемся подальше, к роще Шнеллер. По случаю такой прогулки я готовлю полную бутылку чая с лимоном, бисквиты, клубок шерсти для вязания, серое одеяло, кое-какие игрушки. В роще Шнеллер мы обычно проводим час, час с четвертью. Невелика роща, растет она на крутом склоне и устлана мертвыми сосновыми иглами. С детства я привыкла называть эту рощу лесом.

Я расстилаю одеяло. Усаживаю Яира, обкладываю его кубиками. Сама я примостилась на холодном камне в обществе трех-четырех домохозяек. Они — женщины деликатные: с удовольствием расскажут о своей жизни, о своих семьях, не требуя от меня, даже намеком, чтобы в обмен на их секреты я раскрыла свои. Стараясь не выглядеть в их глазах высокомерной, пренебрегающей добрым отношением, сравниваю достоинства различных образцов вязальных спиц. Рассказываю о блузках из легких тканей, что продаются в «Мааян Штуб» или в магазине «Шварц». Одна из этих женщин научила меня, как излечить малыша от простуды: пусть подышит паром над кастрюлей с кипящей водой. Иногда я пытаюсь вызвать их улыбку, пересказывая свежий политический анекдот, принесенный домой Михаэлем: например, про Дова Йосефа, министра, введшего жесткое лимитирование в снабжении

и потреблении, либо про нового репатрианта, сказавшего Бен-Гуриону острое словцо. Но когда я поворачиваю голову, открывается мне арабская деревня Шаафат, дремлющая по ту сторону границы, залитая голубым светом. Я вижу вдалеке красные черепичные крыши, а на верхушках стоящих вблизи деревьев птицы поют утреннюю песню на совершенно непонятном мне языке.

Я быстро устаю. Возвращаюсь домой. Кормлю сына. Укладываю его в кроватку. Падаю на свою кровать и дышу с трудом. В кухне появились муравьи. Может, и им открылось, насколько я слаба.

В середине мая я позволила Михаэлю курить трубку в доме, но не в комнате, где сплю я с сыном. Что с нами будет, если Михаэль вдруг заболит? С тех пор, как исполнилось ему четырнадцать лет, он ни разу не болел. Дадут ли ему отпуск по болезни? Через полтора года, когда получит вторую университетскую степень, он сможет позволить себе снизить темпы работы, и тогда придет время чудесного отпуска для всей семьи. Есть ли что-нибудь такое, что доставит ему удовольствие? Купить ему в подарок что-нибудь из одежды? Я знаю, он все еще надеется приобрести Большую Энциклопедию на иврите. Поэтому четыре раза в неделю он возвращается из университета пешком, а не на автобусе, экономя таким образом около двадцати пяти лир.

В начале июня обнаружилось, что наш мальчик узнает отца. Михаэль подошел к нему со стороны дверей, и малыш засмеялся от удовольствия. Вновь попытался Михаэль приблизиться к нему, но на этот раз со стороны окна — и вновь Яир залился веселым смехом. Мне очень нравился вид младенца, распираемого самодовольством. Я сказала Михаэлю, что опасаюсь, как бы наш сын не оказался человеком далеко не умным. Михаэль в изумлении раскрыл рот, собрался было возразить, но, колебавшись, отказался от своего намерения. Промолчал. Затем написал открытку отцу и тетушкам, в которой общал, что наш сын узнает его. Мой муж уверен, что они с сыном станут закадычными друзьями.

Я сказала:

— В детстве ты был балованным ребенком.



XVIII

В ИЮЛЕ ЗАКОНЧИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД В УНИ-
верситете. Михаэль удостоился скромной стипен-
дии — знак признания и поощрения его прилежания.
В частной беседе его профессор произнес слова похвалы:
работоспособный, устойчивый молодой человек, не про-
падет, не затеряется среди других, наверняка станет асси-
стентом. Как-то вечером Михаэль пригласил нескольких
своих друзей выпить за его успехи. Тайком от меня при-
готовил Михаэль этакую скромную вечеринку.

Не так уж часто навещали нас гости. Каждые три ме-
сяца появлялась одна из тетушек — визит длился полдня.
Старая воспитательница Сарра Зельдин под вечер заходи-
ла на десять минут, чтобы изречь свои наставления по ча-
сти обращения с младенцем. Муж Лиоры, подруги Миха-

эля из кибуца Тират Яар, привез ящик яблок. Однажды в полночь явился брат мой Иммануэль, ворвался вихрем:

— Заберите у меня этих грязных куриц. Побыстрее. Вы живы? Вот я привез вам птицу, тоже живую. Ну, будьте здоровы, анекдот про трех пилотов вы уже слышали? Поцелуйте ребенка. Грузовичок наш ждет меня на улице, вот-вот начнет мне гудеть вовсю.

Иногда по субботам приходила моя лучшая подруга Хадасса, с мужем или без него. Она убеждает меня, что надо вернуться в университет. Иерусалимский друг тети Леи, пожилой господин Кадишман, иногда бывает у нас, чтобы справиться, как мы живем, и сыграть с Михаэлем в шахматы.

В тот раз, на вечеринку-сюрприз, устроенную Михаэлем, пришли к нам восемь студентов. Была среди них девушка с золотыми волосами, которая с первого взгляда показалась мне красавицей, но, приглядевшись, я нашла, что у нее грубое лицо. Она обращалась ко мне — «миленькая», а Михаэля называла «гений».

Михаэль, мой муж, разливал вино, подавал бисквиты. Затем он взгромоздился на стол и, сильно утрируя, подражал голосам профессоров. Его друзья слегка посмеялись из вежливости. И только золотоволосая Ярдена по-настоящему воодушевилась: «Миха, Миха, — кричала она, — это потрясающе!»

Мне было стыдно за своего мужа, он был совсем не остроумен. Веселость его была искусственной, деланой. Даже когда рассказывал Михаэль что-то смешное, я все равно не могла рассмеяться. Потому что рассказывал он так, будто читал научную лекцию.

Через два часа гости разошлись. Михаэль собрал грязную посуду и вынес ее на кухню. Затем вытряхнул пепельницы. Подмел комнату. Повязал передник и вернулся к раковине на кухне. Проходя коридорчиком, он глянул на меня, как провинившийся школьник. Он предложил мне лечь спать, обещая, что в доме будет полная тишина. Нельзя было ему приглашать чужих в дом, заметил Михаэль, потому что нервы мои все еще напряжены и я устаю очень быстро. Он поражен, что эта мысль не пришла ему в голову прежде. Кстати, эта девушка, Ярде-

на, кажется ему чересчур вульгарной. Прощу ли я ему все случившееся сегодня вечером?

Когда Михаэль просил прощения за эту маленькую вечеринку, я вспомнила свою полную растерянность в ночь нашего первого возвращения из кибуца Тират Яар, вспомнила, как стояли мы в темной кипарисовой аллее, как обжигаяще хлестал меня ледяной дождь и как Михаэль вдруг расстегнул свое груботканное пальто и заключил меня в свои объятия.

Вот стоит он, склонившись над раковиной, будто его ударили по затылку, в движениях — сильная усталость. Он моет посуду горячей водой, затем ополаскивает холодной. Я подкралась, босая, поцеловала его в коротко стриженный затылок, обняла его за плечи. Я обрадовалась, что он может спиной почувствовать мою грудь, потому что с начала беременности мы с мужем были далеки друг от друга. Руки Михаэля влажны от мытья посуды. На одном из пальцев грязная повязка. Может, поцарапался или порезался, но не стал мне рассказывать. Повязка вся промокла. Он повернул ко мне свое худое удлинненное лицо, еще более аскетичное, чем в тот день, когда мы впервые встретились в здании «Терра Санта». Я заметила, что он очень похудел, скулы выдавались. Легкая морщинка появилась у него под правой ноздрей. Я погладила его по щекам. Он не был взволнован. Будто ожидал этого все эти дни. Будто заранее знал, что вечером, именно сегодня вечером все изменится.

Однажды маленькой Хане сшили новое субботнее платье, белое, как снег. Справили ей прекрасные туфельки из настоящей замши. И повязали ей кудри красивым шелковым платочком; были у Ханеле светлые кудри. Вышла Хана на улицу, а навстречу ей старый угольщик, согбенный под тяжестью черного мешка. А суббота вот-вот наступит. Бросилась Хана помогать угольщику нести мешок, ибо доброе сердце было у маленькой Ханеле. Платье тут же почернело от угольной пыли, да и туфельки выпачкались. Залилась Хана горькими слезами, потому что была она аккуратной девочкой. Высоко в небе услышал добрый месяц ее плач и послал свои лучи, чтобы те,

коснувшись испачканного платья, каждое пятно превратили в золотой цветок, каждую крупинку угля на ткани — в золотую звездочку. Ибо нет на свете такого горя, которое не могло бы обернуться великой радостью.

Я убаюкала ребенка и пришла в комнату мужа в длинной прозрачной ночной рубашке, до самых пят. Михаэль отметил страницу закладкой, закрыл книгу, погасил свою трубку, потушил настольную лампу. Затем поднялся со своего места, без слов обхватил мои бедра.

Когда Михаэль, утоливши жажду, расслабился, я сказала ему самые нежные слова, какие смогла отыскать: «Скажи мне сейчас, почему слово «лодыжка» кажется тебе красивым? Мне нравится, что слово «лодыжка» кажется тебе красивым, как ты мне однажды сказал об этом. Может, еще не поздно рассказать тебе, что ты мужчина нежный и чуткий. Ты — редкое существо, Михаэль. Ты напишешь свою научную работу, а я перепишу ее каллиграфическим почерком. Отличное исследование напишешь ты, Михаэль, а мы с Яиром будем тобой гордиться. И отец твой будет счастлив. Иные дни придут к нам. Мы будем откровенными. Я люблю тебя. Уже в буфете «Терра Санта» я любила тебя. Может, еще не поздно сказать тебе, как прекрасны твои пальцы. Я не подберу нужных слов, чтобы сказать тебе, что я очень хочу быть твоей женой. Очень хочу».

Михаэль спал. Вправе ли я поставить это ему в вину? Я говорила с ним, из глубины моего существа шел мой голос, но он смертельно устал. Каждую ночь, до двух, до трех часов сидел он у письменного стола, склонившись над бумагами, зажав в зубах погасшую трубку. Ради меня он взял на себя проверку работ студентов-первокурсников, переводил с английского научные статьи. На заработанные деньги купил он мне электрическую духовку, а Яиру — дорогую детскую колясочку, на рессорах, с разноцветным верхом. Он устал. Голос мой не был слышен — он звучал внутри меня. Потому Михаэль и задремал.

Я рассказывала своему далекому мужу самое сокровенное, что хранила в себе. О близнецах шептала неслышно.

И о недоступной девочке, что была королевой близнецов. Не скрыла и самой малости. До рассвета я играла в темноте пальцами его левой руки, а он и не чувствовал, укрывшись с головой одеялом. По ночам я снова сплю рядом с мужем.

Утром Михаэль был, как всегда, деловит и молчалив. В последнее время легкая морщинка появилась у него под левой ноздрей. Пока трудно различимая, разве что пристальным взглядом. Но если прибавятся морщины и, углубясь, избородят его лицо, станет мой Михаэль все более походить на своего отца.



XIX

Я УМИРОТВОРЕНА. НИКАКИЕ СОБЫТИЯ МЕНЯ не заденут больше. Это мое место. Я здесь. Такая, как есть. И дни похожи друг на друга. Я похожа на саму себя. Даже в летнем платье, что я купила себе, платье с высокой линией бедер, я подобна себе самой. Изготовили меня с особой тщательностью, облекли в красивую упаковку, обвязали красной ленточкой, положили на полку. Купили меня, развернули, использовали и отложили в сторону. А дни похожи друг на друга. Особенно когда лето властвует в Иерусалиме.

Сейчас я написала заведомую ложь. К примеру, в конце июля тысяча девятьсот пятьдесят третьего был голубой, прозрачный день, наполненный голосами и виденьями. Раннее утро, наш красивый зеленщик, господин Элиягу Мошия, он родом из Персии, со своей дочерью Леваной, девушкой с косами. Господин Гутман, электрик

с улицы Давид Елин, обещавший починить мой утюг в течение двух дней, обещавший сдержать свое слово. Он еще предложил мне купить желтую лампу, разгоняющую комаров, когда сидишь в вечерние часы на балконе. Яиру два года и три месяца. Он упал на лестнице. Поэтому он колотит по ступеням своими маленькими кулачками. Капельки крови заалели у него на коленке. Я перевязала ссадину, не глядя в лицо мальчику. Накануне мы видели в кинотеатре «Эдисон» новый итальянский фильм «Похитители велосипедов». За обедом Михаэль отозвался о фильме положительно, но с некоторыми оговорками. В городе купил он вечернюю газету, где говорилось о Южной Корее и о бандах террористов в Негеве. В нашем переулке вспыхнула перепалка между двумя религиозными женщинами. Со стороны улиц Раши и Турим донеслась сирена «скорой помощи». Соседка горько причитала по поводу цен на рыбу. Михаэль надевает очки, потому что глаза его устают. Очки нужны ему только для чтения. Я купила мороженое Яиру и себе в кафе «Алленби» на улице Мелех Джордж. Посадила пятно на рукав своей зеленой блузки.

У Каменицеров, наших соседей, растет сын по имени Иорам, мечтательный, светловолосый четырнадцатилетний парень. Иорам — поэт. Его стихи — о душевном одиночестве. Он приносит мне листки со своими стихами, чтобы прочесть их вслух, потому что ему стало известно, что в молодости я изучала литературу в университете. Я — судья его произведений. Голос его трепещет, губы дрожат, а в глазах — зеленый отблеск. Иорам принес мне новые стихи, посвященные поэтессе Рахель. В этих стихах Иорам пишет, что жизнь без любви бесплодной пустыне подобна. Одиноким путник ищет родник в пустыне, но миражи вводят его в заблуждение. В изнеможении падет путник у истоков подлинного родника.

Я смеюсь:

— Религиозный парень, член молодежного движения «Бней-Акиба», — и пишешь стихи о любви?

На краткий миг была у Иорама возможность поддержать шутку, улыбнуться. Но он вцепился в подлокотники кресла, и пальцы его стали белыми, как у девушки. Он начал смеяться, и вдруг глаза его переполнились слезами.

Он сжал в кулак свою руку, скомкал листок со стихотворением. Неожиданно повернулся и бросился бежать из комнаты. Остановился у двери. Прошептал:

— Извините, госпожа Гонен. До свиданья.

Как жаль ...

Под вечер навестил нас господин Кадишман, старинный друг тети Леи. Он выпил с нами кофе и высказал некоторые соображения в осуждение левого правительства.

Разве дни походят друг на друга? День проходит, не оставив и следа. На мне лежит тяжкая ответственность за каждый прожитый день, каждый час: я обязана занести их в эту тетрадь, потому что эти дни — мои. Только мои. Я неподвижна, а дни проносятся, как проносятся за окном железнодорожного вагона горы у арабской деревни Батир — по дороге на Иерусалим. Я умру, Михаэль умрет, зеленщик из Персии Элиягу Мошия умрет, Левана умрет, Иорам умрет, Кадишман умрет, все соседи, все горожане умрут, весь Иерусалим умрет — и тогда будет чужой поезд, переполненный чужими людьми, и они, как и мы, будут стоять у окон, чтобы увидеть чужие горы, проносящиеся мимо. Я не в силах даже раздавить муравья в кухне на полу — без того, чтобы не подумать о себе.

И еще я думаю о самом интимном, о том, что упрятано глубоко-глубоко в моем теле. О том, что принадлежит только мне одной: сердце, нервы, лоно. Они мои, они самое-самое «я», но я никогда не смогу увидеть их собственными глазами и прикоснуться к ним, потому что все, все в этом мире удалено друг от друга.

Если бы я смогла завладеть паровозом, стать владычицей поезда, подчинить себе двух гибких близнецов, так, будто они произрастают из меня, принадлежат мне — правая рука и левая рука.

А может, и вправду семнадцатого августа тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, в шесть утра, у порога нашего дома появится наконец водитель такси из Бухарского квартала по имени Рахамим Рахамимов, крепко сбитый, улыбчивый, он постучит в дверь и вежливо спросит, готова ли к поездке госпожа Ивонн Азулай. А я, на удивление, буду готова поехать с ним в аэропорт Лод, чтобы на самолете отправиться в русские заснеженные степи, в ночные гонки на санях, где сижу я, завернувшись

в медвежью полость, передо мной вздымается спина ящика, а в просторах, в заледенелых равнинах вспыхивают глаза отощавших волков. И лунный свет упадет на верхушку одинокого дерева. Постой, ящик, постой, обороти ко мне свое лицо, дай мне тебя увидеть. Лицо его вырезано из суковатого дерева — в белом, мягком свете луны, и ледяные сосульки повисли на кончиках усов.

И подводная лодка «Наутилус» была и есть, существует и поныне, проплывает она в глубинах моря, огромная, излучающая свет, бесшумная, в пучинах серого океана, в завихреньях теплых течений, в хитросплетеньях подводных пещер, в разветвлениях коралловых архипелагов, мощным рывком проскальзывает вглубь, в самое нутро, знает, куда идет и почему не залегла она, подобно камню или уставшей женщине.

А в заливе Нью-Фаундленд, под лучами северного сияния, патрулирует британский эсминец «Дракон», и его команда не погрузилась в дрему из страха перед Моби Диком, белым благородным китом. В сентябре отплыл «Дракон» из Нью-Фаундленда в Новую Каледонию, чтобы доставить провиант и снаряжение местному гарнизону. Не позабудь, «Дракон», порт Хайфу, Палестину и далекую Хану.

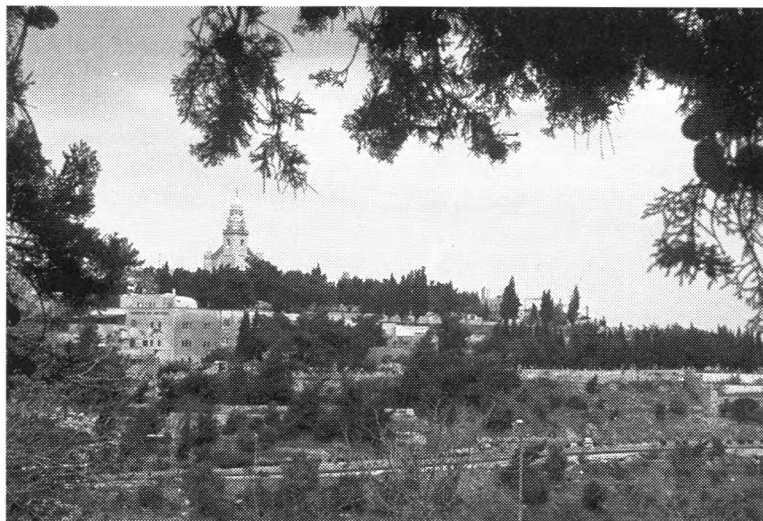
Все эти годы Михаэль лелеет надежду сменить нашу квартиру в квартале Мекор Барух на жилье в Рехавии или Бейт-а-Керем. Ему не нравится жить здесь. Да и тетушки его все удивляются, зачем Михаэлю находиться среди религиозных ортодоксов, вместо того, чтобы жить в окружении культурных людей. Человеку науки нужны тишина и покой, а здесь шумливые соседи.

Я — виновница того, что нам не удалось скопить даже начальную сумму на покупку новой квартиры, хотя мудрый Михаэль не сказал этого своим тетушкам. Каждый год, с наступлением осени, меня охватывает мания покупок: электроприборы, светло-серые занавеси во всю стену, новая одежда в большом количестве. Когда я была незамужней, одежду я покупала изредка. В свои студенческие годы носила я зимой голубое шерстяное платье, связанное мамой, или вельветовые коричневые брюки с тяжелым красным свитером, который, как полагали сту-

дентки университета, создает впечатление приятной небрежности. И вот теперь новые платья надоедают мне чуть ли не через две недели. Ненасытная жажда покупок накатывалась на меня каждой осенью. Возбужденная, я лихорадочно сную из магазина в магазин, будто истинная награда ждет меня где-то, но всегда — в ином месте.

Михаэль удивляется, почему же я больше не ношу платье с высокой линией бедер. Ведь я так радовалась этой покупке всего лишь шесть недель назад. Однако он сдерживает свое удивленье, молчаливо кивает головой, будто погружен в какие-то расчеты, и от этого я закипаю. Может, поэтому я выхожу в город, намереваясь потрясти его своей расточительностью. Я любила его сдержанность. Я хотела, чтобы он взорвался.

И сны. Страшные вещи замышляются против меня каждой ночью. На рассвете близнецы тренируются в метании ручных гранат среди скал в Иудейской пустыне, к юго-востоку от Иерихона. Слов они не произносят. Движенья их слажены и четки. Автоматы через плечо. Комбинезоны бойцов-командос, заношенные, перепачканные оружейной смазкой. Голубая жилка, ветвясь, вздувается у Халиля во лбу. Азиз изогнулся. Напружинилось его тело. Халиль опустил голову. Азиз швыряет гранату дугообразным движением. Сухой взблеск взрыва. В горах отзывается гулкое эхо. Мертвое море серебрится за их спинами, словно озеро раскаленного масла.



XX

ХОДЯТ ПО ИЕРУСАЛИМУ СТАРЫЕ БРОДЯЧИЕ торговцы. Они совсем не походят на бедного угольщика из сказки о платье маленькой Ханы. Внутренний радостный свет не озаряет их лица. Тупая холодная ненависть окружает их. Старые бродячие торговцы. Чудаковатые ремесленники шатаются по городу. Они странные. Вот уже много лет знаю я их, различаю их выкрики. Еще пяти-шестилетней девочкой я дрожала при их появлении. Быть может, описанные мною, не станут они больше пугать меня по ночам. Я пытаюсь расшифровать их законы, вычислить их орбиты. Угадать, в какой день появится каждый из них, чтобы огласить криком наши переулочки. Ведь и они подчинены некоему распорядку, своим внутренним правилам. «Сте-коль-щик, сте-коль-щик» — голос его хриплый и унылый, при нем нет ни листов стекла, ни инструментов, будто он заранее при-

мирился с тем, что его крики бессмысленны и безответны. «Ал-те-за-хен, ста-ры-ве-щи» — огромный мешок у него за спиной, как у вора на картинке в детской книжке. «По-чи-няю при-мус» — грузный человек, с большим костистым черепом, похожий на древнего кузнеца. «Мат-ра-сы, мат-ра-сы» — в горле его переливаются слова, будто «матрас» — это пароль разврата. Точильщик тащит деревянное колесо, которое вращается нажатием педали. Рот его беззуб. Обвислые уши волосаты. Летучая мышь. Старые ремесленники и странные бродячие торговцы — год за годом скитаются они по иерусалимским улицам, и время не касается их ... Будто Иерусалим — северный замок, полный привидений, а они — разгневанные души, притаившиеся в засаде.

Я родилась в Кирьят Шмуэль на границе с кварталом Катамон. В дни праздника Суккот в тридцатом году родилась я. Иногда я испытываю странное чувство, будто пустыня разделяет родительский дом и дом моего мужа. Я никогда не хожу той улицей, на которой родилась. Однажды субботним утром гуляли мы, Михаэль, Яир и я, в самом конце квартала Тальбие. Я наотрез отказалась идти дальше. Как капризная девчонка, топала я ногами: «Нет! Нет!» Муж и сын мой смеялись надо мной, но уступили.

В Меа Шеарим, в Бейт Исраэль, в Сангедрии, в Керем Авраам, в Ахва, в Зихрон Моше, в Нахалат Шива живут ультрарелигиозные — ортодоксальные евреи. Ашкеназы носят шапки, отороченные мехом, сефарды — полосатые накидки. Старухи застыли на низеньких скамеечках, будто не маленький город, а огромная страна простирается перед ними, и назначено им наострить соколиный глаз, чтобы денно и ночью окидывать взглядом далекие горизонты.

Бесконечен Иерусалим. Тальпиот, забытый южный континент, притаился под вечно перешептывающимися кронами сосен. Голубоватый пар поднимается из Иудейской пустыни, граничащей с Тальпиотом на востоке. Пар легко коснулся маленьких домиков, цветочных грядок, над которыми нависает листва деревьев. Бейт-а-Керем, одинокое селение, затерявшееся в степных просторах, промытых ветрами, и поля, усеянные скальными глыба-

ми, взяли его в кольцо. Баит Ваган — это горный замок, стоящий на отшибе. Там звуки скрипки раздаются из-за жалюзи, что всегда опущены днем. А ночью с юга доносится вой шакалов.

Напряженная тишина разлилась после захода солнца по Рехавии, по улице Саадии Гаона. В освещенном окне виден седой ученый, склонившийся над письменным столом. Пальцы его летают по клавишам пишущей машинки с латинским шрифтом. Трудно представить, что в конце этой же самой улицы прилепился квартал Шаарей Хесед, и там по ночам босоногие женщины расхаживают среди цветного белья, развевающегося на ветру, а хитрющие коты мечутся из подворотни в подворотню. Возможно ли, что человек, стучащий по клавишам своей пишущей машинки, не чувствует всего этого? Словно у подножья его балкона не раскинулась на западе Долина Креста, и древняя роща, взбирающаяся по склону, не касается крайних домов Рехавии, намереваясь окружить, захлестнуть весь квартал плащом густой зелени. Маленькие костерки вспыхивают в долине, и приглушенные, протяжные песни, поднимаясь из леса, долетают до оконных стекол. С наступлением темноты белозубые сорванцы стекаются со всех концов города в Рехавию, чтобы швырять маленькие острые камешки в фонари, что освещают аллеи. Улицы все еще тихи: Радак, Рамбам, Рамбан, Альхаризи, Абарбанель, Ибн Эзра, Ибн Габироль, Саадия Гаон. Но тихи будут и палубы британского эсминца «Дракон», даже тогда, когда потаенный бунт взметнется в его трюмах.

Пространства иерусалимских улиц распахнулись навстречу сумеркам, горы бросают тень, будто дожидаются темноты, чтобы пасть на замкнутый город.

В Тель Арза, на севере Иерусалима, живет пожилая женщина, пианистка. Она упражняется без перерыва, без усталости. Она готовит программу из произведений Шуберта и Шопена. Неби Самуэль, одинокая башня, стоит на вершине горы на севере, стоит неподвижно за пограничной линией, днем и ночью устремив взгляд на старую, вдохновенную пианистку, что, расправив плечи, сидит у рояля, спиной к открытому окну. По ночам посмеивается башня, посмеивается, худая и высокая, посмеивается, будто шепчет про себя: «Шопен и Шуберт».

В один из августовских дней мы с Михаэлем отправились в дальнюю прогулку. Яир остался в доме моей лучшей подруги Хадассы, на улице Бецалель. Лето стояло в Иерусалиме. На улицах города — иной свет. Я говорю о времени между половиной шестого и половиной седьмого, о последнем свете уходящего дня. Была ласкающая прохлада. В переулке При Хадаш есть один двор, вымощенный каменными плитами, отделенный от улицы развалившимся забором. Среди каменных плит возвышается старое дерево. Я не знаю его названия. Зимой я проходила здесь одна и мне показалось, что дерево умерло. А теперь его ствол выстрелил побегами в бурном порыве и листья словно покрылись лаком.

Из переулка при Хадаш повернули мы налево, на улицу Иосефа Бен-Матафия. Огромный, темный человек, в пальто и серой кепке, пялил на меня глаза из-за освещенной витрины рыбной лавки. То ли я сошла с ума, то ли мой истинный муж устремил на меня гневный, осуждающий взгляд из-за витрины рыбной лавки, где стоял он в пальто и в серой кепке.

Все богатство своих домов выволокли женщины на балконы: розовое белье, покрывала и пододеяльники. Тонкая, высокая девушка стояла на одном их балконов на улице Хасмонеев. Она засучила рукава, повязалась косынкой. Деревянной лопаткой, похожей на ракетку, выбивала она одеяло, не замечая нас. На одной из стен виднелась полустертая красная надпись, еще со времен подполья: «В крови и огне Иудея пала, в крови и огне Иудея восстанет». Все это мне чуждо, но музыка этих слов трогает меня.

В тот вечер мы с Михаэлем совершили большую прогулку. Через Бухарский квартал спустились мы на улицу Пророка Самуила — до самых Ворот Мандельбаума. Оттуда по тропке, что между домами Унгерман, обогнув Эфиопский квартал, к Мусраре, к улице Яффо, до площади Нотр-Дам. Иерусалим — обжигающий город. Целые кварталы кажутся повисшими в воздухе. Но при ином — пристальном взгляде вдруг откроется сила тяжести, с которой ничто не сравнимо. Запутанный произвол хитроумной сети извивающихся переулков. Лабиринт временных построек, сараев, складов, загородок, которые,

подавляя свой гнев, опираются на дома из серого камня, чей цвет порой отликает легкой голубизной, а временами становится красноватым. Ржавые водосточные трубы. Руины стен. Яростное, безмолвное противоборство камня и настырной растительности. Захламленные пустыри, заросшие колючкой. А главное, сумасшедшие игры светотени: едва лишь на краткий миг всплывает маленькое облачко между сумерками и городом — и Иерусалим уже совершенно иной.

И стены.

В каждом квартале, в каждом пригороде существует потаенный центр, обнесенный высокой стеной. Враждебные крепости закрыты для всех, кто проходит мимо. Здесь, в Иерусалиме, можно ли ощутить себя дома, спрашиваю я, даже если прожить тут сто лет? Город закрытых дворов, душа его запечатана мрачными стенами, верх которых усыпан колючим битым стеклом. Нет Иерусалима. Осколки, рассеянные со злым умыслом, чтобы ввести в заблуждение наивных людей. Оболочка внутри оболочки, а ядро запрещено. Пишу: «Я родилась в Иерусалиме». «Иерусалим — мой город» — этого я написать не могу. И я еще не знаю, чья засада укрылась в глубине Русского подворья, за стенами лагеря «Шнеллер», в тайниках монастырей Эйн Керема, в анклав Дворца Наместника на Горе Дурного Совета. Это город, погруженный в собственную душу.

На улице Мелисанда, когда уже зажглись фонари, налетел на Михаэля огромный статный еврей, схватил его за пуговицу, словно встретил старого знакомого, и с такими словами обратился к нему:

— Как зовут тебя, погубитель Израиля, чтоб ты сдох?!

Михаэль, не знакомый с иерусалимскими сумасшедшими, сник, потрясенный. Незнакомец улыбнулся самой дружелюбной улыбкой и добавил умиротворенно:

— Да сгинут все враги Господа, амен, амен!

Михаэль было собрался объяснить незнакомцу, что тот перепутал его со злейшим врагом, но тот устремил взгляд на ботинки Михаэля и заключил благодушно:

— Тьфу! Тьфу на тебя и на всю твою семью, отныне и во веки веков, амен, амен!

Деревни и пригороды окружают Иерусалим плотным кольцом, будто любопытные прохожие, сгрудившиеся вокруг раненой женщины, распростретоной на дороге: Неби Самуэль, Шаафат, Шейх Джарах, Исауйе, Августа-Виктория, Вади Джоз, Силуан, Цур Бахер, Бейт-Сафафа. Сожмут они в кулак ладонь свою, и город раздавлен.

Странно, но в этом городе даже хилые профессора каждый вечер выходят подышать свежим воздухом. Своими тростями пробуют они настил тротуара, будто слепые скитальцы в заснеженной степи. Двое из них встретили нас с Михаэлем в переулке Лунца, за зданием Сансур. Шли они рука об руку, будто, проходя вражеским станом, подбодряли друг друга. На их приветствие я ответила громко и весело. Оба поспешили коснуться рукой своих шляп. Один из них яростно замахал своей шляпой в знак приветствия. Другой был обрит наголо, а потому изобразил некий символический жест, а может, просто был рассеян.



XXI

ОСЕНЬЮ МИХАЭЛЬ БЫЛ НАЗНАЧЕН АССИ-
стентом на кафедре геологии. На этот раз он не созвал своих друзей на вечеринку, отметив это событие тем, что взял два дня отпуска. Мы, прихватив Яира, отправились в Тель-Авив, где гостили у тети Леи. Равнинный, сверкающий город, разноцветные автобусы, вид моря, вкус соленого ветра, окаймляющие тротуары декоративные деревья, чьи кроны подстрижены самым замысловатым образом, — все это всколыхнуло во мне какую-то щемящую тоску, я и сама не знала, отчего и о чем. Был покой, и было смутное ожидание. Посетили зоопарк. Встретились с тремя школьными друзьями Михаэля. Посмотрели два новых спектакля в театре «Габима». Вместе с Яиром отправились в лодке, взятой напрокат, вверх по реке Яркон в сторону Семи мельниц. Дрожащие тени вы-

соких эвкалиптов пали на речные воды. То была минута полного умиротворения.

Той же осенью и я вернулась на работу в детский сад старой Сарры Зельдин, на пять часов в день. Мы начали возвращать деньги, взятые в долг после нашей женитьбы. Даже тетушкам Михаэля вернули часть денег. Однако на новую квартиру нам не удалось отложить, потому что накануне праздника Песах я, по собственному усмотрению, купила в магазине Зузовского тахту в стиле модерн и подходящие к ней три стула.

Балкон наш мы закрыли, выложив кирпичные стены, для чего Михаэль получил специальное разрешение муниципальных властей. Отныне этот балкон стал называться «рабочей комнатой». Там Михаэль поставил свой письменный стол, туда же перенес он и шкаф с книгами. Первые тома Еврейской Энциклопедии я подарила ему на четвертую годовщину нашей свадьбы. Михаэль купил мне радиоприемник израильского производства. Стеклопанельная дверь разделяет новую рабочую комнату и ту, в которой я спала. Сквозь стекло настольная лампа отбрасывает огромные тени прямо на стену, что напротив моей кровати. По ночам тень Михаэля смешивается со снами. Стоит ему открыть ящик, отодвинуть книгу, надеть очки, зажечь погасшую трубку — черные глыбы пожирают стену, что предо мной. В полной тишине падают тени. Иногда они перевоплощаются. Я с силой зажмуриваю глаза, но перевоплотившиеся тени не оставляют меня. Я открываю глаза, и словно опрокидывается на меня вся комната — каждое движение Михаэля, там, в ночи, у письменного стола.

Жаль мне, что Михаэль — геолог, а не архитектор. Тогда бы по ночам он трудился над проектами домов, шоссе, дорог, неприступных крепостей, военного порта, где бросит якорь британский эсминец «Дракон».

Рука Михаэля нежна и уверена. Как чисты линии диаграмм, которые он проводит. Он чертит геологическую карту на тонком листе прозрачной бумаги. Он поглощен своей работой, сжатые губы вытянуты в ниточку. Мне он кажется полководцем, хладнокровно принимающим судьбоносные решения. Если бы Михаэль был архитектором, может быть, легче мне было примириться с тенью,

что отбрасывал он на стену передо мной. Странной и пугающей казалась мысль, что по ночам Михаэль исследует темные слои в толще земного шара. Будто по ночам он вызывающе раздражает тот мир, который никогда не прощает. В конце концов я встаю, чтобы приготовить себе чай из мяты по рецепту госпожи Тарнополер, моей хозяйки, у которой я жила до замужества. Иногда я зажигаю свет и читают до полуночи, а то и до часу ночи. Именно тогда осторожно приходит мой муж, ложится рядом, желает мне спокойной ночи, целует меня в губы и натягивает на себя одеяло, укрываясь с головой.

Книги, которые я читаю по ночам, вовсе не свидетельствуют о том, что я была когда-то студенткой, изучавшей ивритскую литературу. Сомерсет Моэм или Дафна де Морье, на английском, в цветастых суперобложках. Стефан Цвейг. Ромен Роллан. Я стала сентиментальной. Я плакала, когда читала «Женщину без любви» Андре Моруа в плохом переводе. Плакала, как гимназистка. Надежд моего профессора я не оправдала. Не осуществила и его пожеланий, высказанных мне на другой день после свадьбы.

Когда я стою в кухне у раковины, мне виден в окно наш задний двор. Запустение царит во дворе, густая грязь покрывает его зимой, а летом — колючки и пыль. Старые кастрюли валяются там. Иорам Каменицер со своими товарищами выстроил там каменные крепости, от которых остались одни руины. Старый поломанный кран торчит в конце двора. Есть степи России, есть Нью-Фаундленд, есть далекие архипелаги, а я в изгнании здесь. Но иногда моим глазам открывается Время. Время подобно полицейскому автомобилю, который скользит ночью по окрестным переулкам. Красный фонарь учащенно мигает, а колеса, напротив, движутся медленно. Шины шелестят тихо. Осторожное движение. Замедленное. Грозное. Крадущееся.

Мне хотелось бы думать, что сумерки и в самом деле подчинены иному ритму, — потому что они не наполнены мыслью. На ветке смоковницы, что растет во дворе, все эти годы висела ржавая миска. Может, жилец с верхнего этажа, который давно уже умер, выбросил ее из окна,

и она, падая, зацепилась за ветки. Когда мы здесь поселились, я выглянула в кухонное окно и заметила эту миску, уже тогда изъеденную ржавчиной. Четыре года. Пять лет. Даже сильные зимние ветры не сбросили ее на землю. И вот утром, в праздничный день Нового года, я стояла у раковины на кухне и собственными глазами видела, как эта миска свалилась с дерева. Не дул ветер; ни кот, ни птица не раскачивали ветки. Видимо, иные, всемогущие законы созрели в тот миг. Металл был изъеден, миска звонко шлепнулась о землю. Я хочу написать так: все эти годы я видела, как некий предмет пребывал в абсолютном покое, поскольку какой-то скрытый поток пронизывал его на протяжении всех этих лет.



XXII

БОЛЬШИНСТВО НАШИХ СОСЕДЕЙ — ЛЮДИ очень религиозные, и семьи у них многодетные. Четырехлетний Яир иногда задает такие вопросы, что я не знаю, как ответить, и отсылаю его к отцу. И Михаэль, который порой со мной говорит, как со строптивой девчонкой, ведет с Яиром степенный разговор, как равный с равным. Ко мне в кухню долетают голоса беседующих. Никогда они не перебивают друг друга. Михаэль научил Яира завершать свои доводы словами: «я закончил». Иногда и Михаэль употребляет это выражение, закончив свои объяснения. Таким образом Михаэль решил приучить мальчика к тому, что не следует прерывать собеседника.

Яир, к примеру, может спросить, почему все люди думают по-разному. На это Михаэль ответил ему, что все люди — они ведь разные. Яир не унимался: «Почему же

нет двух людей, или двух детей совершенно одинаковых?» Михаэль признался, что он не знает. Яир притих на секунду, осторожно взвесил свои слова и сказал:

— Я думаю, что мама знает все, потому что она никогда не говорит: «Я не знаю». Она говорит, что знает, но только не может объяснить. Я думаю, что, если не знают, как объяснить, то как же можно говорить, что знают. Я закончил.

Михаэль, сдерживая улыбку, быть может, попытается разъяснить сыну разницу между мыслями и способом их выражения.

Прислушиваясь к доносящейся издали беседе, я не могу не вспомнить покойного отца, который умел слушать и всегда искал некую скрытую истину в том, что он слышал, даже если слова звучали из уст ребенка, ибо ему, Иосифу, суждено было всю жизнь лишь припадать к порогу благой вести.

В четыре-пять лет был Яир крепким, молчаливым ребенком. Лишь изредка в нем проявлялась поразительная склонность к насилию. Может, он убедился, что соседские дети ведут себя с боязливой осторожностью. Даже на детей постарше себя умел он нагнать страху, взметнув сжатые кулачки. Временами, когда Яир возвращался с улицы, мне казалось, что чьи-то родители надавали ему крепких тумаков. Он наотрез отказывался рассказывать, кто поднял на него руку. Когда же Михаэль настойчиво расспрашивал его, он зачастую отвечал:

— Так мне и надо. Сначала я им дал, а потом они пришли и дали мне сдачи. Я закончил.

— Почему же ты начал?

— А они меня разозлили.

— Чем же разозлили?

— Разными вещами.

— Например?

— Нельзя об этом рассказать. Это ведь не слова. Они меня не словами разозлили.

— А чем же?

— Разным ...

Гневную гордость заметила я в моем сыне. Сосредоточенный интерес к еде. К вещам. К электроприборам.

К часам. Долгое, долгое молчание. Будто он постоянно погружен в какие-то непрерывные сложные мысли.

Михаэль никогда не поднял руки на ребенка: таковы его принципы. И еще потому, что его самого воспитывали, взывая к чувству разума, не тронув и пальцем. О себе я этого сказать не могу. Я лупила Яира всякий раз, когда проявлялась в нем эта гневная гордость. Не глядя в его прозрачные, тихие глаза, я шлепала его, пока мне не удалось вырвать из него плач. От его долготерпенья ползли мурашки по моему телу, и когда, наконец, бывала сломлена его гордость, он издавал какой-то странный всхлип, будто лишь прикидывался плачущим, а не плакал на самом деле.

Над нашей квартирой, на третьем этаже, напротив Каменницеров жила стареющая бездетная пара — семья Глик. Религиозный человек, торговавший галантереей, и его жена, страдавшая припадками истерии. По ночам я вскидывалась ото сна, заслышав ее низкий протяжный вой, похожий на плач собачонки. Иногда, под утро, вдруг падал острый вскрик, а затем, после паузы, раздавался еще один возглас, сдавленный, словно из-под толщи воды. В ночной рубашке я срывалась с постели и неслась в комнату сына. Вновь и вновь я ошибалась, думая, что это Яир кричит, что с ним случилась беда.

Я ненавидела ночь.

Квартал Мекор Барух выстроен из железа и камня. Железные перила, окаймляющие пролеты лестниц, карабкающиеся вверх по фасадам старых домов. Грязные железные ворота, на которых высечены дата постройки, имя того, кто пожертвовал на нее деньги, и имя его родителей. Словно в судороге застывшие, покосившиеся заборы. Ржавеющие железные ставни, висящие на одной скобе, готовые вот-вот рухнуть наземь, на середину улицы. А неподалеку от нас, на осыпающейся бетонной стене выведена надпись: «В огне и крови пала Иудея, в огне и крови она восстанет». В этой надписи мне нравилась не пророческая идея, а некая внутренняя гармония. Какое-то не поддающееся моей расшифровке суровое равновесие, которое присутствует и по ночам, когда свет уличных фонарей отбрасывает решетчатые тени на стену, что напротив,

и все как бы удваивается. Под порывами ветра грохочут постройки из жести, сооруженные жильцами на балконах, на крышах домов. И это грохотанье — тоже одно из слагаемых неизбывной подавленности.

Молчаливые, плывут они над нашим кварталом на исходе ночи. Голые до пояса, легкие, босоногие, скользят они там, снаружи. Худые их кулаки колотят по жестяным стенам, потому что вменено им в обязанность запугать всех собак до безумия. Под утро умирает собачий лай, обернувшись одичалым воем. Близицы струятся там, снаружи. Я чувствую их. Слышу шелест босых ступней. Беззвучно они пересмеиваются друг с другом. След в след взбираются они ко мне по стволу смоковницы, растущей во дворе. Велено им отогнуть ветку и постучаться в мои ставни. Не сильно. С нежностью. Однажды поскребли ногтями по ставням. В другой раз стали бросать сосновые шишки. Они посланы, чтобы разбудить меня. Кто-то по ошибке думает, что я задремала. Во мне, девочке, была огромная сила любви, а теперь моя сила любви умирает. Я не хочу умирать.

На протяжении всех этих лет я задавала себе те же вопросы, что возникли у меня той ночью, когда возвращались мы из кибуца Тират Яар, за три недели до свадьбы: что нашла я в этом человеке и что я о нем знаю? А если бы другой человек поддержал меня, когда оступилась я на лестнице в «Терра Санта»? Действуют ли какие-то законы, пусть даже такие, которых мы никогда не поймем, — или права госпожа Тарнополер во всем сказанном ею за два дня до моей свадьбы?

Что на сердце у моего мужа — я даже и не пыталась разгадать. На лице у него — полное спокойствие. Будто просьба его исполнилась, и теперь он равнодушно, с довольной миной поджидает автобус, который отвезет нас домой после удачной прогулки по зоопарку. И дома мы поедим, разденемся и ляжем спать. В начальной школе мы обычно описывали впечатления от экскурсии словами, «усталые, но довольные ...». Именно такое выражение лица почти всегда присуще Михаэлю.

Каждое утро Михаэль едет двумя автобусами на работу в университет. Портфель, купленный его отцом в пода-

рок на свадьбу, изрядно поистрепался, потому что сделан он из кожзаменителя. Но Михаэль не позволил мне купить ему новый портфель: к подарку отца он относится с некоторой сентиментальностью.

Точными, сильными пальцами Время разлагает неодушевленные предметы. Его милосердие на всем.

В портфеле Михаэля — листки с его лекциями. Эти листки он обычно нумерует латинскими буквами, а не общепринятым способом. И шерстяной шарф, связанный Малкой, моей мамой, тоже всегда в портфеле, зимой и летом. А также таблетки от изжоги. В последнее время Михаэля мучает легкая изжога, особенно перед обедом.

Зимой мой муж носит темно-коричневый плащ, под цвет его глаз, на шляпу надевает пластиковый чехол. Летом одет он в свободную рубашку, без галстука, сквозь которую угадывается его тело, худое и волосатое. Он все еще строго относится к своей прическе, подстригая волосы коротко, будто он спортсмен или офицер в армии. Как мало отпущено человеку знать о другом человеке. Даже, если он внимательно слушает. Даже, если он ничего не забывает.

Обычно мы не ведем длинных разговоров в будние дни после обеда: «Передай, пожалуйста ... Подержи-ка ... Поторопись ... Не пачкай ... Где Яир?.. Ужин готов ... Будь добр, погаси свет в коридоре ...»

Вечером, после сводки известий в девять, усаживаемся мы в кресла друг против друга, едим фрукты: «Хрущев раздавит Гомулку ... Эйзенхауэр не посмеет ... В самом ли деле правительство намерено воплотить это в жизнь?.. Король Ирака — кукла в руках молодых офицеров ... Приближающиеся выборы не приведут к решительным переменам».

Затем Михаэль садится к письменному столу и надевает очки. Я включаю радиоприемник, слушаю негромкую музыку. Танцевальную музыку передает чужая, далекая радиостанция. В одиннадцать я ложусь в постель. В одной из стен проложены трубы водоснабжения. Звуки скрытых потоков. И кашель. И ветер.

Каждый вторник, возвращаясь из университета, Михаэль заходил в агентство «Кагана», заказывая два билета в кино. В восемь вечера мы одеваемся, в четверть девятого уходим из дому. Иорам Каменицер, бледный юноша, сидит со спящим Яиром, когда мы с Михаэлем уходим в кино. А взамен я помогаю ему готовиться к экзаменам по ивритской литературе. Благодаря ему я не забываю то, что учила в юности. Вдвоем мы читаем статьи, которые написал Ахад-ха-Ам, сравнивая Проповедника с Пророком, Плоть с Духом, Рабство со Свободой. Все идеи располагаются симметричными парами. Я люблю такие стройные системы. Иорам тоже считает, что пророчества, да и свобода зовут нас к освобождению из пут рабства и плоти. Когда я хвалю одно из его стихотворений, зеленая молния пробегает в глазах Иорама. Стихи его написаны с большим чувством. Он выбирает слова и выражения, которых не услышишь в обыденной речи. Однажды я спросила его, что значит выражение «аскетическая любовь», упомянутое в одном из его стихотворений. Иорам объяснил мне, что есть, по-видимому, такая любовь, которая не вносит радости в жизнь человека. Я повторила при этом фразу, которую когда-то давно слышала от Михаэля: «Чувства набухают, превращаясь в злокачественную опухоль, если человек сыт и ему нечем занять себя». Иорам произнес:

— Госпожа Гонен ... — и вдруг голос его оборвался, последний слог прозвучал, как сдавленный вопль, потому что в его возрасте мальчикам трудно управлять своими голосовыми связками.

Если Михаэль входил в комнату, где я занималась с Иорамом, парня схватывала какая-то внутренняя судорога. Округлив спину, он вперял взгляд в пол, будто мучился от того, что наследил или разбил вазу. Иорам Каменицер закончит школу, будет учиться в университете, станет преподавать Библию и ивритскую литературу в Иерусалиме. Накануне Нового года он будет посылать нам цветные открытки с пожеланиями счастливого года, и мы ему пришлем открытку с традиционными приветствиями. Присутствие Времени неизменно. Это присутствие — высокое, прозрачное, не любящее Иорама, не любящее меня, не таящее в себе добрых намерений.

Однажды, осенним днем тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, вернулся Михаэль под вечер с работы, неся в руках серо-белого котенка. Он нашел его на улице Давид Елин, под забором религиозной школы для девочек. Не правда ли, трогательный зверек? Михаэль просил меня прикоснуться к котенку. Просил всмотреться, как это существо угрожающе поднимает маленькую лапку, чтобы напугать, словно он — тигр или по меньшей мере пантера. Где же книга Яира по зоологии? Пожалуйста, мама, принеси книгу, чтобы Яир убедился, что кот и тигр — двоюродные братья.

И когда Михаэль взял руку сына, чтобы тот провел по спине котенка, я заметила, как у мальчика задрожали кончики губ, будто котенок — хрупкое создание, и прикосновение к его спинке — дело опасное.

— Гляди, мама, он смотрит прямо на меня. Чего ему надо?

— Он хочет есть, сынок. И спать. Ну-ка, Яир, устрой ему место на кухонном балконе. Нет, мой глупенький, коты не укрываются одеялом.

— Почему?

— Такими они созданы. Я не могу тебе объяснить.

— Папа, почему коты не укрываются одеялом, как люди?

— Потому, что у котов есть теплый мех, и им тепло без одеяла.

Каждый вечер Яир и Михаэль играли с котенком. Они называли его — Пушок. Было ему всего лишь пару недель от роду, в движениях его была временами умилительная нескладность. Он пытался поймать ночную бабочку, порхавшую под потолком в кухне. Его прыжки вызывали смех, потому что котенок еще не научился чувствовать высоту и расстояние: он взлетал в прыжке на вершок от пола, щелкая своими маленькими челюстями, будто допрыгнул он до самого потолка и схватил бабочку. Мы залились смехом. От этого смеха вздыбилась шерсть на спине у котенка, а сам он зашипел, что, видимо, всех должно было испугать до смерти.

Яир сказал:

— Пушок вырастет и будет самым сильным котом. Мы выдрессируем его, он будет сторожить дом и ловить воров. Пушок будет у нас котом-полицейским.

Михаэль сказал:

— Его надо кормить. Его нужно гладить. Никакое создание не может жить без любви. Поэтому мы будем любить Пушка, а Пушок полюбит нас. Но, Яир, не стоит целовать его. Мама рассердится.

Я выделила зеленую пластиковую миску, молоко, творог. Михаэль был вынужден ткнуть голову котенка в молоко, потому что Пушок вовсе не умел есть из миски. Зверек отшатнулся, чихнул, с силой замотал головой, обдав всех белыми брызгами. Наконец, повернул к нам свою мокрую, жалобную мордочку. Пушок не станет самым пушистым котом. Он — серо-белый. Обычный кот.

Ночью котенок обнаружил неплотно прикрытое окно на кухне. Он проскользнул через щелку, пронесся по квартире, нашел нашу постель и свернулся у моих ног, хотя Михаэль его принес и возился с ним весь вечер. Это был неблагодарный кот. Он пренебрег тем, кто о нем заботился, и подлизывался к тому, кто отнесся к нему с холодком. Несколько лет назад сказал мне Михаэль Гонен: «Никогда не подружится кот с человеком, который не любит его». Теперь я убедилась, что это — лишь метафора, а не истина, и Михаэль сказал это, чтобы выглядеть в моих глазах парнем оригинальным. В ногах у меня свернулся клубочком пушистый котенок, мурлыкающий, издающий низкое урчанье, — в нем был покой, несший умиротворение. На рассвете кот стал царапать дверь. Я встала и открыла ему. Но едва он вышел, замыкал, запросился обратно. Вернулся и тут же постучал лапой в дверь на балкон. Зевнул, потянулся, напыжился. Мяукал, упрашивая, чтобы ему отворили дверь на балкон. Пушок был капризным котенком, а быть может, очень нерешительным.

Спустя пять дней наш новый котенок вышел и не вернулся больше. Весь вечер Михаэль с Яиром обшаривали переулки и соседние улицы, искали под забором религиозной школы для девочек, там, где неделю тому назад Михаэль подобрал его. Яир высказал мысль, что мы обидели Пушка. Михаэль считал, что котенок просто вернул-

ся к своей матери. Я к этому непричастна. Я пишу потому, что меня подозревали, будто я его выбросила. И вправду, неужели Михаэль подозревает, что я способна отравить котенка?

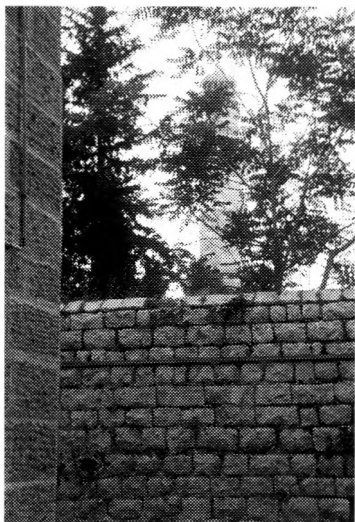
В ответ Михаэль сказал, что отлично понял свою ошибку: он полагал, что может завести котенка, не получив на то моего согласия, будто он один в доме. Он просит, чтобы я его поняла: он просто хотел обрадовать мальчика. Да и сам он в детстве страстно желал держать кота, но отец ему не позволил.

— Я не сделала ему ничего плохого, Михаэль. Ты обязан мне верить. Я не против, чтобы ты нашел другого котенка.

— Ну, он, наверно, вознесен бурей на небо.— Михаэль сдержанно улыбнулся.— И не станет говорить об этом. Жалко мне мальчика, он сильно привязался к Пушки. Но оставим все это. Не стоит нам, Хана, ссориться из-за маленького котенка.

— А мы и не ссоримся.

— Нет ссоры, нет и котенка.— Михаэль снова сдержанно улыбнулся.



XXIII

В ЭТОТ ПЕРИОД И НОЧИ НАШИ СТАЛИ СОВсем иными. Внимательно, осторожно, бережно научился Михаэль доставлять радость моему телу. Пальцы его добры и опытны. Они не остановятся до тех пор, пока не исторгну я низкий стон. Мудро и терпеливо трудился Михаэль, чтобы извлечь из меня этот глубокий стон. Он научился с силой прижиматься губами к моей шее. Теплая, твердая рука его взбирается по спине, до самого затылка, до корней волос, возвращаясь иным маршрутом. В слабом свете уличного фонаря, пробивающегося сквозь щелки ставен, видит Михаэль мое лицо, выражение которого, быть может, говорит об острой боли. Мои глаза всегда закрыты, мне необходимо было постоянное усилие, чтобы сосредоточиться. Я знала, что глаза Михаэля открыты, потому что он сконцентрирован и просветлен. Просветленные и исполненные ответственности, его объятия

свидетельствовали о жизненной силе. Каждое прикосновение было точным, доставляющим наслаждение. Просыпаясь под утро, я снова хотела его.

Дикие видения приходили ко мне помимо моего желания. Монах во власянице явился мне в роще Шнеллер, кусает меня в плечо и вопит. Сумасшедший рабочий с новой фабрики, построенной к западу от квартала Мекор Барух, хватает меня и тащит в направлении холмов, а я, невесомая, покоюсь в объятьях его рук, испачканных машинным маслом. Темные ладони нежны и тверды, волосы загорелые ноги. Не до смеха ...

Или война вспыхнула в Иерусалиме, в тонкой ночной рубашке бежала я из дома, и несусь, обезумев, по узкому туманному шоссе. Мощные лучи прожекторов вдруг осветили кипарисовую аллею. Мой сын пропал. Чужие суровые люди ищут его в ущельях. Следопыт. Офицеры полиции. Добровольцы, прибывшие из окрестных поселений. Доброжелательность излучают их глаза. Как они все поглощены поисками. Вежливо, но настойчиво увещевают меня, чтобы не мешала им. Обнадёживают: с наступлением зари усилия удвоятся. Я заблудилась в мрачных переулках, прилегающих к улице Эфиопов. Я кричала: «Яир! Яир!» А на улице валялось множество дохлых котов, их тушки перекатывались по тротуару. Из какой-то двери вышел старый профессор, читавший мне курс ивритской литературы. Был одет он в потертый пиджак. Улыбнулся мне, как человек, который очень устал. Произнес вежливо, что вот ведь и госпожа тоже одинока, а потому он позволит себе пригласить госпожу. Кто она, эта незнакомая девушка в зеленом платье, обнимающая моего мужа там, в конце переулка, будто меня и не существует? Я была прозрачной. Мой муж сказал: «Веселый сантимент. Грустный сантимент. Глубоководный порт собираются построить на побережье Ашдода».

Был листопад. Деревья как-то непрочны соединялись с землей. Опасное раскачивание. Безобразное. На высоком балконе я увидела капитана Немо. Лицо его бледно, а глаза горят. Черная его борода странно обкорнана. Я знаю, что по моей вине, и только по моей вине, выход в плаванье задерживается. А время все течет, течет. Мне

очень стыдно, капитан. Пожалуйста, не гляди на меня в молчании.

Однажды, когда мне было лет шесть или семь, я сидела в магазине моего отца на улице Яффо, и тут вошел поэт Шауль Черниховский, чтобы купить настольную лампу.

«Не продается ли и эта красивая девочка?» — спросил шутливо поэт. Вдруг он высоко поднял меня своими сильными руками, и его седеющие пышные усы щекотнули мне щеку. Сильный теплый запах исходило его тело. Улыбка его задорна, будто он, непоседливый мальчишка, сумел раздражить этих взрослых. После его ухода отец был возбужден и взволнован: наш великий поэт разговаривал с нами, вел себя просто, как рядовой покупатель. «Наверняка он что-то подразумевал, — говорил отец задумчиво, — когда он решил поднять Хану на вытянутых руках и смеялся от всей души». Я не забыла. В начале зимы, в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, я видела поэта во сне.

Мне снился город Данциг. Большая процессия.

Михаэль начал собирать марки. По его словам, он собирает их ради мальчика. Но покамест Яир не проявил никакого интереса к маркам. За ужином Михаэль показал мне редкую марку из Данцига. Как попала к нему эта марка? Утром он купил подержанную книгу на улице Солель. Название книги: «Сейсмография глубоководных озер». И среди листов этой книги обнаружилась редчайшая марка из Данцига. Михаэль пытался объяснить мне, как высоко ценятся марки ныне не существующих стран: Литвы, Латвии, Эстонии, вольного города Данциг, Шлезвиг-Гольштинии, Богемии и Моравии, Сербии, Хорватии. Мне очень нравились эти названия, слетающие с губ Михаэля.

Редкая марка совсем не поражала великолепием: темные краски, стилизованный крест и корона над ним. Быть может, еще какой-то нечеткий символ. И готические письмена: «Фрейе штатт». Ничего другого на марке не было изображено. Как же мне догадаться, каким был этот город, как он выглядел? Широкие улицы-аллеи или дома

за высокими стенами? Спускается ли он по крутым склонам, чтобы омочить ноги в водах залива, подобно Хайфе, либо растекся по болотистой равнине? Город высоких башен, окруженный лесами, а быть может, город банков и фабрик, застроенный прямоугольными кварталами? Марка не давала никаких ответов.

Я спросила Михаэля, как выглядел город Данциг.

Михаэль ответил мне улыбкой, будто никакого другого ответа я и не жду, кроме этой улыбки.

На этот раз я повторила свой вопрос.

Что ж, поскольку я спрашиваю вновь, он вынужден признаться, что вопрос мой повергает его в изумление: для чего мне знать, как выглядел город Данциг? И почему я полагаю, что ему это известно? После ужина он поищет для меня в Большой Еврейской Энциклопедии. Хотя нет, этого он сделать не сможет, поскольку еще нет тома с буквой «Д». Кстати, если я жажду поехать как-нибудь в заграничную экскурсию, то он советует мне сократить расходы и не выбрасывать новых платьев через пару недель после их покупки, как я сделала с коричневой юбкой, которую мы вместе купили на праздник Суккот в магазине «Мааян Штуб».

Итак, я ничего не смогла узнать у Михаэля про город Данциг. После ужина, когда мы вытирали посуду, я говорила с ним иронически. Я сказала, что он выдумал, будто коллекционирование марок как-то связано с нашим сыном: мальчик — это лишь предлог для реализации его собственных инфантильных желаний — баловаться с марками. Я хотела победить моего мужа в нашей маленькой ссоре.

Но и этой радости Михаэль мне не доставил: он не из тех, кто обижается. Он не перебивал моих задиристых речей, поскольку люди не должны перебивать друг друга. Он продолжал тщательно вытирать фарфоровую миску, что была у него в руках. Поднялся на цыпочки, чтобы поставить вытертую миску в шкафчик над раковиной. А затем, не повернув ко мне лица, сказал, что ничего нового нет в моих словах. Любой новичок в психологии знает, что взрослые люди любят немного поиграть, и он собирает для Яира марки, точно, как я, вырезающая картинки из журналов, якобы для Яира, который совсем не интересу-

ется ими. А если так, вопрошал Михаэль, какой смысл нахожусь я в том, чтобы насмеяться над проявлением его чувств?

Покончив с посудой, Михаэль уселся в кресло и слушал последние известия. Я сидела напротив и молчала. Мы ели фрукты. Михаэль сказал:

— Немыслимый счет прислала Электрическая компания.

Я ответила:

— Нынче все дорожает. Вот и молоко подорожало.

Ночью мне снился Данциг.

Я была принцессой. С высокой башни я обозревала город. Толпы моих подданных собрались у подножия башни. Я простерла руки, благословляя их. Мой жест походил на жест бронзовой женщины-статуи, что высилась на здании «Терра Санта».

Я видела море темных крыш. На юго-востоке небо клубилось тучами над древними кварталами города. Черные облака накатывались с севера. Грядет буря. На склоне четко обозначились тени гигантских порталных кранов. Черные железные конструкции. Они возносились в небо, омытые светом сумерек. Красные светлячки сигнальных лампочек мигали на верхушках кранов. Дневной свет тускнел, становясь серым. Я слышала гудки уходящего в плавание корабля. С юга докатывался грохот железнодорожных составов, но сами эти составы оставались невидимыми. Я видела парк — хитросплетенье запутанной листвы. Посредине парка — продолговатое озеро. В центре озера — маленький плоский островок. На нем установлена статуя принцессы. Это я. Вода залива — вся в пятнах черного масла, выбрасываемого проплывающими кораблями. А затем зажглись огни уличных фонарей, проложившие по моему городу полосы холодного света. Это холодное сияние уперлось в кровлю тумана, облаков и дыма, прорвалось в небе над пригородами, словно оранжевый нимб.

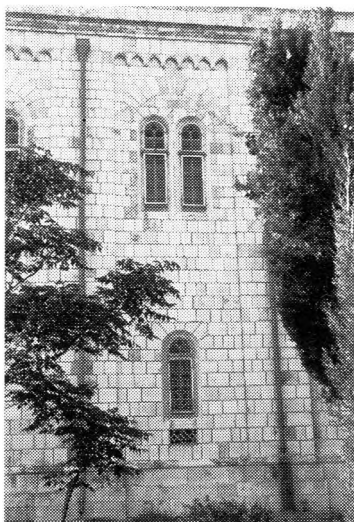
С площади доносился гомон возбужденных голосов. Я, принцесса города, стояла на вершине замка и обязана была говорить с народом, собравшимся на площади. Мне надо сказать им, что я прощаю и люблю, только злая бо-

лезнь не отпускала меня долгое время. Я не могла говорить. Я все еще больна. Подошел и встал рядом со мной поэт Шауль, которого я назначила министром двора. Он обратился к народу, нашел успокаивающие слова на языке, которого я не понимала. Толпа приветствовала его. Вдруг мне показалось, что среди восторженных кликов слышатся сдавленное недовольство и гнев. Поэт произнес четыре рифмующих слова — лозунг или поговорка на чужом языке, — и по толпе прокатился дружный смех. Завопила женщина. Мальчишка вскарабкался на столб и стал гримасничать. Скрюченный человек выкрикнул ядовитую фразу. Но мощные звуки труб увлекли всех. Поэт набросил мне на плечи теплую мантию. Кончиками пальцев прикоснулась я к его прекрасным седеющим кудрям. Этот поступок вызвал в толпе бурные чувства: нарастающий рокот, превратившийся в рев. Любовь или безудержная ярость.

Самолет пронесется в небе над городом. Я приказала ему помигать красными и зелеными огоньками. На секунду показалось, что самолет несется сквозь звезды, увлекая за собой те из них, что послабее. Затем армейское подразделение промаршировало по площади Сион. Мужчины запели вдохновенный гимн в честь принцессы. В карете, запряженной четверкой лошадей, белых, в серых яблоках, провезли меня по всем улицам. Усталой рукой рассыпала я воздушные поцелуи моим согражданам. В Нахалат Иехуда, на улицах Геула, Усышкин, Керен Каемет толпились тысячи моих подданных. У каждого в руках — флажок и цветы. Шла процессия. Я опиралась на руки двух своих телохранителей. То были два офицера, сдержанные, смуглые, вежливые. Я устала. Подданные бросали мне букеты хризантем. Хризантемы — это мои любимые цветы. Был праздник. Возле здания «Терра Санта» Михаэль предложил свою руку, помогая выйти из кареты. Как всегда, он был спокоен и сосредоточен. Принцесса знала, что наступило время принятия решений. Чувствовала, что она обязана быть царственной. Появился низенький библиотекарь в черной шапочке на макушке. Движения его исполнены покорности. Он оказался Иехезкиэлем, отцом Михаэля. «Ваше высочество, — церемонимейстер отвесил

нижайший поклон, — Ваше высочество, соизвольте в неизреченной милости ...» За его покорностью мне чудилась некая неясная насмешка. Я не любила сухой смешок старой Сарры Зельдин. У нее нет никакого права стоять в пролете лестницы и насмехаться надо мной. Я была в подвале библиотеки. Во мраке обозначились тонкие женские фигуры. Худые женщины, разбросав колени, разлеглись в узких проходах между книжными полками. Плесень покрывала пол. Худые женщины походили одна на другую своими крашеными волосами, смелыми декольте платьев. Ни одна из них не улыбнулась мне, не выказала никакого уважения. Окаменевшая боль сковала их уста. Были они грубы. Они касались меня и не касались, эти женщины, ненавидевшие меня. Острые их пальцы не предвещали добра. Это были портовые проститутки. Они громко стонали. Отрыгивали. Были пьяны. Гнусный запах источала их плоть. «Я — принцесса Данцига!» — хотела я закричать, но голос покинул меня. Я была одной из этих женщин. Во мне вспыхнула мысль: «Все они — принцессы Данцига». Я вспомнила, что я должна нынче срочно принять делегацию граждан и купцов по вопросу выдачи привилегий. Я совсем не знаю, что это за привилегии. Я устала. Я — одна из этих жестких женщин. Из тумана, с далеких судоверфей, донесся вой корабельной сирены, будто резня происходила в порту. Я была заключенной, я принадлежала этому библиотечному подвалу. Я выдана толпе этих безобразных женщин, распростертых на полу, покрытом плесенью.

Я не забыла о существовании английского эсминца под названием «Дракон»: этот корабль меня знает, он сумеет распознать меня среди всех, и он придет, чтобы спасти мою жизнь. Но только в новый ледниковый период вернется море к вольному городу. А до той поры недостижим «Дракон», далекий эсминец, дни и ночи несущий патрульную службу в Мозамбикском заливе. Ни один корабль не может прибыть в город, который давно упразднен. Я пропала.



XXIV

МОЙ МУЖ МИХАЭЛЬ ГОНЕН ПОСВЯТИЛ МНЕ свою первую статью, опубликованную в научном журнале. Название статьи «Процессы эрозии в оврагах пустыни Паран». Эту тему взял Михаэль и для своей докторской диссертации. Посвящение было напечатано под заглавием статьи особым светлым шрифтом:

«Хане, жене, человеку большой души,
посвящает автор эту работу».

Я прочитала статью, поздравила Михаэля с отличной работой: мне нравится, что он редко употребляет прилагательные, ограничиваясь существительными и глаголами. Мне также нравится, что Михаэль избегает длинных фраз: каждая мысль сформулирована в нескольких предложениях, четких, сжатых. Я восхищаюсь его стилем, сухим и деловитым.

Михаэль ухватился за слово «сухой». Подобно всем людям, далеким от литературы, он пользовался словами, как пользуются водой или воздухом, и поэтому Михаэль ошибался, полагая, что я подразумеваю нечто плохое. Жаль, так сказал он, что он не умеет сочинять стихи и не может посвятить мне стихотворение — вместо этого сухого исследования. Человек делает то, что он способен сделать. Он сознает, что это — банальная фраза.

Неужели Михаэль полагает, что я не исполнена благодарности за его посвящение, что я не восхищаюсь его работой?

Нет, он вовсе не имеет намерения осуждать меня: его работа адресована специалистам — геологам и ученым, работающим в смежных областях. Геология — это не история. Можно, безусловно, быть образованным человеком, не зная даже основ геологии.

Эти слова Михаэля причинили мне боль, потому что я хотела быть сопричастной его радости по случаю первой научной публикации, но, сама того не заметив, обидела его.

Не согласится ли Михаэль просто и доходчиво объяснить мне, что такое геоморфология?

Словно в раздумье, Михаэль поднял руку. Взяв очки, лежавшие на столе, он стал внимательно рассматривать их, улыбаясь своей загадочной улыбкой. Затем положил их на стол. Итак, он готов объяснить мне, если я и вправду спрашиваю для того, чтобы знать, а не пытаюсь доставить ему удовольствие.

Нет, незачем откладывать вязанье. Ему приятно объяснять, сидя напротив меня, погруженной в вязанье. Ему приятно видеть меня спокойной и умиротворенной. Совсем не обязательно глядеть на него, он уверен, что я внимательно слушаю. Ведь мы не допрашиваем друг друга. Геоморфология — это пограничная область между геологией и географией. Она занимается процессами, в результате которых формируется ландшафт Земли. Большинство людей придерживается ошибочного мнения, будто земной шар сформировался или был создан раз и навсегда миллионы лет тому назад. На самом деле земная поверхность находится в состоянии постоянного изменения. Если воспользоваться принятым термином «созидание»,

можно сказать, что Земля наша «созидается» непрерывно. Даже в эти минуты, когда мы сидим здесь и мирно беседуем. Различные силы, иногда даже противоборствующие друг с другом, создают и изменяют ландшафт, открывающийся нашему глазу, а также внутренние структуры, скрытые от нашего взора. Среди этих сил — и геологические факторы, обусловленные динамичностью раскаленного ядра в сердцевине земного шара, а также медленным, неравномерным остыванием этого раскаленного ядра. Есть и некоторые факторы атмосферного порядка, например, ветер, ливни, перепады температур — от жары к морозу, происходящие без перерывов, в соответствии с законами цикличности. Кроме того, и известные физические эффекты сильно влияют на геоморфологические процессы. Между прочим, этот простой факт ускользает иногда и от некоторых специалистов, может быть, в силу его чрезвычайной простоты: физические законы настолько очевидны, что именно самые замечательные ученые склонны порой игнорировать их. Например, законы гравитации и воздействие солнечной активности. Несколько сложных теорий пытались дать туманные объяснения тем феноменам, в основе которых лежат самые простые законы.

Кроме геологических, физических и атмосферных факторов, следует принять во внимание отдельные химические явления. Например, растворение и плавление. Из всего этого следует, что геоморфология — это перекресток нескольких научных направлений. Кстати, уже древнегреческие мифы заметили это, ибо в них рассказывалось, что обличье Земли формируется в постоянном противоборстве. Этот принцип принят и самой современной наукой, которая, однако, не пытается объяснить природу происхождения этих разнообразных сил. В известном смысле круг наших вопросов намного уже, чем те проблемы, которые занимали греческую мифологию. «Как», а не «почему» — вот единственный вопрос, который нас занимает. Но многие из современных ученых не устояли перед искушением, запутываясь в попытках, дать всеобъемлющее объяснение. В частности, советская научная школа — насколько об этом можно судить по публикациям — именно она иногда прибегает к терминам, которы-

ми пользуются гуманитарии. Велик соблазн, подстерегающий каждого ученого, — удариться в метафорические объяснения, попав тем самым в плен распространеннейшей из иллюзий, будто метафоре не требуются никакие доказательства. Лично он, Михаэль, самым педантичным образом избегает употребления эффектных понятий, принятых определенными научными школами. Он подразумевает такие туманные понятия, как, например: «притяжение», «отталкивание», «ритм» и все такое прочее. Очень тонкая граница разделяет научное описание и фантастические сказки. Более тонкая, чем это принято думать. Он со всей тщательностью стремился не переходить эту границу. Может, именно поэтому создается впечатление, что его работа весьма суха.

Я сказала:

— Михаэль, я должна уладить недоразумение. Слово «сухая» я употребила в самом похвальном смысле.

Михаэль заметил, что это объяснение его весьма радует, хотя и трудно ему поверить, что мы имеем в виду одно и то же. Ведь мы, в конце концов, очень разные люди. Если я в один прекрасный день пожелаю посвятить ему несколько часов, он будет рад привести меня в свою лабораторию, на свои лекции, дать более подробные объяснения, быть может, не столь «сухие».

— Завтра, — сказала я. И произнося это, я постаралась выбрать одну из самых очаровательных моих улыбок.

Михаэль не скрывал свой радости.

Назавтра мы с утра отправили Яира в детский сад с извинительной запиской для Сарры Зельдин: в силу неотложных личных обстоятельств я взяла себе день отпуска.

Двумя автобусами добирались мы с Михаэлем до лаборатории геологии. Когда мы прибыли, Михаэль попросил лаборантку приготовить две чашки кофе и принести их к нему в кабинет.

— Сегодня — две вместо одной, — произнес Михаэль веселым тоном и поспешил разъяснить:

— Пожалуйста, познакомьтесь, Матильда, это — госпожа Гонен. Моя жена.

Затем мы поднялись в кабинет Михаэля на третьем этаже. Это был маленький закуток в дальнем конце освещенного длинного коридора, отделенный фанерной пере-

городкой. Кроме письменного стола, который, видимо, стоял в одной из канцелярий во времена британского мандата, были здесь два плетеных стула, пустая этажерка, которую украшала снарядная гильза, служившая цветочной вазой. Под стеклом, покрывавшим письменный стол, я увидела фотографию, сделанную в день нашей свадьбы, снимок Яира в карнавальном костюме на празднике Пурим, а также цветную вырезку из журнала, изображавшую двух беленьких котят.

Михаэль уселся за стол спиной к окну. Он вытянул ноги, уперся локтями в стол и пытался шутить, притворяясь лицом официальным:

— Будьте добры, присядьте, госпожа. Чем могу служить?

В эту секунду распахнулась дверь. Вошла Матильда, неся поднос с двумя чашками кофе. Может, до нее донеслись последние слова Михаэля. Смутившись, мой муж снова представил меня:

— Пожалуйста, познакомьтесь. Это — госпожа Гонен. Моя жена.

Матильда вышла. Михаэль, извинившись, минут пять занимался своими бумагами. Я выпила кофе, бросила взгляд в его сторону, угадав его желание, чтобы именно сейчас я взглянула на него. Он почувствовал мой взгляд. Спокойное удовлетворение излучало его лицо. Как мало должны мы сделать, чтобы доставить радость другому человеку.

Спустя пять минут Михаэль поднялся. Я тоже встала. Михаэль еще раз извинился за краткую задержку: он должен «расчистить стол», как говорится. А теперь давай-ка спустимся в лабораторию. Он надеется, что мне будет интересно. С радостью ответит на любой мой вопрос.

Великодушен и ясен был мой муж, проводя меня по лаборатории геологии. Я задавала вопросы, предоставляя Михаэлю возможность давать пояснения. Он неоднократно спрашивал меня, не устала ли я, не скучно ли все это. На этот раз я была очень осторожна в выборе слов. Я сказала:

— Нет, Михаэль. Я не устала и мне не скучно. Я хочу видеть еще и еще. Мне приятно слушать твои объяснения. Ты умеешь объяснить очень сложные вещи самым

ясным, доходчивым языком. Все, что ты говоришь, — для меня абсолютно ново и очень интересно.

Когда я произнесла это, Михаэль на секунду сжал в своих ладонях мою руку, как и тогда, давным-давно, когда мы вышли из кафе «Атара» в проливной дождь.

Подобно всякому гуманитарии, я всегда ошибочно полагала, что наука — это система, связывающая слова и понятия. Нынче я убедилась, что Михаэль и его коллеги заняты не только формулировками — они ищут сокровища, упрятанные в недрах земли: источники воды, залежи горючего, соли, минералы, строительные материалы, сырье для промышленности и даже драгоценные камни, из которых изготавливают женские украшения.

Выходя из лаборатории, я сказала:

— Мне хотелось бы убедить тебя, Михаэль, что когда дома я произнесла слово «сухой», — оно имело положительный смысл. Если сейчас ты пригласишь меня послушать твою лекцию, я усядусь в самом конце аудитории и буду очень тобой гордиться.

Более того, я страстно желала вместе с ним вернуться домой, чтобы я без конца могла гладить его по голове. Я подыскивала какой-нибудь восторженный комплимент, который снова зажжет в его глазах застенчивый свет, а лицо его снова станет излучать спокойное удовлетворение.

Я отыскала свободное место в предпоследнем ряду. Мой муж стоял за кафедрой, опираясь на нее обоими локтями. Он художав. Поза его вызывала ощущение уверенности. Время от времени он обводил тонкой указкой один из чертежей, сделанных им на доске еще до начала лекции. Нежными и точными казались меловые линии, проведенные его рукой. Я думала о его теле, скрытом одеждой. Студенты-первокурсники склонились над своими конспектами. Один из них поднял руку, задавая вопрос. Секунду всматривался Михаэль в этого юношу, словно пытался разгадать, почему тот задал вопрос, а уж затем стал отвечать. Начал с того, что тот, кто задал вопрос, коснулся очень важного момента. Михаэль был тих и сдержан. Даже если и заметно было легкое колебание при переходе от одной мысли к другой, растерянности

в нем не ощущалось — он выглядел лектором, который сурово относится к самому себе, внутренне осознавая всю меру ответственности. Вдруг я вспомнила старого профессора геологии в здании «Терра Санта», февральским днем пять лет тому назад. Он тоже пользовался тонкой указкой, обводя отдельные места на картинках, спроецированных на экран «волшебным фонарем». Приятен был его надтреснутый голос. И у мужа моего приятный голос. Ранним утром, бреясь в ванной и полагая, что я все еще сплю, он негромко, но от всей души напевает. Сейчас, обращаясь к студентам, он выбирает определенное слово в каждой произносимой им фразе, и этому слову придает особую интонацию, нежную, напевную — словно тонкий намек, предназначенный самым умным из его студентов. С зажатой в руке указкой, в свете «волшебного фонаря» старый профессор из «Терра Санта» напоминал мне гравюры на дереве из тех книг, что я любила в юности: «Моби Дика» или книг Жюль Верна. Я не умею забывать. Даже самой малости. Где я буду, чем я буду, когда в один из дней Михаэль сольется с тенью старого профессора из «Терра Санта»?

После лекции мы вместе пообедали в студенческом буфете.

— Пожалуйста, познакомьтесь с госпожой Гонен, — говорил Михаэль радостно, обращаясь к некоторым из своих коллег, проходящих мимо. Мой муж походил на мальчика, представляющего директору школы своего знаменитого отца.

Мы пили кофе. Для меня Михаэль заказал кофе по-турецки. Сам же он предпочел кофе со сливками.

Затем он разжег свою трубку. Он сказал, что не может представить себе, что меня чем-то заинтересовала его лекция, но сам он был очень взволнован, хотя ни один из его студентов не подозревал о присутствии в аудитории жены лектора. Михаэль признался, что в волнении он дважды терял нить излагаемого, потому что думал обо мне и глядел на меня. В эти минуты он сожалел, что не преподает литературу или поэзию. Всем сердцем хотел бы он доставить мне истинное удовольствие, а не мучить меня своей сухой наукой.

Михаэль недавно начал работать над своей докторской диссертацией. Он надеется, что старик отец еще удостоится писать на конвертах писем, которые он посылает нам каждую неделю, что они адресованы — «Доктору и госпоже М. Гонен». Понятное дело, это наивная сентиментальность, но ведь все мы носим в сердцах своих наивные сантименты. С другой стороны, уместна ли торопливость при подготовке диссертации? Ему предстоит исследовать сложную тему, весьма и весьма сложную.

Когда мой муж произнес — «сложная тема», пробежала по лицу его судорога. И в мгновение ока я вдруг увидела, где в будущем раскинется сеть мелких морщинок, вроде тех, что в последнее время обозначились вокруг его губ.



XXV

ЛЕТОМ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОГО мы, взяв сына, поехали на неделю в отпуск в Холон, чтобы отдохнуть и покупаться в море.

В автобусе, на соседнем сиденье, расположился человек, на которого страшно было глядеть. Инвалид войны, а быть может, беженец из Европы. Лицо его было расплющено, а одна из глазниц пуста. Самое ужасное — его рот: у человека отсутствовали губы, поэтому его зубы обнажились — то ли в улыбке от уха до уха, то ли в оскале, похожем на оскал пустого черепа. Когда несчастный пассажир взглянул на нашего мальчика, Яир укрылся в моих объятьях. Но, словно желая вновь испытать чувство страха, он время от времени бросал свои взгляды на это изуродованное лицо. Плечи ребенка дрожали, лицо его побелело от страха.

Незнакомец с удовольствием вступил в игру. Он не отворачивался и не сводил своего единственного глаза с нашего сына. словно намереваясь извлечь из Яира все оттенки ужаса, пассажир этот гримасничал, скалил зубы, так что и на меня нагнал страху. Он с оживлением встречал каждый взгляд мальчика, корчил рожи всякий раз, когда Яир глядел в его сторону. Яир принял этот жуткий вызов: временами он вскидывал голову, сверлил незнакомца взглядом, терпеливо ожидал, пока тот состроит новую гримасу, и тогда снова прятался в моих объятьях. Сильная дрожь била его. Все его тело трепетало. Игра шла без единого звука: в Яире рыдал каждый мускул, каждый его вздох был сдавленным рыданьем, но голоса он не подавал.

Мы ничего не могли поделать: свободных мест в автобусе не было. Незнакомец и мальчик не позволили Михаэлю послужить заслоном, когда он попытался встать между ними. Они взглядывали друг на друга из-за спины Михаэля, раскачиваясь из стороны в сторону.

Когда вышли мы на центральной автобусной станции в Тель-Авиве, незнакомец подошел к нам и протянул Яиру сухой пряник. Рука его была затянута в перчатку, хотя стоял жаркий летний день. Яир взял пряник и молча положил его в свой карман. Наш попутчик, коснувшись щеки мальчика, произнес две фразы:

— Какой красивый ребенок. Прелестный мальчик.

Яир дрожал, как в лихорадке. Но он не произнес ни звука.

Когда мы сели в автобус, идущий в Холон, малыш извлек из кармана сухой пряник и сказал:

— Кто хочет умереть — пусть ест это.

— Не следует брать подарки от чужих людей, — заметила я.

Яир молчал. Собрался было сказать что-то. Раздумал. Наконец произнес с уверенностью:

— Это был очень злой человек. Вовсе не еврей.

Михаэль посчитал нужным вмешаться.

— Этот человек, по-видимому, был тяжело ранен на войне. Возможно, что он — герой.

Яир упорствовал:

— Нет, не герой. И вообще не еврей. Плохой.

Михаэль отрезал решительно:

— Хватит болтать, Яир.

Мальчик поднес ко рту сухой пряник. Снова задрожал всем телом. Пробормотал:

— Я вам умру. Я это съем.

«Ты никогда не умрешь»,— собиралась сказать я, вспомнив прекрасный отрывок, прочитанный мною у Гершона Шофмана. Однако Михаэль, не принимавший легкомыслия и иронии, опередив меня, произнес тщательно взвешенную фразу:

— Ты умрешь после ста двадцати лет. А теперь, будь добр, прекрати всякие глупости. Я закончил.

Яир подчинился. Какое-то время он подчеркнуто сжимал губы. Наконец заговорил с сомнением, словно подводя итог весьма сложным раздумьям:

— Когда приедем к деду Иехезкиэлю, я ничего у него не буду кушать. Ничего.

Шесть дней мы гостили в доме деда Иехезкиэля. Каждое утро мы с сыном ездили на побережье Бат-Ям. Дни текли, исполненные покоя.

Иехезкиэль Гонен уже оставил свою работу в городском отделе водоснабжения. С начала года он живет на скромную пенсию. Однако свою деятельность в местном отделении партии он не забросил. Каждый вечер он все еще ходит в клуб, и связка ключей у него в кармане. В маленькой записной книжке он отмечает: сдать занавески в прачечную, купить бутылку сока для докладчика, собрать все квитанции и разложить их в хронологическом порядке.

В утренние часы Иехезкиэль самостоятельно изучает основы геологии в рамках Народного университета, чтобы вести с сыном несложные научные беседы. Свободного времени у него теперь предостаточно. «Никогда не скажет человек: вот я состарился, а в учении не преуспел».

Иехезкиэль просил нас, чтобы мы вели себя у него дома так, будто его вообще нет рядом: если мы станем с ним считаться, то испортим свой отпуск. Вдруг нам захочется переставить мебель в комнате или не убирать постели на день — не стоит сковывать себя условностями. Его главное желание — чтобы нам было удобно. Мы ви-

димся ему столь молодыми, что не будь он так рад нашему приезду — сердце его объяла бы печаль.

Эту мысль Иехезкиэль повторял неоднократно. Некая сдержанная торжественность была в каждом слове, следовавшем с его уст, то ли потому, что говорил он, словно держал речь на собрании, то ли потому, что предпочитал выбирать слова и выражения, которые принято произносить только в моменты особо значительные. Я вспомнила замечание Михаэля во время нашей беседы в кафе «Атара», что отец его пользуется привычными представлениями, как пользуются драгоценным хрупким сервизом. Нынче я убедилась, что случайно Михаэлю удалось дать весьма тонкое определение.

Уже с первого дня между дедом и внуком завязалась крепкая дружба. Оба тихо вставали в шесть утра, не разбудив ни меня, ни Михаэля. Они одевались, наскоро завтракали и уходили вдвоем блуждать по пустынным улицам. Иехезкиэль любил знакомить внука с городскими коммунальными службами: разветвление электросети от центральной трансформаторной подстанции, сети водоснабжения, пожарное депо, насосные станции, аварийные службы, разбросанные по всему городу. Он пояснял, каким образом городским отделом санитарии налажен сбор мусора, какова география автобусных линий. Это был новый мир, исполненный восхитительной логики. Новым было и имя, которое присвоил дед внуку:

— Яир — так называли тебя родители, а я буду называть тебя — Залман. Ибо Залман — это твое истинное имя.

Мальчик не отверг это новое имя, однако в силу только ему понятных принципов справедливости стал называть деда тем же именем — Залман. В половине девятого утра они возвращались с прогулки. Яир, бывало, возвещал:

— Залман и Залман вернулись домой.

Я смеялась до слез. И Михаэль тоже улыбался.

Когда мы с Михаэлем вставали, то на столе в кухне нас ждали свежий салат из овощей, кофе, ломти белого хлеба с маслом.

— Залман приготовил вам завтрак собственными ру-

ками, ибо он — умница, — объявлял Иехезкиэль с воодушевлением. И чтобы не исказить факты, добавлял:

— Я дал ему лишь несколько советов.

Затем Иехезкиэль обычно провожал нас до автобусной станции и предупреждал насчет водоворотов и чрезмерного загара. Однажды он даже осмелился заметить:

— Я бы присоединился к вам, но не хотелось бы мне стать вам в тягость.

В полдень, когда мы возвращались с моря, Иехезкиэль уже ждал нас с вегетарианским обедом: овощи, яичница, поджаренный хлеб, фрукты. Мясо никогда не появлялось на нашем столе — у Иехезкиэля были свои принципы, которые он не стал нам разъяснять, чтобы не докучать подробностями. За обедом он старался развлечь нас забавными эпизодами из детства Михаэля: например, что сказал Михаэль главе правительства Моше Чертоку, посетившему начальную школу, и как Моше Черток предложил напечатать слова Михаэля в газете для детей.

За обедом Иехезкиэль обычно рассказывал внуку истории о злых арабах и об арабах добрых, об еврейских стражниках, охранявших поселения, о шайках гнусных погромщиков, о еврейских детях-героях, о британских офицерах, издевавшихся над детьми нелегальных эмигрантов.

Яир был благодарным слушателем, впитывая все, как губка. Не проронил ни единого слова. Не упустил ни единой подробности. Словно в нем слились жажда познания, присущая Михаэлю, с моей тягостной особенностью — запомнить, все запомнить. Мальчик мог бы выдержать экзамен, усвоив все, что он слышал от «деда Залмана». Линии электропередачи станции Ридинг. Шайка Хасана Саламе обстреливала Холон с холмов Эль-Ариша. Вода поступает по трубам из ключей Рош Хааин. Бевин был плохим англичанином, но Уингейт был очень хорошим.

Дед порадовал нас скромными подарками. Михаэлю он купил комплект из пяти галстуков в картонной упаковке, а мне — книгу профессора Ширмана «Ивритская поэзия в Испании и Провансе». Внуку — заводной красный пожарный автомобиль: когда он двигался, начинала звучать сирена.

Дни текли, исполненные умиротворения.

Во дворе — в окружении домов квартала «Жилье для трудящихся» — были посажены фикусовые деревья, обрамлявшие хорошо ухоженные прямоугольные газоны. Весь день напролет пели птицы. Светел был город, залитый солнечным светом. К вечеру дул ветер с моря, Иехезкиэль широко распахивал окна, даже кухонную дверь открывал.

— Освежающий ветер, — говорил он. — Воздух моря оживляет души.

В десять вечера, вернувшись домой из партийного клуба, старик склонялся над детской кроваткой, несколько раз целовал своего спящего внука. Затем он присоединялся к нам, усаживался на балконе в шезлонг. Он запретил себе вести разговоры о партии трудящихся, полагая, что эта столь близкая ему тема нас не волнует. Иехезкиэль избирал темы, казавшиеся ему интересными для нас: не стоит, считал он, досаждать нам во время краткого отпуска. Со мной он беседовал о Хаиме Иосефе Бреннере, который был убит недалеко отсюда тридцать четыре года тому назад. По мнению Иехезкиэля, Бреннер был великим писателем и великим социалистом, несмотря на то, что иерусалимские профессора относятся к нему с пренебрежением, поскольку был он борцом, а не эстетом. Иехезкиэль просил меня поверить, что в будущем даже в Иерусалиме признают всё величие Бреннера.

Я с ним не спорила.

Мое молчание Иехезкиэль с радостью оценил как еще одно доказательство моего хорошего вкуса. Он, как и Михаэль, считает, что я наделена богатой душой. Поэтому он позволит себе проявить сентиментальность и сказать мне, что я дорога ему, как дочь.

С сыном Иехезкиэль беседовал о природных ресурсах страны: недалек тот день, когда обнаружится нефть в наших недрах, в этом Иехезкиэль нисколько не сомневается. Он все еще помнит, как презрительно отнеслись специалисты к библейскому стиху из Книги Дварим: «...в землю, в которой камни — железо, из гор которой будешь высекать медь». И вот сегодня у нас есть гора Манара, есть и Тимна: железо и медь. Вне всякого сомнения, нефть будет найдена в самое ближайшее время. Ведь

о наличии нефти определенно упоминается в Талмуде, а мудрецам, создавшим его, не было равных в точном описании реальности. Они писали на основании глубоких знаний, а не под влиянием чувства. Иехезкиэль считает, что сын его — геолог, не лишенный полета воображения, и ему, конечно же, выпадет участь быть среди тех, кто ищет и находит. (Иехезкиэль по-особому произносил это слово — «ге'олог».)

Но сейчас он умолкает, потому что его речи утомительны: ведь мы приехали сюда отдохнуть, а он — по старческой своей глупости — чем он занят? Говорит с нами на профессиональные темы. Будто мало нам тех духовных усилий, что ждут нас в Иерусалиме. Без сомнения, он назолив, как и все старики в мире. Давайте-ка отправимся спать, чтобы встать поутру свежими и бодрыми. Спокойной ночи вам, мои любимые дети. И пожалуйста, не обращайтесь внимания на слова старика, который в другое время молчит, ибо проводит дни свои в одиночестве.

Дни текли, исполненные умиротворения.

После обеда мы все гуляли в городском саду, встречали старых друзей и соседей, которые много лет тому предсказывали Михаэлю его блестящее будущее, и вот теперь они делят с ним его успехи, и рады пожать руку его супруге, погладить его сына и сообщить смешные подробности, относящиеся к дням его младенчества.

Каждый день Михаэль приносил мне вечернюю газету. Покупал и иллюстрированные еженедельники. Мы загорели. Кожа наша пропиталась запахом моря. Город был маленький, дома из белого камня.

— Холон — новый город, — говорил Иехезкиэль Гонен, — он не возрожден, как некоторые древние города, а расцвел на песках, и вот — стоит он, красивый и чистый. Я помню, как начинался город, и радуюсь ему каждый день, хотя нет в нем, ясное дело, и крупницы того, что можно найти в вашем Иерусалиме.

В последний вечер из Тель-Авива приехали четыре тетушки, чтобы посидеть с нами. Они привезли подарки Яиру. Яростно заключив его в объятия, они столь же яростно осыпали его поцелуями. На этот раз они были любезны. Даже тетя Женя не поминала старое.

Начала тетя Лея и сказала, что, по мнению всех собравшихся, Михаэль оправдал надежды семьи. «И ты, Хана, должна преисполниться гордости за его успехи». Тетя Лея все еще помнит, как после Войны за Независимость друзья Михаэля презирали его за то, что он не пошел в какой-то кибуц в Негеве, а, исполненный мудрости, направился в Иерусалим, в университет, чтобы служить стране и народу умом своим и талантом, а не силой мускулов, как какая-нибудь рабочая скотина. А теперь, когда наш Михаэль вскоре станет доктором, являются к нему те, презиравшие его, друзья с просьбами — помочь им сделать первые шаги в университете. Лучшие свои годы эти глупцы растратили, кибуц в Негеве давно им наскучил, а наш Михаэль, который с самого начала был разумен и дальновиден, сегодня может нанять своих высокомерных друзей в качестве грузчиков — пусть перетаскают мебель со старой квартиры в новую которая, наверняка, появится вскоре.

Когда тетя Лея произнесла «кибуц в Негеве», исказилось ее лицо. И слово «Негев» слетело с губ, словно проклятье. Последняя фраза вызвала у всех четырех тетушек гомерический хохот. Иехезкиэль сказал:

— Никого из людей презирать не следует.

Михаэль задумался на секунду, согласился со словами отца, добавив, что, по его мнению, образование не меняет сущностной ценности человека.

Эта мысль доставила особую радость тете Жене. Она заявила, что успехи не вскружили голову Михаэлю, и скромность его безупречна. А скромность — это очень полезное качество в жизни. Она, тетя Женя, всю жизнь верила, что роль женщины — поддерживать мужа на пути к успехам. Только в случае, если муж — неудачник, женщина должна выбрать трудный путь и бороться, как мужчина, в том мире, где властвуют мужчины. Такая судьба выпала ей самой. Она счастлива, что Михаэль не наделил подобной судьбой свою жену. «И ты, дорогая Хана, должна быть счастлива, потому что не может быть в мире удовлетворения выше, чем непрерывные усилия, приведшие к успехам, за которыми придет еще больший успех». Тетя Женя всегда верила в это, с раннего детства и до се-

го дня. Все пережитое ею не изменило ее взглядов, лишь укрепило их.

В день нашего возвращения в Иерусалим, ранним утром, Иехезкиэль сделал нечто такое, чего я не могу забыть. По приставной лестнице взобрался он на антресоли и снял большой сундук. Оттуда извлек он старый мундир еврейского стражника, поблекший, измятый. Из своего тайника достал он форменный головной убор. Шапку он водрузил на голову внука; большая, она съехала мальчику на глаза. Дед облачился в мундир поверх пижамы, которая была на нем.

Все утро, до самого отъезда, дед и внук сотрясали дом, ведя баталии и маневры. Стреляли друг в друга из палок. Лежали в обороне, прячась за мебелью. Неоднократно кричали друг другу: «Залман!» Лицо Яира светилось бурной радостью: ему открылись все прелести власти. А престарелый рядовой самозабвенно повиновался любой его команде. Весел был старый Иехезкиэль в то утро, когда завершился наш последний визит в Холон. В один щемящий миг я вдруг ощутила, что эта картина мне знакома, я уже видела ее в далеком прошлом. Словно размытая копия некоего видения, чей оригинал был намного четче, чище, прозрачней. Я не помню, где и когда.

Ледяной ток пробежал по спине. Я ощутила сильную потребность облечь в слова нечто. Быть может, криком предостеречь сына и свекра от пожара, от удара током. Но их игра никак не связана была с этими опасностями. Я порывалась сказать Михаэлю, что хочу встать и немедленно уехать, сию же секунду. Но я не могла этого произнести — мои слова были бы расценены как глупость и грубость. Какая же сила заставила меня испытать такое смятение? Утром над Холоном пронеслись на бреющем полете несколько эскадрилий боевых самолетов. Я не думаю, что в том причина моих тяжелых чувств. И я не думаю, что нужно употреблять слово «причина». Ревели моторы самолетов. Звенело стекло в окне. Я ощущала, что все это — не в первый раз, ни в коем случае — не в первый.

Перед выходом расцеловал меня Иехезкиэль, мой свекор, в обе щеки. Когда он целовал меня, я заметила, что глаза у него были странными. Казалось, что замутненный зрачок растекся по всей белизне глазного яблока. Да и лицо его было серым, одутловатым, щеки изрезаны морщинами. Губы, коснувшиеся моего лба, не были теплыми. И напротив, необычайно теплым было пожатье его руки, пожатье твердое, даже настойчивое, будто хотел старик отдать мне свои пальцы в подарок, не требуя их назад.

Спустя четыре дня после нашего возвращения в Иерусалим это высветилось в памяти, словно в ослепительной вспышке, когда под вечер явилась тетя Женя и сообщила нам, что несчастный Иехезкиэль рухнул без памяти на автобусной остановке, напротив своего дома. Еще вчера, только вчера несчастный Иехезкиэль был у нее дома, он ни на что не жаловался. Более того, он беседовал с ней о новом лекарстве против детского паралича, найденном в Америке. Он был ... обычным, совсем обычным. И вот утром, на глазах у соседей, семейства Глоberman, он рухнул наземь, на автобусной остановке. «Миха — сирота», — вдруг зашлась в плаче тетя Женя. Плача, она поджала губы, как обиженный старик или младенец. Руки ее с силой прижимали Михаэля к тощей груди. Она гладила его лоб и в конце концов утихла.

— Миха, как же это так, человек без всякой причины — на тротуар, как падает какой-то портфель или сверток из рук — прямо на тротуар, просто упал и разбился ... это ... и ... ужасно. Ведь ... нет никакого смысла. Это отвратительно. Будто Иехезкиэле, он и впрямь какой-то портфель или сверток, просто так — упал и разбился ... это ... как это все выглядит, Миха, и какой стыд ... соседи Глоberman сидят на террасе и наблюдают, словно комедию, подбегают совершенно чужие люди, за руки и за ноги оттаскивают его в сторону, чтобы не загромождал проход, а затем по отдельности поднимают его шляпу, очки, книги, которые он разбросал посреди дороги ... А знаешь, куда он вообще намеревался идти? — Здесь тетя Женя возвысила тонкий голос в скорбном гневе, — он просто шел в библиотеку, вернуть книги, он и не собирался ехать автобусом, чисто случайно он рухнул прямо на остановке, на глазах у Глоbermanов. Такой тихий и приятный чело-

век и ... такой спокойный, а вдруг ... как в цирке, говорю тебе, как в каком-то синема, человек просто идет себе по улице, а за ним идут следом и лупят его дубинкой по голове, и он просто покачнулся и рухнул, будто человек — это тряпичная кукла, или еще что-то. Гнусность и дерьмо — вся эта жизнь, Миха, это я тебе говорю. Отведите немедленно ребенка к соседям или еще куда-нибудь и быстрее возвращайтесь в Тель-Авив. Там осталась Лейеле — позаботиться о формальностях, но обе руки у нее — левые. Тысяча формальностей. Человек умер, а всяких формальностей — словно он отправляется за границу. Возьмите пальто и еще что-нибудь и поехали. Я пока сбегая в аптеку, тут же закажу такси и ... да, Миха, я очень тебя прошу, по крайней мере черный пиджак, если не весь костюм, и, пожалуйста, поторопитесь. Миха, какое несчастье на нас свалилось, какое несчастье, Миха.

Тетя Женя вышла. Я слышала звук ее суматошных шагов по лестнице и по плитам, устилавшим наш двор, когда она проходила под нашими окнами. Я все еще стояла там, где застал меня приход тети Жени: у гладильной доски с горячим утюгом. Михаэль развернулся и торопливо выбежал на балкон, словно собирался закричать ей вслед: «Тетя Женя! Тетя Женя!»

Через секунду он вернулся. Опустил жалюзи, без шума закрыл окна в комнате. Собрался замкнуть на ключ дверь из кухни. Проходя коридором, он издал сдавленный стон. Быть может, увидел свое отражение в зеркале рядом с вешалкой. Открыл шкаф, достал черный костюм, втянул пояс в брюки. «Мой отец умер», — сказал Михаэль шепотом, не глядя в мою сторону. Будто во время визита тетушки меня вовсе не было.

Я положила утюг под шкаф. Убрала гладильную доску в ванную. Пошла в комнату Яира. Оторвала его от игры. Написала записку, сунула ему в руку и отправила его к соседям, к семейству Каменицер. «Дед Иехезкиэль очень болен», — сказала я Яиру на выходе. С лестницы вернулись ко мне эти слова, будто искаженные эхом, потому что Яир возбужденно возвестил всем детям в доме: «Мой дедушка Залман очень болен, и они едут немедленно спасти его».

Михаэль спрятал кошелек во внутренний карман черного пиджака. Этот костюм принадлежал моему покойному отцу, и моя мать Малка подогнала его под размеры Михаэля. Дважды ошибался он, застегивая пуговицы. Надел шляпу. Схватил по ошибке свой потертый черный портфель, но тут же положил его на место сердитым, резким движением.

— Я уже готов ехать, — произнес он. — Кое-что из сказанного ею было, возможно, лишним, но она абсолютно права. В этом нет никакого смысла, если это так. Взять честного, порядочного человека, пожилого, не совсем здорового, и вдруг — швырнуть его на тротуар, посреди города, среди бела дня, будто он — опасный преступник. Это отвратительно, я говорю тебе, Хана, это жестоко ... Жестоко и отвратительно.

Когда Михаэль произносил слова «жестоко и отвратительно», его билась сильная дрожь. Словно ребенок пробудился ото сна зимней ночью, и вместо материнского лица глядит на него из темноты кто-то чужой, незнакомый.



XXVI

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПОХОРОН МИХАЭЛЬ воздерживался от бритья. Я не уверена, что он поступал так из уважения к религиозным традициям или во исполнение отцовского желания: Иехезкиэль обычно любил заявлять, что он ортодоксальный атеист. Может, ощущалось Михаэлем какое-то унижение в том, что в дни траура щеки его будут гладко выбриты. Мелочи могут жестоко унижать в те дни, когда страдания берут нас в осаду. Михаэль всегда терпеть не мог бриться. Черная щетина покрыла его лицо, придав ему выражение мрачное и гневное. Обросший бородой Михаэль виделся мне по-новому. Временами я воображала, что тело его сильнее, чем было оно в действительности. Тонкая шея. Вокруг губ пролегли морщинки, придавая выражению лица холодную насмешливость, вовсе не свойственную Михаэлю. Страдальческий взгляд, словно изнурен человек ка-

торжной работой. В дни траура мой муж походил на запыленного сажей рабочего в одной из маленьких мастерских на улице Агриппа.

Большую часть дня Михаэль проводил в кресле, завернувшись в светло-серый домашний халат, на ногах — стоптанные комнатные туфли. Когда я клала ему на колени газету, он читал ее сгорбившись. Если газета падала на пол, он не нагибался, чтобы поднять ее. Я не знала, погружен ли Михаэль в раздумья, или все мысли оставили его. Однажды он попросил, чтобы я налила ему рюмку коньяка. Я исполнила его просьбу, но он словно позабыл об этом. Поглядел на меня с удивлением, но не притронулся к рюмке. В другой раз, после трансляции последних известий, он заметил:

— Как странно ...

Он ничего не добавил. Я не спрашивала. Электрическая лампочка лила желтый свет.

Очень тихим был Михаэль во дни траура по отцу своему. Притихшим был и наш дом. Временами казалось, что все мы сидим в ожидании известия. Если Михаэль обращался ко мне или к сыну, то говорил мягко, будто это я осиротела. По ночам я страстно желала его. Эта жажда причиняла боль. За все годы нашего супружества я никогда не осознавала, сколь унижительной может быть эта зависимость.

Однажды вечером мой муж, одев очки, стоял, опираясь обеими руками о письменный стол. Голова его низко склонилась. Спина усталая. Зайдя в его рабочую комнату, я вдруг увидела Иехезкиэля Гонена в моем муже. Я содрогнулась. Склоненная голова, поникшие плечи, расслабленная поза — Михаэль словно вошел в образ своего отца. Я вспомнила день нашей свадьбы — церемонию, проходившую на крыше старого здания раввината, напротив книжного магазина «Стеймацкий». Тогда Михаэль настолько схож был со своим отцом, что я дважды перепутала их. Я не забыла.

Утренние часы проводил Михаэль на балконе, следя взглядом за резвящимися во дворе котами. Все словно замедлилось. Никогда я не видела Михаэля медлящим. Всегда он спешил, словно пытаюсь наверстать упущенное. Наши религиозные соседи приходили со словами утешения. Михаэль принимал их с холодной вежливостью. Пока те

бормотали свои соболезнования, испытующим взглядом из-под очков сверлил Михаэль семейство Каменицер или господина Глика, словно педант-учитель, вглядывающийся в разочаровавшего его ученика.

Госпожа Сарра Зельдин зашла, ступая с осторожностью. Она явилась с предложением: пусть мальчик поживет у нее в доме, пока не закончатся дни траура. Мрачная улыбка появилась на губах Михаэля.

— Зачем,— сказал он,— разве это я умер?

— Не дай Боже! Не приведи Господь! — в панике запричитала гостья. — Я только думала, что, быть может ...

— Быть может — что? — отрезал Михаэль с холодным гневом.

Пожилая воспитательница отступила в смущении. Она поспешила распрощаться. Уходя, просила у нас прощения, словно нанесла нам обиду.

Прибыл господин Кадишман, в черном твидовом костюме, с торжественным выражением лица. Он объявил нам, что при посредстве тети Леи удостоился знакомства с усопшим, хотя и поверхностного. Невзирая на партийные разногласия, существовавшие между ним и покойным, он глубоко уважал почившего, который, по его мнению, был разумнейшим из представителей Рабочего движения. Из заблуждающихся, но не из лицемеров. Господин Кадишман добавил:

— Скорблю о потере, о безвременно ушедшем.

— Весьма присорбно, мой господин,— согласился Михаэль холодно. Я выдавила из себя улыбку.

Муж подруги Михаэля из кибуца Тират Яар появился на пороге. Из деликатности он медлил войти. Ему хотелось бы выразить свои соболезнования. Просил передать Михаэлю, что он был здесь. То есть он прибыл от себя лично и от имени Лиоры.

На четвертый день, вечером, явились к нам профессор и два ассистента с кафедры геологии. Они уселись в гостиной на диване, напротив кресла, в котором расположился Михаэль. Сидели, выпрямив спины, сжав колени, считая абсолютно неприличным опереться на спинку дивана. Я сидела на стуле рядом с дверью. Михаэль просил меня, чтобы я подала кофе нашим гостям, а для него — чай без лимона, так как изжога досаждала ему. Затем Михаэль учинил им настоящий допрос, чтобы выяснить

результаты исследований, проведенных в Нахал Аругот, в Негеве. Когда один из молодых людей начал отвечать ему, Михаэль вдруг резким движением повернул лицо в сторону окна, будто сломалась в нем какая-то пружина. Плечи его дрожали. Я забеспокоилась: мне привиделось, что Михаэль смеется, не в силах побороть свой смех. Он повернулся к нам. Лицо его было безразличным и усталым. Он извинился. Настаивал на продолжении разговора. И пожалуйста, не упускайте подробностей: ему хочется все знать. Молодой человек, говоривший ранее, продолжал с того места, где он был прерван. Михаэль бросил в мою сторону мутный взгляд, будто распознал в моей внешности нечто такое, что прежде было скрыто от глаз его. Ночной ветер ударил ставней о стену дома. Казалось, что время предпочло воплотиться в вещественные формы: электрический свет, картины, мебель. Тени, отбрасываемые мебелью. Дрожащие линии, разделяющие свет и тень.

Профессор вмешался в речи ассистента и заметил со сдержанным воодушевлением:

— Те узловые вопросы, которые вы подготовили для нас в самом начале месяца, не разочаровали нас, Михаэль Гонен. Факты подтверждают ваши предположения. Посему — чувства наши смешанные: мы сожалеем по поводу результатов бурения, но вместе с тем рады, что вы оказались правы в своих предостережениях.

Затем профессор добавил хитроумное замечание о том, сколь неблагодарно занятие прикладными изысканиями по сравнению с теоретическими исследованиями, отметил важность творческой интуиции во всех видах исследований.

Михаэль заметил сухо:

— Вскоре наступит зима. Ночи становятся все длиннее. Длиннее и холоднее.

Молодые люди переглянулись. Затем бросили взгляд на профессора. Пожилой человек беспокойно закачал головой, давая понять молодым, что их намек он уловил вполне. Он встал и произнес с печалью:

— Мы все соболезуем вашему горю, Гонен, и все мы ждем вашего возвращения. Прошу вас, постарайтесь быть сильным и ... будьте сильным, Гонен.

Гости расстались с нами. Михаэль проводил их в коридор. Он торопливо помог профессору надеть его тяжелое пальто. Но делал он это как-то неловко и вынужден был просить прощения с бледной улыбкой на губах. С самого начала вечера и до этой минуты я была очарована Михаэлем. Поэтому его бледная улыбка причинила мне боль. Его вежливость — от внутреннего подбострастия, а не от искренней симпатии. Он последовал за гостями до самой двери. После их ухода уселся в своей рабочей комнате. Молчал. Лицо свое он обратил к темному окну, а ко мне — спину. Нарушив молчание, он подал голос, не повернув плеч:

— Еще стакан чаю, Хана, и, пожалуйста, выключи верхний свет. Когда отец просил нас назвать мальчика этим устаревшим именем, мы должны были исполнить его просьбу. Когда мне было десять, я заболел тяжелой ангиной. Ночи напролет дежурил отец у моей постели. Менял влажные компрессы. Вновь и вновь пел мне колыбельную, единственную песню, которую он знал. Пел он фальшивым деревянным голосом. Звучало это так:

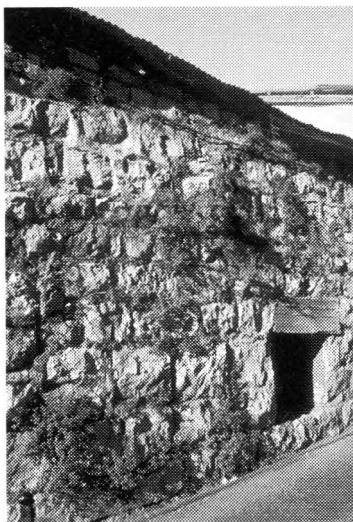
Спи, мой милый, люли-люли.
Солнце скрылось до утра.
Все вокруг давно уснули.
Отдохнуть пришла пора.

Рассказывал ли я, Хана, как тетя Женя старалась изо всех сил, чтобы отец вновь женился? Почти всякий раз, когда приходила она в наш дом, приводила с собой подругу или знакомую. То были стареющие сестры милосердия, новоприбывшие из Польши, худые, разведенные. Эти женщины поначалу набрасывались на меня — с объятиями, с поцелуями, с коробками конфет, с причмокиваниями губ. Отец обычно делал вид, что он вовсе не догадывается о намерениях тети Жени. Был вежлив, завязывал, к примеру, беседу о строгостях, введенных Верховным британским наместником Палестины.

Во время моей ангины меня лихорадило от высокой температуры, и всю ночь исходил я потом. Моя постель промокла. Каждые два часа отец с осторожностью менял постельное белье. Он старался не слишком тревожить меня, но в его движениях всегда было некое преувеличение. Я просыпался и плакал. Под утро отец сносил все простыни в ванную и еще затемно вывешивал выстиранное на за-

днем дворе ... Я просил чай без лимона, Хана, потому что изжога меня допекает ... Когда спал жар, отец принес мне шашки, которые он купил со скидкой в магазине у нашего соседа Глобермана. Он очень старался, проигрывая мне партию за партией. Чтобы доставить мне радость, Хана, он, бывало, хватался за голову обеими руками, переживая свое жуткое поражение, называл меня «маленький гений», «профессорская голова», «голова деда Залмана». Однажды он рассказал мне историю семейства Мендельсон. Как бы в шутку себя он сравнил с тем Мендельсоном, который был сыном великого Мендельсона и отцом другого, не менее великого Мендельсона. Он предсказывал мне блестящее будущее. Поил меня молоком с медом, без пенок, подавая мне чашку за чашкой. А если я упрявился и отказывался пить, отец пытался соблазнить меня чем-нибудь или подкупить. Он расточал комплименты моему здравому смыслу. И я выздоровел. Если тебе нетрудно, Хана, принеси, пожалуйста, мою трубку. Нет, нет, не эту, а ту, английскую. Самую маленькую. Вот так. Спасибо. Я-то выздоровел, но отец заразился от меня и переболел тяжелой ангиной. Три недели он пролежал в той больнице, где работала тетя Женя. Тетя Лея вызвалась заботиться обо мне во время болезни отца. Спустя два месяца мне рассказали, что отца спасло от смерти чудо, либо милость Божья. Сам отец любил подшучивать по этому поводу: существует, мол, изречение, что первыми умирают избранники народа, а он, по счастью, среди них не числится, он — один из рядовых. И я поклялся перед портретом Герцля, висевшим в большой комнате, что если отец вдруг умрет, то я тоже сделаю так, чтобы умереть, но не пойду в сиротский дом и с тетей Леей не останусь ... На следующей неделе, Хана, мы купим Яиру электрическую железную дорогу. Большую. Вроде той, что видел Яир в витрине обувного магазина «Фрейман и Бейн». Ведь Яир очень любит машины. Я отдам ему испортившийся будильник. Научу разбирать и собирать. Быть может, Яир будет инженером: ты заметила, как мальчик увлечен всякими механизмами, пружинами, моторами? Слышала ли ты о мальчишке четырех с половиной лет, которому можно объяснить в общих чертах устройство радиоприемника? Не думаю, что я — человек выдающийся, блестящий. Ты ведь знаешь, я не гений или

что-нибудь такое, что воображалось моему отцу. Ничего особенного, Хана. Но Яира ты обязана любить изо всех сил. Нет, я вовсе не утверждаю, что ты пренебрегаешь ребенком. Глупости. Но мне кажется, что ты не в восторге от него. А надо восторгаться, Хана. Иногда надо уметь уступать, даже преступая чувство меры. Я собираюсь просить тебя, чтобы ты начала ... ну, я не знаю, какими словами можно объяснить то, что у меня на душе. Ладно, оставим это. Однажды, несколько лет тому назад, мы с тобой сидели в каком-то кафе, я взглянул на твое лицо, посмотрел на себя и сказал мысленно: «Я не родился, чтобы быть принцем из сказки или рыцарем на белом коне, как говорится». А ты красивая, Хана. Очень красивая. Рассказывал ли я тебе, что сказал мне отец неделю назад в Холоне? Он сказал, что ты видишься ему поэтессой, хотя стихов ты не пишешь. Видишь ли, Хана, я и сам не знаю, почему я тебе все это рассказываю. А ты все молчишь. Один из нас всегда слушает и молчит. Почему я все это говорю сейчас? Не для того, чтобы обидеть или причинить боль. Видишь ли, нельзя было нам настаивать на имени «Яир». В конце концов имя не изменило бы нашего отношения к ребенку. Но мы задели что-то очень хрупкое. Я еще спрошу тебя, Хана, как случилось так, что ты выбрала именно меня из всех интересных мужчин, которых ты, несомненно, встречала. Но теперь поздно, я говорю слишком много, это тебя, возможно, удивляет. Пожалуйста, начни стелить постели, Хана, я тут же приду помочь тебе. Ляжем спать, Хана. Отец мой умер. Я и сам отец. Все эти ... порядки вокруг вдруг кажутся мне глупыми детскими играми. Когда-то мы играли на окраине города, там был пустырь на самой границе песков: выстраивались в длинный ряд, и первый, бросив мяч, бежал в самый конец, становился последним. Так продолжалось до тех пор, пока последний не становился первым, и так далее, я уже не помню, какова была цель игры. Я не помню, кто считался победителем. Не помню, были ли вообще победители, была ли какая-то идея, какие-то правила игры. Ты забыла погасить свет в кухне ...



XXVII

МИНОВАЛИ ДНИ ТРАУРА. СНОВА Я И МОЙ муж сидим по разным сторонам кухонного стола за утренним завтраком, спокойные и молчаливые, так что посторонний в заблуждении подумает, что царит тут полная идиллия. Я держу кофейник, Михаэль подставляет две чашки. Я наливаю кофе. Михаэль нарезает хлеб. Я кладу сахар в кофе и размешиваю его так долго, что голос Михаэля останавливает меня:

— Хватит, Хана, ты уже размешала. Ведь не собираешься ты пробурить чашку.

Я предпочитаю черный кофе. Михаэль обычно добавляет немного молока. Я считаю: четыре, пять, шесть капель добавил он в свою чашку.

Так мы и сидим; спина моя упирается в холодильник, а взгляд устремлен в промытый голубизной прямоугольник кухонного окна. Спина Михаэля обращена к окну,

а глаза его могут видеть пустые баночки, выставленные на холодильнике, кухонную дверь, часть коридора, переход в туалет и ванную.

Затем радио обволакивает нас приятной легкой утренней музыкой — ивритские песни: мне напоминают они о днях юности, а Михаэлю — что время идет и уже поздно. Он поднимается, не произнося ни слова, становится у раковины, моет свою чашку и тарелку. Выходит из кухни. В коридоре снимает комнатные туфли и переобувается. Надевает коричневый пиджак. Берет с вешалки шляпу. Шляпа — в руке, а черный потертый портфель — подмышкой. Возвращается на кухню, чтобы поцеловать меня в лоб и попрощаться со мной. Пожалуйста, не забудь в полдень купить керосин. Керосин почти весь вышел. Он для себя записывает в книжечку, что сегодня ему нужно зайти в отдел водоснабжения, чтобы рассчитаться с задолженностью за воду и проверить, не вкралась ли slučajем ошибка в предъявленный счет.

Михаэль уходит из дома, и слезы сдавили мне горло. Я спрашиваю себя: откуда взялось это горе? Откуда вдруг явилась эта проклятая тоска, чтобы замутишь голубое чистое утро?словно бухгалтер, перебирающий счета, роюсь я в груди обрывочных воспоминаний. Проверяю каждую цифру в длинной колонке. Где притаилась грубая ошибка? Может, это просто заблуждение? Где ожидаю я увидеть грубый просчет? Радио умолкло. Вдруг оно заговорило о недовольстве, охватившем деревни. Я подняла взгляд: восемь. Время не стоит на месте, но и не отпускает тебя. Я хватаю свою сумку. Безо всякой нужды тороплю Яира, хотя он давно готов. Его рука — в моей руке. Мы идем в детский сад Сарры Зельдин.

На улицах Иерусалима ясное утро. Прозрачные голоса. Старый извозчик уселся прямо на улице, мешая нам пройти, и распевает во все горло. Ученики религиозной школы для мальчиков «Тахкемони» в беретах, сдвинутых на ухо, стоят на противоположной стороне улицы, смеются, задирают старого извозчика. Извозчик грозит им, воздев руки, словно отвечает благословением на благословение, улыбается и продолжает свое громкое пенье. Мой сын начинает мне объяснять, что на маршруте 3 «б» работают автобусы марки «Форд» и «Фарго». Мотор у «Форда» намно-

го сильнее. «Фарго» слаб и беспомощен. В какой-то миг мальчику показалось, что я не слушаю его объяснений. Он стал меня проверять. Я готова к этому экзамену. Я слышала каждое слово, сынок. Ты — умница и хороший. Я слушаю.

Голубое прозрачное утро царило в Иерусалиме. Даже серые каменные стены лагеря «Шнеллер» изо всех сил стараются не выглядеть столь тяжеловесными. Зброшенные пустыри покрылись растительностью: куманика, терновник, вьюнок и прочие дикие травы, чьи названия мне неизвестны; их называют у нас просто «бурьян». На миг я останавливаюсь, холодная дрожь пробивает меня:

— Яир, заперла ли я перед выходом балконную дверь?

— Папа запер дверь на ключ еще вчера вечером. Ведь сегодня ее никто не открывал. Что с тобой сегодня, мама?

Мы проходим мимо тяжелых железных ворот лагеря «Шнеллер». Ни разу в жизни нога моя не ступала за эти мрачные стены. Когда я была маленькой, здесь размещались части британской армии, и бойницы щерились дулами пулеметов. Много лет тому назад эта крепость называлась «Сирийский приют для сирот». Это странное название каким-то образом угрожало мне.

Светловолосый часовой стоял у ворот, дышал на кончики пальцев, чтобы согреть их. Когда мы проходили мимо, молодой солдат опустил глаза, разглядывая мои ноги, промежуток между юбкой и короткими белыми носками. Я улыбнулась ему. Он вперил в меня бешеный взгляд: стыд, голод, страстное желание, извинение — все смешалось в его взгляде. Я посмотрела на часы: восемь пятнадцать. Восемь пятнадцать утра, голубой ясный день, а я уже устала, я хотела бы поспать. Только при условии, что сны оставят меня.

Каждый вторник, возвращаясь из университета, Михаэль задерживался в городе, чтобы в агентстве «Кагана» заказать билеты в кино на вечерний сеанс. Иорам, сын наших соседей Каменицеров, сидел с Яиром в наше отсутствие. Однажды, вернувшись из кино, я нашла записку, вло-

женную между страницами романа, лежавшего на тумбочке у моей постели. Иорам оставил новые стихи, чтобы я высказала свое мнение. В его стихах — девушка и юноша в сумерки гуляют в саду. Вдруг неизвестный всадник проскакал мимо, черный всадник на черном коне, и копьё его — черное пламя. И там, где промчался всадник, опустился черный покров на землю и на влюбленных. В скобках, в конце страницы, Иорам пояснил, что черный всадник — это ночь. Он явно не доверял мне.

На следующий день, встретив Иорама на лестнице, я сказала, что мне понравились его стихи, и, может быть, стоит отправить их в одну из молодежных газет. Иорам с силой сжал перила. Через секунду он поднял на меня глаза, переполненные страхом, с губ его сорвался натуженный бледный смешок:

— Все это ложь, госпожа Гонен, — сказал юноша сдавленным голосом.

— ТЕПЕРЬ ты солгал, — улыбнулась я.

Он развернулся и помчался вверх по лестнице, побледневший, испуганно бормочущий извинения, будто случайно толкнул меня на бегу.

Канун субботы. Вечер в Иерусалиме. На вершине холма в Ромеме высокая водонапорная башня залита лучами заката. Сквозь листву деревьев пробиваются снопы света, будто весь город объят пламенем. Стелющийся низко туман перемещается на восток, его бледные пальцы скользят по каменным стенам, по железным оградкам. Он послан для умиротворения. Что-то растворено в этой тишине. Скрытое томление бродит в городе. Огромные скалы сбрасывают тепло, отдаваясь прохладным прикосновениям тумана. Легкий ветер проносится по дворам, вороша обрывки бумаг, взметая их и оставляя в покое, не утолив своей жажды. Соседи в праздничной одежде идут молиться в синагоги. Легкий шум далекого автомобиля смешивается с шорохом сосен. Остановись, водитель, стойка, оберни ко мне свое лицо, дай разглядеть тебя.

У нас в доме — белая скатерть на столе. Букет желтых хризантем в вазе. Бутылка красного вина. Михаэль режет субботний хлеб. Яир спел три субботние песни, которые выучил в детском саду. Я подаю печеную рыбу. Мы не за-

жигаем субботние свечи, поскольку Михаэль расценивает это как лицемерие со стороны тех, кто не следует другим религиозным традициям.

Михаэль рассказывает Яиру о беспорядках 1936 года. Мальчик жадно впитывает каждое слово. Задает толковые вопросы, завершая их словами: «Я закончил». Весь он — концентрированное внимание. Я тоже прислушиваюсь к голосу мужа. А еще — я вижу прелестную девочку в голубом пальто, и эта девочка пытается позвать меня оттуда, с улицы, поэтому она бьет по оконному стеклу слабыми кулачками. В лице ее — тревога. Она близка к отчаянию. Губы ее что-то произносят и повторяют вновь, но я не могу уловить — что, а она уже перестала говорить, еще я вижу лицо ее — и вдруг — только стекло. Покойный отец мой Иосиф благословлял хлеб и вино в субботний вечер. И субботние свечи зажигались в нашем доме. Отец не выяснял, сколь истинны основы религии. И посему он уважал их. Но когда Иммануэль, брат мой, присоединился к левому движению молодежи, в нашем доме прекратились все субботние ритуалы. Соблюдение традиций и прежде было довольно приблизительным. Отец — человек весьма нерешительный.

В «Немецкой колонии», жилом квартале на юге Иерусалима, усталый железнодорожный состав взбирается на вершину холма. Паровоз натужно воеет и отдувается. Словно в обмороке, падает он в объятия пустынных перронов. Остатки пара исторгнуты с горьким свистом. В последний раз взъярился паровоз против тишины. Но тишина сильнее его. Посему он смирился, сбавил тон, успокоился. Субботняя ночь. Смутное ожидание. Даже птицы молчат. Может, у ворот Иерусалима стоит она сейчас. Среди садов деревни Силоам или за Горой Дурного Совета плывет эта нежная ночь. Желтое электричество струится по разветвленной сети, достигая и деревни Дир Ясин, и здания «Дженерали». По трубам, подгоняемая напором, бежит вода, которую качают большие насосы из далеких источников в приморской низменности. Только коснись крана — и врывается поток, прозрачный и холодный. Субботняя ночь. Тих Иерусалим. Ничего не сбылось.

Ожидание, истончаясь, превращается в прозрачную поросль кристаллов. Город погружается во тьму.

— Шабат шалом, — говорю я издалека.

Муж и сын мой смеются. Михаэль предпочел сказать:

— Как ты сегодня торжественна, Хана. И как к лицу тебе новое зеленое платье.

В начале сентября госпожа Глик, наша истеричная соседка с третьего этажа, была помещена в закрытую клинику. Приступы накатывались на нее с нарастающей частотой. В перерывах между приступами она обычно бродила по лестницам, по двору, по улицам, и лицо ее казалось непроницаемым. Это была полнотелая женщина, наделенная той дикой, сочной красотой, какой наделены иногда бездетные женщины, завершающие четвертый десяток своей жизни. Одета она всегда небрежно, пуговицы расстегнуты, будто сейчас только встала она с постели. Однажды я поздоровалась с ней, ее лицо покраснело, она глянула на меня со сдерживаемым гневом. Однажды во дворе она напала на Иорама, мальчика тихого, отвесила ему две пощечины, полоснула ногтями по его рубашке, обзывая его: «Развратник! Соглядатай! Грязные глаза!»

В начале сентября, в канун субботы, госпожа Глик схватила два подсвечника с зажженными в них субботними свечами и швырнула их в своего мужа. Господин Глик нашел убежище в нашей квартире. Он рухнул в кресло, и плечи его сотрясались от рыданий. Михаэль погасил свою трубку, выключил радио и вышел в аптеку, чтобы оттуда вызвать помощь. Через час появились санитары в белоснежных комбинезонах. Поддерживая больную с обеих сторон, они с осторожностью влекли ее к карете «скорой помощи». Словно несомая в объятиях двух своих возлюбленных, больная спускалась по лестнице, не переставая напевать веселую песню на идиш. Все жильцы вышли из своих квартир и молчаливо замерли у дверей. Иорам Каменицер подошел ко мне и стал рядом. Он произносил шепотом:

— Госпожа Гонен, госпожа Гонен ... — и лицо его было белее снега. Я протянула руку, чтобы обнять его за плечи. Но с полдороги рука моя вернулась.

— Сегодня суббота, сегодня суббота,— вопила госпожа Глик в дверях кареты «скорой помощи». Муж ее стоял перед ней и умолял плачущим голосом:

— Ничего, моя Доба, это все чепуха, все пройдет, все будет хорошо.

Маленькое тело господина Глика было облачено в мятые субботные одежды. Редкие его усики подрагивали, будто у них — своя отдельная жизнь.

До того, как тронулась карета «скорой помощи», господину Глику было предложено подписать какой-то документ. Это была утомительная, подробная анкета. В свете автомобильных фар Михаэль читал ему параграф за параграфом, подписав в двух местах вместо господина Глика, чтобы тот не нарушил заповеди Субботы. Затем, поддерживая соседа под локоть, Михаэль привел его к нам выпить кофе — после того, как все разошлись и улица опустела.

Может, поэтому господин Глик стал нашим частым гостем. От соседей он узнал, что доктор Гонен собирает марки. И вот, как приятно, что у него скопилось множество не нужных ему марок, которые он с радостью передаст доктору Гонену в подарок, ничего не требуя взамен. Простите, господин еще не обладает докторской степенью? Что ж, сыны Израиля все равны перед Всевышним, кроме тех, кого Всемогуший не удостоил своей милостью. Доктор, сержант, артист — все мы весьма похожи друг на друга, и различия совсем незначительны. Такие-то дела: брат и сестра имеются у моей несчастной Добы, в Антверпене и Иоханнесбурге, они пишут часто, оклеивая конверты множеством красивых марок. Бог не дал ему детей, и поэтому в марках нет у него никакой нужды. Безвозмездно, в подарок передает он их в руки доктора Гонена. С другой стороны, он слагает к нашим ногам свою просьбу — не разрешим ли мы ему время от времени посещать нашу квартиру, чтобы он смог заглядывать в Еврейскую Энциклопедию. Дело в том, что он жаждет знаний и намерен перечитать тома Еврейской Энциклопедии. Не в один день, разумеется. В каждое посещение — несколько страниц. Он искренне заверяет, что не

станет нас беспокоить, шуметь, заносить в дом грязь — он будет тщательно вытирать ноги у входа.

Таким образом наш сосед стал частым гостем в доме. Кроме марок, он передал Михаэлю подшивку приложений к газете религиозных кругов «Хацофе», поскольку там печаталась страничка, посвященная науке. Мне же будет особая скидка в магазине «Галантерея Глик», что на улице Давид Елин. Замки-«молнии», медные карнизы для занавесей, пуговицы, пряжки, нитки для вышивания — все это он передаст мне в качестве подарка. Я просто не знала, как отказаться от его подношений.

Всю свою жизнь господин Глик истово исполнял все предписания нашей веры. А вот теперь, после несчастья с госпожой Добой, одолели его всякого рода сомнения. Тяжкие сомнения. Он жаждет расширить свое образование, читая энциклопедию. Он уже добрался до статьи «Атлас», узнав, что «атлас» — это не только блестящая шелковая ткань, но и гигант из греческой мифологии, на плечах которого покоится мир. Множество новых мыслей появилось у господина Глика в последнее время. И кого он должен благодарить? Нас, щедрое семейство Гонен, которое было столь добрым к нему. Его желание — отплатить добром за добро, и он просто не знает, что сделает, если мы не сообразовали бы принять гигантское лото «Звери», которое он купил для нашего сына Яира. И мы сообразовали бы принять.

Вот друзья, которые навещали нас.

Моя лучшая подруга Хадасса с мужем, которого звали Аба. Аба — отличный чиновник в Министерстве торговли и промышленности, а Хадасса — телефонистка в том же министерстве. Они собираются скопить подходящую сумму денег, купить квартиру в квартале Рехавия, и лишь после этого произвести на свет ребенка. Они сообщают Михаэлю разные политические новости, которых не сообщают газеты. Мы с Хадассой предаемся воспоминаниям о школьных днях и о периоде Британского мандата.

Вежливые ассистенты и младшие преподаватели с кафедры геологии, усевшись, обменивались с Михаэлем шутками по поводу того, что никто в университете не может продвинуться, пока не умрет кто-нибудь из стариков.

Следовало бы издать соответствующие законы, чтобы и у молодых были возможности проявить себя в соответствии со способностями.

Время от времени приезжала к нам Лиора из кибуца Тират Яар, иногда одна, иногда в сопровождении мужа и дочек. Они поднялись в Иерусалим за покупками, отвезти мороженого, а заодно убедиться, что мы еще живы. Какие красивые занавески, и кухня блещет чистотой. Можно ли им заглянуть в ванную и уборную? Кибуц строит новые жилые дома, они хотели бы прикинуть, сравнить. И от имени совета по культуре они приглашают Михаэля прочитать в субботний вечер лекцию о геологическом строении Иудейских гор. Они восхищаются завидной долей ученого: рутина никогда не проникает в научную работу, так полагает Лиора. Она все еще помнит Михаэля времен молодежного движения: сосредоточенный, ответственный парень. И вот пройдет совсем немного времени, и Михаэль станет гордостью класса. На лекцию в Тират Яар Михаэль может привезти всю свою семью, считает Лиора. Приглашение коллективное. Ведь у нас так много общих воспоминаний.

Раз в десять дней нас навещает господин Кадишман. Он из тех семейств, что давно обосновались в Иерусалиме, владелец широко известной фирмы обуви, старинный друг тети Леи. Именно он перед свадьбой выяснял, из какой семьи я происхожу, и заверил тетюшек, еще до того, как они меня увидели, что я — из приличной семьи.

Появляясь у нас, он снимал в коридоре пальто и улыбался Михаэлю и мне так, словно он принес в наш дом дыхание большого мира, словно сидим мы со времени его прошлого визита в ожидании визита нынешнего. Его любимый напиток — какао. С Михаэлем он дискутирует о правительстве. Господин Кадишман — один из активистов иерусалимского отделения правой партии Национального Освобождения. Поводы для разногласий между ним и Михаэлем всегда одни и те же: убийство политического лидера Арлозорова, «сезон» — период антибританского подполья, потопление правительством корабля «Альталена» с грузом оружия. Я не понимаю, что находит Михаэль в отношениях с господином Кадишманом. Быть может, взаимная страсть к трубкам или шахматы, а быть

может, нежелание Михаэля отвергнуть человека одинокого. К сыну нашему господин Кадишман обычно обращался с шутливыми стихами, обыгрывая ивритские значения его имени Яир — «тот, кто осветит», и фамилии Гонен — «защищающий»:

Яир Гонен — это свет и щит.
Он наш народ озарит и защитит.

Или:

Всеобщую дрему разгонит Гонен,
Героев возглавит у вражеских стен.

Я разливаю чай, кофе и какао. Качу сервировочный столик из кухни в гостиную. Гостиная плавает в облаках табачного дыма. Господин Глик, мой муж, господин Кадишман восседают вокруг стола, как юноши на именинах. Господин Глик глянул в мою сторону искоса, и глаза его заморгали часто, будто опасался, что я собираюсь нанести ему тяжкую обиду. А другие двое склонились над шахматной доской. Я режу пирог, раскладываю куски по тарелкам. Гости воздают должное хозяйке. У меня на лице — вежливая улыбка, словно я к этому непричастна.

Живая беседа велась примерно так:

— Когда-то говорили, что уйдут англичане — и наступит Избавление, — начинал господин Глик с неким колебанием. — Но англичане уже ушли, а Избавление все еще задерживается.

Господин Кадишман:

— Потому что государство наше попало в руки людей маленьких. Ваш Альтерман как-то писал, что Дон Кихот сражается мужественно, но всегда побеждает Санчо.

Мой муж:

— Не имеет смысла все приписывать только доброй или злой воле. В политике действуют объективные силы, есть и объективные процессы.

Господин Глик:

— Вместо того, чтобы стать светочем для всех народов, мы уподобились всем остальным народам, и кто знает, подобны ли мы лучшим из них, или наиболее испорченным.

Господин Кадишман:

— Все потому, что мелкие служки управляют Третьим Храмом. Счетоводишки из кибуцов вместо Царя-Мессии. Быть может, когда подрастут сверстники нашего любимого Яира Гонена, они принесут нашему народу самоуважение, и народ расправит плечи.

— ... И я в рассеянности, когда руки мои подталкивают сахарницу одному из гостей, иногда роняю фразу:

— Нельзя поддаваться духу времени.

А иногда я заявляю:

— Мы должны шагать в ногу со временем.

Или:

— У всякой медали есть две стороны.

Я говорю все это лишь для того, чтобы не молчать весь вечер, чтобы не выглядеть хозяйкой, пренебрегающей гостями. Но вспыхивает во мне боль: как я попала в это изгнание? «Наутилус». «Дракон». Острова дальних архипелагов. О, приди, приди, Рахамим Рахамимов, мой прекрасный водитель такси из Бухарского квартала. Пусть клаксон твой издаст трубные звуки. Госпожа Ивонн Азулай готова к поездке. Она уже вышла и ждет. Даже платье ей не нужно переменить. Она полностью готова. Сейчас.



XXVIII

ДНИ ПОХОДЯТ ДРУГ НА ДРУГА. Я НИЧЕГО НЕ забываю. Не предам ни одной песчинки в когти холодного времени. Я ненавижу его. Подобно кушетке, креслам, занавесям, дни — всего лишь легкие одноцветные тени. Красивая, умная девочка в голубом пальто — женщина с раздувшимися венами, работающая воспитательницей в детском саду, а между ними — стеклянная перегородка, теряющая свою прозрачность, как бы ни старались ее отполировать. Ивонн Азулай покинута. Дешевый хлыщ водил ее за нос.

Однажды моя лучшая подруга Хадасса рассказала о нашем директоре гимназии, который заболел раком. Когда врач сообщил ему диагноз, он взорвался гневными претензиями: «Я всегда аккуратно платил членские взносы, положенный мне в связи с болезнью отпуск, я, невзирая на свой почтенный возраст, посвящал добровольной рабо-

те в системе здравоохранения. Все годы регулярно занимался физкультурой. Придерживался диеты. За всю свою жизнь не выкурил ни одной сигареты. Написал книгу «Основы грамматики иврита».

Жалкие претензии. Но и хитрость — жалкая и гнусная. Я не предъявляю чрезмерных претензий. Стекло должно было оставаться прозрачным. Не более того.

Яир все растет. В следующем году пошлем его в школу. Яир — ребенок, который никогда не жалуется на скуку в этом мире. Михаэль сказал:

— Это — самостоятельный ребенок. Занят собой и довольствуется самим собой.

В песочнице, что во дворе, мы с Яиром заняты рытьем пещер. Моя рука пробирается в песке навстречу маленькой ручке Яира, пока на «сбойке» наши руки не встречаются под толщей песка. Тогда поднимает он свою умную головку и негромко произносит:

— Мы встретились.

Однажды задал мне вопрос:

— Мама, если бы, к примеру, я был Аароном, а Аарон мною. Точь-в-точь. Как бы ты знала, какого мальчика надо любить?

Час, два часа готов Яир играть у себя в комнате, не произнося ни звука. Так, что эта тишина вызывает у меня тревогу. В жуткой панике я несусь в его комнату. Несчастье! Его ударило током! Но он обращает ко мне свое спокойное лицо и простодушно спрашивает

— Что случилось, мама?

Чистенький, осторожный мальчик. Уравновешенный ребенок. Иногда он возвращается с улицы избитый, в ссадинах. Отказывается объяснять что-либо. Глаза его кажутся потухшими. Наконец, после упрасиваний и угроз, он отвечает так:

— Была драка. Ребята разозлились. Я тоже. Мне это все равно, мне не больно. Иногда можно и разозлиться.

Внешне походил он на Иммануэля, моего брата: крепкие плечи, тяжелая голова, сонные движения. Но нет в нем ничего от открытой, бьющей через край веселости брата. Когда я целую его, он весь съеживается, будто принуждает себя все снести и стерпеть в молчании. Когда же

я рассказываю ему нечто такое, что должно его рассмешить, он устремляет на меня испытующий взгляд. Со стороны. Внимательный. Понимающий. Серьезный. Словно перебирает все факторы, побудившие меня выбрать именно эту историю. Предметы занимают его в большей степени, чем слова и люди. Пружина. Кран. Винты. Клапаны. Ключи.

Дни проходят друг на друга. Михаэль уходит на работу и возвращается в три часа пополудни. Тетя Женя купила ему новый портфель, поскольку старый, подаренный отцом на свадьбу, окончательно развалился. Морщины разбегаются по нижней части его лица. Они придают ему выражение холодной, горькой иронии, от которой Михаэль весьма далек. Докторская диссертация продвигается медленно, однако работа не заброшена. Каждый вечер Михаэль посвящает ей два часа — от девятичасовой сводки известий до одиннадцатичасовой. В те вечера, когда гости нас не посещают и по радио нет интересной программы, я прошу Михаэля, чтобы он прочел мне вслух что-нибудь из своей работы. Спокойствие его размеренного голоса. Свет его настольной лампы. Его очки. Спокойная поза, когда он, сидя в кресле, читает о взрыве вулканических сил. О кристаллизации прозрачных оболочек. Из снов и мечтаний моих явились слова эти, и в мои сны и мечтания они возвратятся. Мой муж сдержан и ровен. Иногда я вспоминаю котенка, серого с белым, которого мы называли Пушком. Смешной прыжок этого котенка, пытавшегося поймать бабочку, усевшуюся на потолке.

Со здоровьем нашим случаются мелкие неполадки. Хотя Михаэль ни разу не болел с тех пор, как минуло ему четырнадцать. Да и я, кроме легких простуд, не болела. Но часто донимала Михаэля изжога. Доктор Урбах запретил ему есть жареное. Я страдаю от весьма болезненных спазмов в горле: не однажды у меня пропадал голос на несколько часов. Иногда случаются между нами легкие ссоры, завершающиеся тихим примирением. Поначалу предъявляются взаимные обвинения, но уже через минуту, спохватившись, каждый обвиняет только самого себя. Улыбаемся друг другу, словно два чужих человека, слу-

чайно столкнувшиеся в темном парадном: смущенные, но чрезвычайно вежливые.

Мы купили газовую плиту. А следующим летом появится у нас стиральная машина. Мы уже заказали ее в фирме и внесли первый взнос. Благодаря стараниям господина Кадишмана мы с Михаэлем получили существенную скидку. Комнату Яира мы выкрасили голубой краской. У Михаэля в рабочей комнате, которую он устроил на балконе, прибавились книжные полки. Воспользовавшись случаем, мы и в комнате Яира установили две книжные полки.

Тетя Женя приехала, чтобы вместе с нами отпраздновать Новый год. Она гостила у нас четыре дня, поскольку за праздником следовала суббота. Она постарела и стала еще более непримиримой. С годами на лице ее запечатлелось такое выражение, словно вот-вот она разразится горькими рыданиями. Она много курила, несмотря на сильные боли в сердце. Тяжела судьба врача в жаркой стране, в стране, где нервы у людей напряжены до предела.

Я и Михаэль гуляли с тетей Женей на Горе Герцля и на горе Сионской. Побывали и на холме, где заложен новый корпус Еврейского университета в Иерусалиме. Тетя Женя привезла с собой из Тель-Авива польский роман в коричневом переплете, который она читала в постели до самого рассвета.

— Почему вы не спите, тетя Женя? Воспользуйтесь отпуском и отдохните как следует.

— Но ведь и ты не спишь, Ханка. В моем возрасте это уже простительно. Но в твоём — нет.

— Я могу приготовить вам чай с мятой. Он успокаивает и усыпляет.

— Но сон меня не успокаивает. Спасибо тебе.

На исходе праздника тетя Женя спросила:

— Коль скоро вы уже решили не переезжать с этой отвратительной квартиры, почему бы вам не произвести на свет еще одного ребенка?

Михаэль на миг задумался. Затем произнес с улыбкой:

— Думали, что, быть может, тогда, когда я закончу писать свою докторскую ...

Я сказала:

— Нет. Мы все еще не отказались от мысли сменить квартиру. У нас будет новая, красивая квартира. И за границу мы поедем.

Ответила тетя Женя с прорвавшейся глубокой грустью:

— Увы, время уходит, время течет, а вы живете, словно годы стоят и вас дожидаются. Но годы-то не стоят и не ждут никого.

Через две недели, в праздник Суккот, мне исполнилось двадцать пять. Я на четыре года моложе мужа. Когда Михаэлю исполнится семьдесят, я буду шестидесятишестилетней женщиной. По случаю дня рождения муж купил мне в подарок проигрыватель и три пластинки классической музыки: Бах, Бетховен, Шуберт. Это — первый вклад в нашу будущую коллекцию пластинок. Михаэль сказал, что, если я начну собирать пластинки, мне будет легче. Он прочитал в какой-то книге, что музыка успокаивает. Да и само коллекционирование действует успокаивающе. Вот он, к примеру, собирает трубки и коллекционирует марки для Яира. Мне хотелось спросить его, не пытается ли он обрести успокоение. Но улыбку его я не хотела видеть. Потому и не спросила.

Иорам Каменицер слышал от Яира, что близится мой день рождения. Придя к нам за гладильной доской, которую просила одолжить его мать, он вдруг неуклюже протянул мне пакет, обернутый коричневой бумагой. Я развернула обертку: стихи Яакова Фихмана. Я еще произносила слова благодарности, а уж юноша рванул вверх по лестнице. Гладильную доску вернула на следующий день младшая сестра Иорама.

Накануне праздника Суккот я отправилась в парикмахерскую и срезала волосы. Мне сделали прическу «под мальчика». Михаэль сказал:

— Что в тебя вселилось, Хана? Не могу понять, что в тебя вселилось.

В подарок на день рождения моя мать прислала мне посылку из кибуца Ноф Гарим, а в ней — две зеленые ска-терти. На каждой из них мама вышила фиолетовый букет цикламенов. Нежнейшая вышивка.

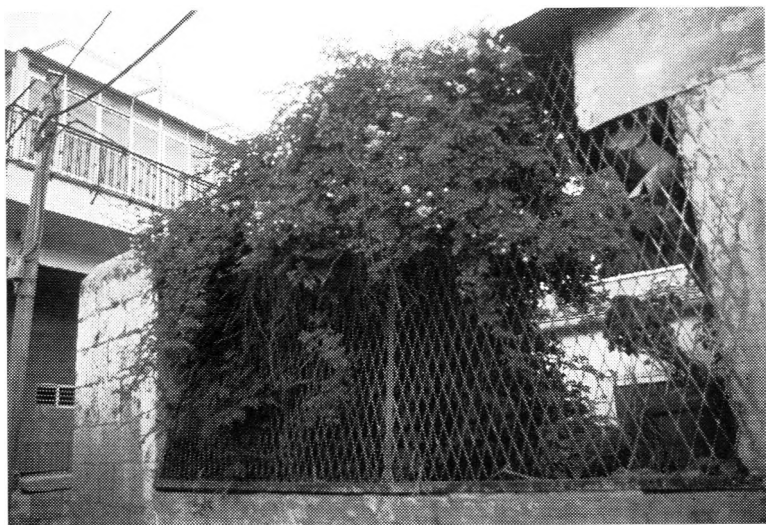
Побывали мы в праздник и в зоопарке, где собраны животные, упоминаемые в Библии.

«Библейский зоопарк» всего лишь в пяти минутах ходьбы от нашего дома, но это — совсем иной материк. Зоопарк расположен в роще, на склоне каменистого холма. У подножия холма — пустынная земля. Руслу пересыхающих речушек разбегаются замысловатыми петлями. Ветер царствует в кронах сосен. Я видела темных птиц, взмывающих в пустынную голубизну. Провожая их взглядом. На миг рухнули все пространственные представления: казалось, что не птицы взлетают в небо, а я стремглав падаю, падаю камнем. И пожилой служитель коснулся моего плеча, как бы увещевая: «Сюда, моя госпожа, сюда».

Михаэль объяснял сыну разницу между животными, ведущими ночной и дневной образ жизни. Слова он употреблял ясные и четкие, почти без прилагательных. Яир задавал вопросы. Михаэль отвечал. Смысл я упустила, но не упустила голосов: ни голоса ветра, ни криков обезьян в вольерах. В ослепительном свете дня обезьяны были поглощены своими похотливыми играми. Видя это, я не смогла остаться равнодушной. Это вызвало во мне отвратительную радость, подобную той, что иногда охватывает меня, когда во сне я терплю унижения от чужих людей. Старый человек в сером пальто с поднятым воротником стоял у решетки обезьянника. Обеими худыми руками опирался он на резную трость. В летнем платье, молодая и стройная, я умышленно прохожу между ним и решеткой обезьянника. Человек этот все глядит да глядит, словно я — прозрачна, и случка обезьян открывается ему сквозь мою плоть. Куда вы смотрите, мой господин? А почему госпожа моя спрашивает? Он обижает меня, мой господин. Госпожа моя весьма чувствительна. Господин мой и впрямь собирается уезжать? Я еду домой, госпожа моя. Где же дом ваш, господин мой? Почему она допрашивает, нет у нее такого права. У меня — свое место, а у нее — свое. Какое ей дело? Кто я в глазах ее? Да

простит мне господин мой. Я ошиблась, заподозрив вас в нечестных намерениях. Госпожа устала, она говорит сама с собой, я ни слова не понимаю, словно разговаривает больная женщина. Издалека доносится музыка, господин мой, это играет далекий оркестр? Я не могу сказать, что там — за деревьями, госпожа моя, трудно положиться на женщину, незнакомую и больную. Я слышу мелодию, мой господин. Это всё ухищрения, дочь моя, это лишь обезьяны вопят от удовольствия, это их гнусные голоса. Нет, я отказываюсь поверить господину, он вводит меня в заблуждение. Процессия движется нынче там, за деревьями, среди домов, по улице Царей Израилевых. Там идет молодежь, идет и поет, там крепкие полицейские на горячих конях, там и военный оркестр в белоснежной форме с золотыми аксельбантами. Господин мой вводит меня в заблуждение, он намерен подвергнуть меня изоляции, пока я не стану совсем опустошенной. Я все еще никому не принадлежу и ни на кого не похожа, и не позволю господину моему соблазнить меня витийством.

Не худые ли серые волки, стуча своими мягкими лапами, все кружат у ограды клеток. Челюсти их угрозы, а носы влажны, в свалявшейся шерсти их — грязь и слюна. Они в нас, они касаются нас, нас обдают они своей пеной, сейчас, именно сейчас.



XXIX

ДНИ ПОХОДЯТ ДРУГ НА ДРУГА. БЛИЗИТСЯ осень. После полудня в окно с западной стороны хлещет солнце. Выписывает световые узоры на ковре, на обивке кресел. С каждым всплеском меняется кружево световых узоров в кронах деревьев, что стоят во дворе. Движение это нервное, запутанное. Листва фигового дерева вновь и вновь пылает каждый вечер. Голоса детей, играющих во дворе, — словно отзвук какой-то отдаленной первозданности. Грядет осень. Помню, когда я была девочкой, мой отец сказал однажды, что осенью люди становятся спокойнее и мудрее.

Быть спокойной и мудрой — какая скука.

Однажды вечером пришла к нам в дом Ярдена, подруга Михаэля еще со студенческих лет. Принесла она с собой бурную веселость. Учиться они начали с мужем вместе, и вот — трудолюбивый Михаэль вознесся высоко,

а она, стыдно сказать, все еще топчется на месте с какой-то несчастной дипломной работой.

Крутобедрая, высокая Ярдена, в узкой, короткой юбке, и глаза у нее зеленые, а волосы — золотые, густые. Она пришла просить помощи у Михаэля: трудно ей написать работу. Уже с первого дня ее знакомства с Михаэлем она распознала его мощный интеллект. Он должен спасти ее. Яир получил у нее ласкательную кличку «выродок», а меня она стала называть «милочкой». «Милочка, ты не станешь заводиться, если я украду твоего мужика на каких-то полчаса? Или он тут же объяснит мне суть Девиса, или я сброшусь с крыши. С ума сойти».

Говоря это, она прикоснулась к его волосам, будто он — ее собственность. Большой белой рукой она коснулась его волос. Пальцы ее с острыми ногтями украшены двумя огромными перстнями.

Я потемнела лицом. И тут же устыдилась. Я хотела ответить Ярдене в ее же духе:

— Возьми его. Даром. В подарок. Вместе с вашим Девисом впридачу.

— Милочка, — ответила Ярдена, и горькая усмешка пробежала по ее лицу, — не говори так, ведь потом сильно пожалеешь. Ты вовсе не выглядишь такой героиней, как пытаешься казаться.

Михаэль предпочел улыбнуться. В улыбке дрогнули кончики губ. Он раскурил трубку и пригласил Ярдenu в свою рабочую комнату. Полчаса или более того просидели они у письменного стола. Голос его глубок и суров. Она же беспрерывно пытается подавить легкий смешок. И словно плывущими в облаках табачного дыма увиделись мне их головы, отливающая золотом и серая, когда вкатила я к ним в комнату столик на колесиках, чтобы угостить их кофе с печеньем.

— Милочка, — сказала Ярдена, — я надеюсь, ты не расстроилась, что я похитила у тебя молодого гения? На твоём месте я бы его ела живьем. Но ты, милочка, вовсе не кажешься мне обжорой. Нет, не стоит меня бояться. Я — собачка, которая много лает, но совсем не кусает. А теперь извини нас, чтобы мы могли вовремя закончить наши занятия, и я верну тебе твоего наивного умного козленка. Выродок этот, ваш парнишка, стоит себе там ти-

хонько в сторонке, глядит на меня, как настоящий маленький мужчина. Взгляд у него, как у отца: робкий, но умненький. Убери от меня этого ребенка, пока я от него без ума не осталась.

Я ушла на кухню, где на окнах — голубые с цветами занавески. На балконе, примыкавшем к кухне, висело большое корыто. В этом корыте я стираю белье, пока не появится у нас стиральная машина — следующим летом. На перилах — вазон с увядшим цветком и закопченная керосиновая лампа. В Иерусалиме часты перебои с электричеством. «Зачем я срезала свои волосы?» — спрашиваю я себя дрожащими губами. Высока и победительна Ярдена, и смех ее — теплый и раскатистый. Я иду готовить ужин.

Второпях я спускаюсь к зеленщику, выходцу из Персии Элиягу Мошия. Он уже собирался закрываться. Если бы я опоздала на две минуты, то уже не застала бы его. Так сказал зеленщик веселым голосом. Я купила помидоры, огурцы, петрушку, зеленый и красный перец. Зеленщик все смеялся надо мной, потому что в движениях моих — растерянность. Я схватила корзину двумя руками и побежала домой. На секунду я замерла в жуткой панике: нет ключа. Я забыла взять ключ.

Ну и что? Михаэль и гостя — дома. Дверь не заперта. Кроме того, у Каменицеров, наших соседей, оставлен ключ от нашей квартиры. На всякий непредвиденный случай.

Я зря торопилась. Ярдена уже была на лестнице, вновь и вновь прощаясь с моим мужем. Ее точеная нога стояла на решетчатых перилах. Смешанный запах духов и пота заполнил лестничную клетку. Это был приятный острый запах. Я задыхалась от бега, да и от пережитой паники. Ярдена сказала:

— За полчаса твой застенчивый муж решил полугодовую проблему. Я и не знаю, как благодарить. Вас обоих.

Сказала и вдруг протянула два своих холеных пальца, чтобы снять с моего подбородка то ли волос, то ли чешуйку кожи.

Михаэль снял очки. Спокойная улыбка осветила его лицо. Я вдруг схватила руку своего мужа и стояла, опираясь на нее. Ярдена засмеялась и ушла. Мы вошли в дом. Михаэль включил радио. Я приготовила салат из овощей.

Дожди пока припоздали. Жгучий холод заполонил город. Весь день горел у нас в квартире электрообогреватель. Вновь влажным покрывалом затянуты оконные стекла. Сын мой Яир пальчиком рисует узоры на стекле. Иногда я стою у него за спиной, гляжу на сплетение линий, не пытаюсь расшифровать их.

Однажды в канун субботы Михаэль забрался по приставной лестнице, снял с антресолей зимнюю одежду и убрал туда летнюю. Мне опротивело все, что носила я в минувшем году. Мое платье с высокой линией талии теперь казалось мне совсем старушечьим.

Прошла суббота, и я отправилась в город за покупками. словно в лихорадке, я покупала да покупала. В одно утро я истратила месячную зарплату. Зеленое пальто купила я себе и меховые сапожки отличной выделки, и пару замшевых туфель, и три разных платья с длинными рукавами, и спортивную куртку с застежкой «молния». Яиру я купила на зиму матросский костюм из английской шерсти.

А затем, идя по улице Яффо, я поравнялась с магазином электротоваров, когда-то принадлежавшим моему отцу. Я вошла, положила все свои свертки у двери. Бледная, стояла я перед незнакомым человеком, который спросил меня, чего я желаю. В голосе его — терпение, и я была благодарна ему за это. Вынужденный повторить свой вопрос, он все равно не повысил голоса. В полутьме торгового зала я заметила, что они открыли низкую заднюю комнатку, куда вели две ступеньки. В этой комнатке отец делал несложные починки электроприборов. Приходя к отцу, здесь я, бывало, сживала с книгой приключений, изданной для мальчишек. В этой же каморке отец обычно готовил себе чай два раза в день: в десять утра и в пять часов вечера. В течение девятнадцати лет здесь готовил себе отец свой чай, два раза в день, в десять и в пять, зимой и летом.

Некрасивая девочка вышла из комнатки, держа в руке лысую куклу. Глаза у нее покраснели от слез.

— Чем могу вам помочь? — В третий раз спросил меня незнакомец. Никакого удивления в его голосе не слышалось.

Я попросила бритву, самую лучшую электробритву, чтобы облегчить мужу неприятности и тяготы бритья. Мой муж бреется, как подросток: не раз течет кровь из порезов, и под подбородком не умеет выбриться гладко. Электробритву, самую дорогую, наивысшего качества. Я собираюсь его по-настоящему удивить.

Я стояла, пересчитывая деньги, все еще оставшиеся в моем кошельке, как вдруг засветились глаза некрасивой девочки: ей показалось, что она меня знает, — не я ли доктор Куперман из клиники в Катамоне? Нет, моя девочка, ты меня с кем-то путаешь. Я — госпожа Азулай, выступаю в сборной по теннису. Спасибо вам и всего доброго. Стоит включить отопление. Здесь холодно. Да и сыро здесь, в этом магазине.

Михаэль был потрясен, увидев все эти свертки, принесенные из города:

— Что в тебя вселилось, Хана? Я не могу понять, что в тебя вселилось.

Я сказала:

— Ведь ты помнишь сказку о Золушке? Принц выбрал ее потому, что у нее была самая маленькая ножка в королевстве, а она пошла за него, чтобы до смерти рассердить мачеху и злых сестер. Согласен ли ты, что решение принца и Золушки создать семью было основано на весьма пустых, детских соображениях? Маленькая ножка. Я же говорю тебе, Михаэль, что этот принц был круглым дураком, а Золушка — просто глупая девчонка. Может, именно поэтому они так подходили друг другу и счастливо жили до самого последнего дня.

— Для меня это слишком сложно, — пожаловался Михаэль с кривой усмешкой. — Для меня это чересчур глубоко — твоя притча. Литература — это не моя область. Я слаб в расшифровке символов. Пожалуйста, скажи ясно, что ты собиралась сказать мне. Но говори простыми словами. Если это в самом деле важно.

— Нет, мой Михаэль, это не столь важно. Я и сама точно не знаю, что я пыталась тебе сказать. Не знаю. Все эти обновки я купила для того, чтобы радоваться им. А электробритву — чтобы обрадовать тебя.

— А разве я не рад? — спросил Михаэль тихим голосом. — А ты, Хана, разве ты не рада? Что в тебя вселилось,

Хана? Я не в состоянии понять, что тебя гнетет все это время?

— Есть прекрасная детская песенка,— сказала я,— и там одна девочка спрашивает: «Любезный клоун мой, не спляшешь ли со мной?» И кто-то ей отвечает: «Веселью клоун рад и кружит всех подряд». Ты считаешь, Михаэль, что это — исчерпывающий ответ на вопрос девочки?

Михаэль собрался было сказать что-то. Раздумал. Умолк. Он развернул покупки. Положил на место каждую вещь. Ушел в свою рабочую комнату. Через несколько минут вернулся, охваченный сомнениями. Он сказал, что я вынуждаю его принять ссуду, предлагаемую друзьями. Быть может, занять у Кадишмана. Чтобы дотянуть до конца месяца. В чем же смысл, хотел бы он понять. В чем причина? Ведь должна же быть какая-то причина — на небе ли, или на земле.



XXX

ОСЕНЬ В ИЕРУСАЛИМЕ. ДОЖДИ ЗАПАЗДЫВАЮТ. Небо — бездонная голубизна, подобная спокойному морю. Сухой холод пробирает до костей. Разрозненные облака тянутся к востоку. В рассветную рань плывут они низко, между домами, будто безмолвный караван, отбрасывая тени на замерзшие каменные арки. Сразу же после полудня опускается на город туман, а в начале шестого воцаряется тьма. Уличных фонарей в Иерусалиме немного, льют они желтый усталый свет. Опавшие листья несутся по переулкам и дворам. Извещение о смерти, написанное слогом выпранным, вывешено на нашей улице: «Нахум Ханун, один из столпов бухарской общины, ушел в лучший мир, будучи старым и насыщенным жизнью». Мне нравилось имя «Нахум Ханун». И «насыщенный жизнью». И смерть.

Появился господин Кадишман, почерневший, взволнованный, закутанный в русскую шубу. Он сказал:

— Вскоре вспыхнет война. На сей раз мы захватим весь Иерусалим, и Хеврон, и Вифлеем, и Шхем. Милость оказал нам Господь Бог, да будет благословенно имя Его, ибо, если не дал Он нашим так называемым лидерам достаточно разума, то вселил ненависть и глупость в сердца ненавистников наших. Словно одною рукою Он отбирает, но другою возвращает. Что не сделала мудрость евреев — совершит глупость арабов: вскоре вспыхнет великая война, и Святые места вновь вернуться в наши руки.

— С тех пор, как разрушен был Иерусалимский Храм, — повторил Михаэль любимое изречение своего покойного отца, — с тех пор, как разрушен Храм, пророческий дар — это удел таких людей, как вы или я. И если спросите меня, господин Кадишман, каково мое мнение, то скажу вам, что ближайшая война будет вовсе не за Хеврон или Шхем, а за Газу и Рафиях.

Я же, смеясь, заметила:

— Вы спятили, господа мои. Оба.

Ковер из мертвых сосновых иголок устилает мощные камнем дворы. Густа и сурова осень. Ветер метет сухие листья. С рассветом над кварталом Мекор Барух звучит музыка, исторгаемая навесами из жести, что выстроены на балконах. Движение абстрактного времени подобно брожению химических компонентов в пробирке: чисто, захватывающе, ядовито. В ночь на десятое октября, под утро, я слышала издали натужное гудение моторов. То был низкий гром, который, казалось, силой своей пытался подавить всплеск какой-то энергии. Танки гудели за крепостными стенами лагеря «Шнеллер», по соседству с нами. Сдерживая себя, они погромыхивали гусеницами. Мне они казались разъяренной сворой собак, в злобном нетерпении рвущих поводки, выпрыгивающих из ошейников.

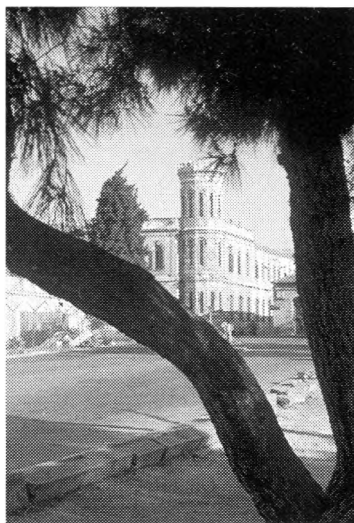
А ветер во всем принимал участие. Порывы его вздымали облака пыли и мусора, мутный смерч лупил по старым ставням. Носились в воздухе обрывки пожелтевших

газет, словно являющиеся в темноте духи или привидения. Ветер раскачивал уличные фонари, и пускались в пляс искореженные тени. Прохожие двигались, низко склонив головы под хлесткими ударами ветра. Порою в заброшенном доме скрипучая стеклянная дверь, раскачиваемая ветром, с такой силой билась о косяк, что далеко в округе разносился звон разлетающегося стекла. Целые дни горит электропечь в доме. И даже по ночам мы не гасим ее. Голоса радиодикторов приподняты и суровы. Некое горькое долготерпение готово взорваться вспышкой одержимости.

В середине октября наш зеленщик, уроженец Персии господин Элиягу Мошия был призван на военную службу. Его дочь Левана ведет торговлю в лавке. Лицо ее бело, а голос необычайно нежен. Левана — застенчивая девушка. Ее скромные усилия всем угодить нравятся мне. От смущения она кусает кончик своей русой косы. Этот жест ее очень трогателен. Ночью мне снился Михаил Строгов. Он стоял перед бритоголовыми татарскими ханами, чьи лица выражали тупую жестокость. Молчаливо снес он все пытки, но не выдал тайны. Великолепны были его плотно сжатые губы. Голубой сталью лучились его глаза.

В полдень Михаэль высказался по поводу радионовостей: есть проверенное правило, установленное — если не изменяет ему память — Бисмарком, германским железным канцлером. В соответствии с этим правилом тот, кто стоит перед коалицией враждебных сил, должен ударить по сильнейшему из врагов. Так случится и на сей раз — полагал мой муж со сдержанной уверенностью. Сначала мы до смерти напугаем Иорданию и Ирак, а затем мы неожиданно развернемся и ударим по Египту.

Я уставилась на своего мужа, словно он вдруг заговорил со мной на санскрите.



XXXI

ЛИСТОПАД В ИЕРУСАЛИМЕ.

Каждое утро убираю я опавшие листья с кухонного балкона. Новые листья слетают им на смену. Рассыпаются они в моих пальцах с сухим шуршанием.

Дожди все опаздывают. Иногда мне казалось, что падают первые капли. Я торопилась во двор, чтобы снять с веревок белье. Но дождя все не было. Лишь влажный ветер студил мне спину. Я простыла, охрипла. Горло сильно болело по утрам. Какая-то сдержанность чувствовалась в городе. Обновленный покой окутал предметы.

В бакалейной лавке соседи рассказывали, что Арабский Легион укрепляет орудийные позиции вокруг Иерусалима. Консервы, свечи, керосиновые лампы исчезли с полок магазинов. Я тоже купила большую коробку галет.

В квартале Сангедрия ночью стрелял патруль. В роще Тель Арза расположились артиллеристы. Я видела солдат-резервистов, натягивающих маскировочные сети прямо в поле за «Библейским зоопарком». Моя лучшая подруга Хадасса пришла, чтобы, со слов мужа, рассказать, как до самого рассвета длилось заседание правительства, и министры, покидая здание, выглядели весьма взволнованными. По ночам в город прибывают железнодорожные составы с армейскими подразделениями. На улице Короля Георга я видела четырех французских красавцев-офицеров. Были они в фуражках с козырьком, с пурпурными лентами на погонах. Таких я видела только в кино.

На улице Давида Елина, возвращаясь с покупками, обремененная пакетами и корзинами, я встретила трех парашютистов в полевой маскировочной форме. Автоматы у них за плечами. Они стояли на остановке автобуса номер 15. Один из них, чернявый, крупнотелый, крикнул мне вслед: «Куколка!» И товарищи его засмеялись вместе с ним. Мне нравился их смех.

Среда. На рассвете пронзительный холод заполнил весь дом. Такого еще не случалось этой зимой. Босиком побежала я укрыть Яира. Приятен был мне острый холодок, жегший ступни. Михаэль горестно вздыхал во сне. Стол и кресла — сгустки тени. Я стояла у окна. По-доброму вспоминала я дифтерию, которой переболела, когда мне было девять. Сила, повелевавшая моим снам уносить меня за черту пробуждения. Холодное превосходство. Игра сгустков в пространстве между бледно-серым и темно-серым.

Я стояла у окна, дрожа от радости и надежды. Сквозь жалюзи я видела, как солнце, окруженное красноватыми облаками, силится одолеть нежную пленку прозрачного тумана. Через несколько мгновений солнце прорвалось, запылала кроны деревьев, ударили лучи в жестяные корыта, что на задних балконах. Я стояла, как зачарованная, в рубашке, босиком, прижавшись лбом к оконному стеклу, разрисованному узорами инея. Женщина в домашнем халате поднялась в такую рань, чтобы вынести мусор. Ее волосы, как и мои, были растрепаны.

Залился будильник.

Михаэль сбросил одеяло, веки его были сомкнуты. Лицо помято. Он говорил сам с собой хриплым голосом:

— Какой холод. Жуткий день.

Затем он открыл глаза, заметил меня, изумился:

— Ты с ума сошла, Хана?

Я обратила к нему свое лицо, но не могла произнести ни слова. Я вновь потеряла голос. Я пыталась говорить, но вместо слов застряла в горле острая боль. Михаэль взял меня за руку и насильно уложил в постель:

— Ты с ума сошла, Хана, — повторял Михаэль с беспокойством, — ведь ты больна.

Он прикоснулся к моему лбу нежными губами и добавил:

— Руки ледяные, а лоб пылает. Ты больна, Хана.

И под одеялом была меня сильная дрожь. Тоска сжигала меня, но и восторг, какого не знала я с самого детства, поднимался во мне. Я ухватилась за эту лихорадку радости, я все смеялась и смеялась беззвучно.

Михаэль оделся. Он повязал клетчатый галстук, заколов его маленькой булавкой. Вышел на кухню, чтобы приготовить чай с молоком. Добавил в чай две ложки меда. Я не могла глотать. Жгучая боль раздирало горло. То была новая боль. Я обрадовалась этой новой боли, которая набухала и разрасталась.

Михаэль поставил чашку на тумбочку рядом с постелью. Губы мои улыбались ему. Я казалась себе белочкой, бросающей маленькие шишки в огромного грязного медведя. Новая боль зрела во мне, и я упивалась ею.

Михаэль брился. Он сделал погромче радио, чтобы я смогла услышать сводку последних известий сквозь жужжанье электробритвы. Затем он продул свою бритву, выключил радио. Спустился вниз, в аптеку, чтобы позвонить нашему врачу, доктору Урбаху с улицы Альфандари. Вернувшись, он, торопясь, одел Яира и отправил его в детский сад. Движения его были точны, как у вышколенного солдата. Он сказал так:

— На улице жуткий холод. Пожалуйста, не вставай с постели. Я и Хадассе позвонил. Она обещала прислать нам свою домработницу, чтобы та за тобой поухаживала и сварила вместо тебя. Доктор Урбах собирался прийти

в девять или в половине десятого. Хана, я очень прошу тебя — попробуй еще раз выпить горячее молоко.

Вытянувшись, словно юный официант, стоял мой муж предо мною с чашкой молока в руке. Я отвела чашку, ухватившись за свободную руку Михаэля. Целовала его пальцы. Все еще не хотела подавить звучащий где-то внутри меня смех. Михаэль предложил мне принять таблетки аспирина. Я покачала головой. Он пожал плечами. Истинный жест ученого мужа. Вот он уже обернул шею шарфом и надел шляпу. Выходя, он сказал:

— Помни, Хана, тебе нельзя вставать до прихода доктора Урбаха. Я постараюсь вернуться пораньше. Ты должна успокоиться. Ты простудилась, Хана, и это все. Ничего более. Холодно в этом доме. Я поставлю обогреватель поближе к постели.

Как только закрылась дверь за Михаэлем, я вскочила с постели и, босая, побежала к окну. Я была дикой, бунтующей девчонкой. Напрягая голосовые связки, я орала во все горло, распевала, как пьяная. Боль и наслаждение распалили друг друга. Сладка и упоительна была боль. Я набрала воздух в легкие. Зарычала львом. Замяукала. Я подражала голосам зверей и птиц, совсем, как в детстве, когда мы с Иммануэлем обожали этим заниматься. Но ни звука не раздалось. Это было подлинное чудо. Лишь наслаждение и боль заливали меня. Воздух вырывался из меня с силой, будто я вплавь пересекаю бурный поток. Я вся заледенела, но лоб мой пылал. Босая и обнаженная, словно младенец в знойный день, стояла я в ванной, открыв до отказа все краны. Я барахталась в ледяной воде, молотила босыми пятками, брызги летели во все стороны: на выложенные фаянсовыми плитками пол и стены, на потолок, на полотенца и купальный халат Михаэля, висевший на двери. Я набирала полный рот воды и раз за разом выпускала ее струйкой в свое отражение в зеркале. Моя кожа посинела от холода. Теплая боль разливалась по спине, струилась вдоль позвоночника. Соски мои стали твердыми. Пальцы на ногах окаменели. Лишь голова пылала, и я не переставала петь, хоть и не раздавалось ни звука. Пронзительное наслаждение заполонило все мое тело, его укромные, потайные уголки, нежнейшие спле-

тения, которые принадлежат мне одной, хоть мне и не дано увидеть их собственными глазами до самой своей смерти. У меня было тело, оно принадлежало только мне, оно клочкотало, исполненное жажды, оно жило. Как обезумевшая, я слонялась по комнатам, кухне, коридорам, а вода все стекала с меня. Мокрая, нагая, рухнула я в постель, обхватив руками и коленями одеяла и подушки. Множество дружелюбных людей, протянув свои ласковые руки, прикоснулось ко мне. И едва моя кожа ощутила прикосновение их пальцев, как огненная волна захлестнула меня. Близнецы в молчании гладили мои руки, связывая их у меня за спиной. Поэт Шауль склонился надо мной — его усы, теплый запах, исходивший от него, пьянили меня. И водитель такси, красавец Рахамим Рахамимов явился и стал мять мои бедра, будто он человек одичавший. В вихре танца взметнул он меня высоко в воздух. В отдалении ревела, грохотала музыка. Руки сжимали мое тело. Месили его, пинали, толкли, ощупывали. Я кричала, я вопила до изнеможения. Беззвучно. Солдаты в пятнистой полевой форме, теснясь, окружили меня кольцом. Терпкий запах мужского пота источали их тела. Я принадлежала им всем. Я — Ивонн Азулай. Ивонн Азулай — антипод Ханы Гонен.

Я была холодна. Неслась стремительным потоком. Люди рождены для воды, холодной и мощной. В бездонных пучинах, на полях, на просторах белых равнин, среди звезд. Люди рождены для снега. Жить, а не засыпать, кричать, а не говорить шепотом, касаться руками, а не взглядом, литься потоком, а не едва струиться. Я вся — лед. И город мой — лед. И подданные мои — лед. Все, как один. Слово принцессы — закон. Град ударит по Данцигу, измолотит весь город. Градины — кристаллы, прозрачные, пронзительно чистые. На колени, строптивые подданные, на колени, лбом в снег! Отныне все вы будете белыми, чистыми как снег, ибо я, принцесса, чиста как снег. Чистыми, прозрачными и холодными надлежит быть нам всем, дабы не разложиться, не рассыпаться. Весь город превратится в кристаллы, лист не падет на землю, птица не воспарит, женщина не вздрогнет. Да свершится по слову моему. Я сказала.

Ночь пала на Данциг. Стояла в снегу Тель Арза со своими рощами. Бескрайняя степь поглотила рынок Махане Иегуда, улицу Агриппа, кварталы Шейх Бадер, Рехавия, Бейт-а-Керем, Кирыят Шмуэль, Тальпиот, Гват Шмуэль — до самых склонов деревни Лифта. Степь, туман, темень. То был мой Данциг. Остров, возникший посреди озера, что в конце улицы Мамила. В центре острова вознеслась статуя принцессы. А в сердцевине камня — я.

Но за стенами лагеря «Шнеллер» тайным заговором растекалось некое движение. Приглушенный бунт ощущался там. Два черных эсминца «Дракон» и «Тигрица» подняли якоря. Острые их форштевни с силой резали ледяную кромку. Матрос, скрючившись в три погибели, раскачивался в смотровой бочке на самой верхушке мачты. Тело его — из снега, словно он — Верховный Комиссар Снега, которого мы — Халиль, Хана и Азиз — слепили зимой сорок первого года, когда выпал обильный снег.

Приземистые широкие танки, попирая гусеницами обледенелую мостовую, спускались в темноте по улице Геула в направлении квартала Меа Шеарим. У ворот лагеря «Шнеллер» боевые офицеры, завернувшись в грубые плащ-палатки, секретничали между собой. Не я повелела начать движение. Это был заговор. Суровые команды отдавались энергичным шепотом. В черном воздухе кружились снежные хлопья. Короткий, острый лязг ружейных затворов. И сосульки застыли на кончиках пышных усов, посеребренных инеем. Тяжелые, нацеленные на уничтожение, катились приземистые танки по просторам моего заснувшего города. Я была одна.

Пробил час близнецам пробраться на Русское Подворье. Они явились. Молчаливые. Босоногие. Бесшумно проползли последнюю часть своего пути. Сзади ударив ножом, сняли охранников, что поставила я у тюремных стен. Все городское отребье вырвалось на свободу, и ликующие клики рвались из их глоток. В переулках бурлили потоки. Нечто недоброе, отдувалось и тяжело дышало.

Тем временем были подавлены последние очаги сопротивления. Захвачены ключевые позиции. Верный Строгов был схвачен. Однако на дальних окраинах зашаталась дисциплина восставших. Рослые пьяные солдаты,

из предателей и из преданных делу, врывались в жилища горожан и торговцев. Глаза солдат налились кровью. Руки в кожаных перчатках хватали женщин, волокли чужое добро. Город — во власти гнусной черни. В подвалах радиостанции на улице Мелисанда томился поэт Шауль. Низкие холопы измывались над ним. Этого мне не снести. Я плакала.

Прицепные орудия бесшумно катились на резиновых колесах в сторону верхнего города. Я видела одного из восставших: с непокрытой головой, взобравшись на крышу здания «Терра Санта», он безмолвно менял знамена. Кудри его разметало в стороны. Он был красив в своем ликовании.

Освобожденные узники заливались желтым смехом. В своих полосатых одеждах они растеклись по всему городу. Там и сям взметнулись ножи. Подонки захватили пригороды, чтобы свести там старые счеты, а в тюрьмы вместо них были брошены ученые мужи. Все еще полусонные, сбитые с толку, негодующие, они пытались протестовать от моего имени. Напоминали о своих дружеских связях. Отстаивали свои права. И уже появились среди них предатели, клянущиеся в своей старой ненависти ко мне. Приклады винтовок опускались на их спины, подгоняя, заставляя умолкнуть. Иные, низкие силы правят в городе.

Танки окружают дворец принцессы — в соответствии с тайным, заранее и подробно разработанным планом заговора. Они оставляют глубокие следы на снежном покрове. Принцесса стоит у окна, изо всех своих сил призывая Строгова и капитана Немо. Но у нее пропал голос, и губы ее шевелятся беззвучно, словно хотелось ей позабавить ликующих солдат. Я не смогла угадать, что замыслили офицеры дворцовой стражи. Может, и они примкнули к заговору. Вновь и вновь они поглядывают на часы. Ждут ли и они условного часа?

У ворот замка — «Дракон» и «Тигрица». Медленно вращаются гигантские орудийные башни эсминцев. Словно пальцы чудища направлены стволы орудий на мое окно. На меня.

«Я больна», — пыталась прошептать принцесса. Она видела розоватые вспышки на востоке, над Горой Сионской,

со стороны Иудейской пустыни. Первые искры фейерверка в честь праздника, не ей предназначенного. Нетерпеливые убийцы склонились над ней. В их глазах принцесса видела жалость, вожделение, презрение. Так юны были они. Смуглые, красивые до безумия. Гордой и молчаливой хотела я предстать перед ними, но тело предало меня. В тонкой ночной рубашке распростерлась принцесса на ледяных изразцах. Открытая пронзительным взором. Близнецы пересмеивались. Белели их зубы. Дрожь, не предвещающая ничего хорошего, пробежала по их телам. Словно улыбка развращенных юнцов, когда видят они на улице женщину, чью юбку неожиданно взметнул вверх порыв ветра.

По улицам и площадям движется броневик с громкоговорителем. Четкий, размеренный голос сообщает приказы новой власти. Предупреждает о полевых судах и о расстрелах без всякого сожаления. Сопrotивляющиеся будут расстреляны, как бешеные собаки. Навсегда миновали времена безумной Ледяной Принцессы. Даже белому киту не скрыться. Новая эра властвует в городе.

Я слышу, но как бы не слышу — руки убийц простерлись надо мной. Оба они хрипят надсадно, словно бьющееся связанное животное. В глазах их бушует разврат. Употительная сладость боли заливаает меня от макушки до кончиков пальцев на ногах. Острые искры, вызывающие сладкую дрожь, пробегают по спине, растекаясь по плечам, по всему телу. Беззвучный крик, сорвавшись, скатился внутрь.

К лицу моему прикасаются — не касаясь — пальцы Михаэля. Он хочет, чтобы я открыла глаза. Разве не видит он, что глаза мои широко раскрыты? Он хочет, чтобы я слушала его. Но кто еще из женщин слушает так, как я? Он все трясет и трясет мои руки. Касается губами моего лба. Все еще принадлежа снегу, я уже влекома иными силами.



XXXII

МИНИАТЮРЕН И БУДТО ВЫТОЧЕН, КАК КИТАЙСКАЯ фарфоровая статуэтка, наш доктор Урбах с улицы Альфандари. Скулы у него высокие, взгляд грустный и добрый. Во время осмотра он, по обычаю, произносит небольшую речь:

— Через неделю мы будем здоровыми. Абсолютно здоровыми. Мы просто простудились и вели себя весьма плохо. Тело старается выздороветь, но душа, быть может, не пускает. Тело и душа связаны не так, как, скажем, водитель со своим автомобилем; они, скорее, связаны, как витамины, что имеются в пище. Госпожа Гонен, госпожа Гонен, ведь вы уже сама — мать, и пожалуйста, примите в расчет и маленького мальчика, господина Гонена. Нам необходимо предоставить телу абсолютный покой. И нервам, и душе — тоже. Это прежде всего. Можно также

прописать нам аспирин — три раза в день. Горлу полезен мед. А еще хорошо нагреть комнату, где мы лежим. И вовсе не надо спорить с госпожой. Только сказать ей: «Да, да». И еще раз: «Да». Нам необходим отдых, покой. Всякие разговоры — повод к осложнениям или душевным страданиям. Говорить как можно меньше. Вести лишь самые элементарные разговоры. Нейтральные. Нет в нас покоя. Абсолютно нет покоя. Можно мне немедленно позвонить по телефону, если возникнет какое-либо осложнение. Но если вдруг появляются симптомы истерики, то следует молча, терпеливо переждать. Не нужно драм. Пассивность публики убивает «драму», подобно тому, как антибиотик убивает вирус. Необходим полный покой. Внутренний покой. Желаю полнейшего выздоровления. Прошу вас.

К вечеру мне стало лучше. Михаэль привел в мою комнату Яира, чтобы тот издал пожелал мне спокойной ночи. И я тоже с усилием прошептала: «Спокойной ночи вам обоим». Михаэль приложил палец к губам: разговаривать запрещено. Не напрягать голосовые связки. Он накормил ребенка и уложил его спать. Затем вернулся в нашу комнату. Включил радио. Взволнованная дикторша рассказывала о предупреждении, посланном президентом Соединенных Штатов. Президент требует сдержанности от всех сторон. Проявить терпимость. Избегать взрывоопасных ситуаций. Неподтвержденные сведения о вводе иракских войск в пределы Иорданского королевства. Политический обозреватель настроен весьма скептически. Правительство призывает к бдительности, и в то же время — к хладнокровию. В словах военных комментаторов чувствуется неуверенность. Дважды заседал французский кабинет Ги Молле. Известная актриса покончила жизнь самоубийством. В Иерусалиме и этой ночью ожидаются заморозки.

Михаэль сказал:

— Симха, домработница Хадассы, придет к нам и завтра. А я возьму день отпуска. Я буду говорить с тобой, Хана, но ты не отвечай мне, потому что тебе нельзя разговаривать.

— Не тяжело мне, Михаэль, и совсем не больно, — прошептала я.

Михаэль поднялся с кресла и присел на краешек моей постели. С осторожностью сдвинул он край одеяла. Даже простыню закатал, сел на матрас. Несколько раз покачал он головой вверх и вниз, словно, наконец-то, ему удалось решить некое сложное уравнение, и он вновь и вновь проверяет свои вычисления. Какое-то мгновение он вглядывался в меня. Затем прикрыл ладонью лицо. Не мне, а своим мыслям он сказал, наконец:

— Я жутко испугался, Хана, когда, вернувшись домой в полдень, застал тебя такой ...

Говоря это, Михаэль зажмурил глаза, словно произносимые слова причиняли ему боль. Он встал, расправил простыню, поправил одеяло, зажег лампочку у кровати, убрав свет лампы, что под потолком. Взял мою руку в свою. Перевел стрелки моих наручных часов, потому что еще утром они остановились. Он заводил мои часы, пальцы его были теплыми, с гладкими ногтями, а внутри — жилы, нервы, мускулы, кости, кровеносные сосуды. Когда я была студенткой на отделении литературы, мне довелось заучивать наизусть стихотворение Ибн Габироля, где говорилось, что мы созданы из протухшей гнили. Но как чист этот химический яд — белые, прозрачные кристаллы. Вот и земля — всего лишь зеленеющая кора, покров, сдерживающий то, что бушует внутри. Пальцы моего мужа я взяла в свои ладони. Этот жест вызвал у Михаэля такую улыбку, словно он давно просил у меня прощенья и, наконец, удостоился его. Я залилась слезами. Михаэль погладил меня по щеке. Прикусил губу. Не сказал ни единого слова. Погладил меня тем привычным движением, которым он гладил по голове нашего Яира. Это сравнение огорчило меня, и причину горечи я не могу объяснить. А может, это огорчение беспричинно.

— Когда ты выздоровеешь, мы уедем куда-нибудь далеко, — сказал Михаэль, — может быть, в кибуц Ноф Гарим. Возможно, оставим мальчика под присмотром твоей мамы или брата, а мы с тобой отправимся в дом отдыха. Наверно, в Эйлат. Или в Нагарию. Спокойной ночи, Хана. Я выключу свет и вынесу в коридор электропечку. Видимо, я допустил какую-то ошибку, хотя и не знаю, какую. То есть я не знаю, что я должен был сделать, чтобы предотвратить все это. И чего нельзя было делать, чтобы не

довести тебя до такого состояния? В Холоне, в начальной школе, был у меня учитель физкультуры, которого звали Ихиам Пелед. Он прозвал меня «олух Ганс», потому что у меня были несколько замедленные рефлексy. Я был очень силен в математике и английском и сушим «олухом Гансом» на уроках физкультуры. У каждого человека есть свои достоинства и недостатки. Как это банально. И к делу не относится. Я хотел сказать тебе, Хана, что я — со своей стороны — очень рад тому, что мы женаты, и я — на тебе, а не на ком-нибудь другом. И я всегда буду стараться идти тебе навстречу, насколько я на это способен. Умоляю тебя — никогда не пугай меня так, как это было сегодня, когда я вернулся в полдень и нашел тебя такой ... Очень прошу тебя, Хана. Ведь и я не из железа сделан. Я снова говорю банальности. Спокойной ночи. Завтра я сдам белье в прачечную. Если ночью тебе что-нибудь понадобится, то, пожалуйста, не напрягай голоса, чтобы не повредить горлу. Ты просто можешь постучать в стенку: я буду сидеть в своей рабочей комнате, услышу и мигом приду. Вот здесь, на тумбочке, я приготовил полный термос с горячим чаем. А здесь — таблетки люминала. Прими его лишь в том случае, если никак не сможешь уснуть без него. Будет очень хорошо, если ты уснешь без таблеток. Я тебя очень прошу. Не так уж часто я обращаюсь к тебе с просьбами. А теперь, уже в третий раз — каким надоедливым я стал, — спокойной ночи, Хана.

На следующее утро Яир спросил:

— Мама, если бы папа был королем, — верно, что я был бы герцогом?

— Если бы бабушка крылья имела, орлом в поднебесье она бы взлетела, — хрипло прошептала я, улыбаясь.

Яир молчал. Быть может, пытался представить себе суть рифмованной присказки, переводя ее на язык образов. Отверг нарисованную в воображении картину. И наконец, изрек вполне спокойно:

— Нет, бабушка с крыльями — это все равно бабушка, а не орел. Ты просто выдумываешь вещи, которых не может быть. Как в сказке о Красной Шапочке, когда они вытащили бабушку из брюха волка. Но волчье брюхо — это не кладовка. И волки свою добычу рвут острыми зубами.

А у тебя все возможно. Папа всегда обращает внимание на то, что он говорит. Его разговоры — не от мыслей. Только от знаний.

Михаэль — сквозь свист кипящего чайника, стоящего на газовой плите:

— Яир, поди-ка, пожалуйста, в кухню. Сядь и ешь. Мама больна. Перестань ей надоедать. Постыдись. Пожалуйста. Смотри, я тебя предупредил.

Симха, домработница Хадассы, развесила постельные принадлежности, чтобы проветрить их. Я покамест уселась в кресло. Волосы мои растрепаны. Михаэль спустился в бакалейную лавочку, чтобы купить хлеб, творог, маслины и сметану — по списку, который я сунула ему в руку. Сегодня он взял день отпуска. В коридоре перед зеркалом стоит Яир, ерошит свои волосы, причесывается и снова ерошит. И наконец, стал он самому себе корчить рожи в зеркале.

Симха выбивает матрас. Я смотрю и вижу поток золотых пылинок, карабкающихся вверх по солнечному лучу в один из углов оконного проема. Тело мое охвачено сладостной слабостью. Нет страданий, но нет и успокоения. Есть только ленивая, глупая мысль: купить вскоре большой красивый персидский ковер.

Звонок. Яир открывает дверь. Почтальон отказывается вручить ему заказное письмо, потому что необходимо расписаться в получении. Тем временем Михаэль поднимается по лестнице, неся корзинку с продуктами. Он берет из рук почтальона повестку о мобилизации и карандашом ставит свою подпись. Он входит в комнату, и лицо его сурово и празднично.

Когда же этот человек выйдет из себя? Хоть бы раз увидеть его перепуганным до смерти. Ликующим. Беснующимся.

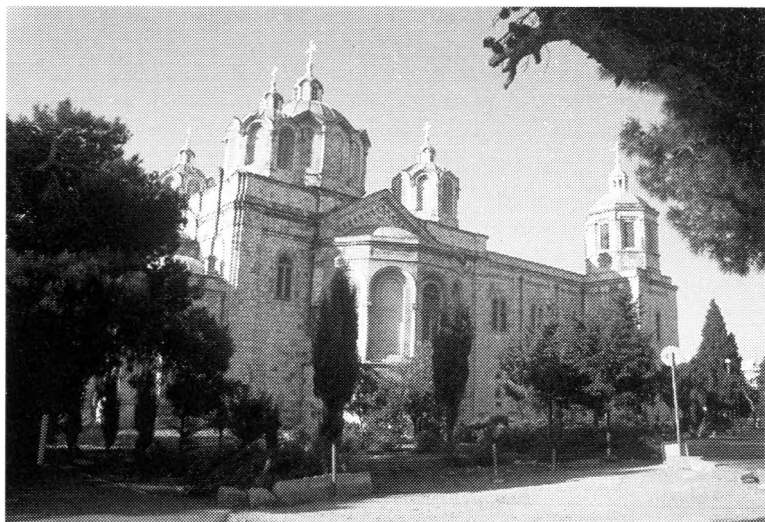
В самых простых словах объясняет мне Михаэль, что никакая война не может продлиться более трех недель. Ведь речь идет о локальной войне. Конечно, времена изменились. Сорок восьмой год не вернется вновь. Равновесие между сверхдержавами весьма шаткое. Теперь, когда Америка готовится к выборам, а русские увязли в Венгрии, появилась некая мимолетная возможность. Нет, ни

при каких обстоятельствах не может быть продолжительной войны. Кстати, он-то служит в войсках связи. Он не пилот и не парашютист-десантник. Итак, есть ли повод для слез? Через пару дней он вернется и привезет мне в подарок настоящий арабский «финджан» для приготовления кофе. Ведь он все это говорит в шутку — с чего бы мне плакать? Когда он вернется, мы отправимся путешествовать, как он и обещал мне. Побываем в Верхней Галилее. Или в Эйлате. Долго ли я собираюсь причитать по нему? Он просто съездит и вернется. Может, он и ошибается в своих предположениях, может, это только большие маневры, а не война. Если выпадет такая возможность, он будет писать мне с дороги. Ведь никогда еще, Хана, нам не выпадала такая возможность — обмениваться письмами. Однако ему не хотелось бы меня разочаровывать, и лучше он заранее предупредит, что в писании писем он не слишком искусен. Итак, он тут же оденется, уложит свой армейский рюкзак. Стоит ли ему позвонить в Ноф Гарим и попросить мою маму, чтобы та приехала и побыла со мной до его возвращения?

Как странно он чувствует себя в форме цвета хаки. Он совсем не пополнил с годами. Помнишь ли ты, Хана, как выглядел мой покойный отец в форме еврейских стражников, наброшенной прямо на пижаму, когда он играл с Яиром? Ох, какая оплошность. Он должен просить у меня прощения. Ясно, что именно теперь он не должен был вспоминать об этом. Он по своей глупости причинил боль нам обоим. Нельзя, Хана, отыскивать символы в каждом слове. Разговоры — это всего лишь только разговоры. Слова, не более того. Здесь, в ящике стола, он оставляет сто лир, а здесь, на бумажке под вазой, записаны его личный воинский номер и номер его части. По счетам за воду, электричество и газ он уплатил еще в начале месяца. Война будет очень короткой. Он хочет сказать, что этого требует политический здравый смысл. Ведь американцы ... Впрочем, сейчас это не важно. Пожалуйста, не гляди на меня, Хана, такими глазами. Ты сама себе причиняешь боль. И мне тоже. Симха, домработница Хадассы, будет помогать тебе до моего возвращения. Я позвоню Хадассе. Я также позвоню Сарре Зельдин. Вновь ты так смотришь на меня. Я ведь не виноват

в этом, Хана. Я не пилот и не парашютист-десантник. Где же мой армейский свитер? Спасибо. Да, я возьму с собой и шарф. Ночи нынче холодные. Только скажи мне правду, Хана, как я выгляжу в военной форме? Не похож ли я на профессора, переодевшегося для маскарада в Пурим? «Олух Ганс», младший сержант-связист. Да ведь я пошутил, Хана. Но вместо смеха — опять слезы. Не надо плакать. Ведь я уезжаю не для приятного времяпрепровождения. Не плачь. Ты причиняешь боль без всяких на то оснований. Я ... Я буду думать о вас. Напишу вам письмо, если представится такая возможность. Буду осторожен. И ты тоже ... Нет, Хана. Неверно, что именно в эту минуту стоит говорить о чувствах. Какой смысл в признаниях? Излишняя чувствительность приносит лишь страдания. А я ... Я ведь не пилот и не парашютист-десантник. Это я уже в который раз повторяю. Я хотел бы вернуться и заставить тебя веселой и здоровой. Я хотел бы надеяться, что ты не станешь думать обо мне плохо в мое отсутствие. И я буду думать о тебе только хорошо. Таким образом наша разлука не будет столь абсолютной. И еще ... Да ...

Будто я — всего лишь мысль внутри него. Никто не может надеяться на большее — быть мыслью в душе другого. Но я — реальность, Михаэль. Я не только мысль в душе твоей.



XXXIII

СИМХА, ДОМРАБОТНИЦА ХАДАССЫ, МОЕТ на кухне посуду, напевая для собственного удовольствия песни Шошаны Дамари. «Поведай, лань любви моей». «Звезда во тьме ночной, в расселинах шакала вой. Вернись, Хефциба ждет тебя».

Я лежу в постели. В руках у меня роман Джона Стейнбека, принесенный моей лучшей подругой Хадассой, которая вчера навестила меня. Я не читаю. Мои застывшие ступни согреваются грелкой. Я спокойна. Глаза мои широко раскрыты. Яир в детском саду. От Михаэля до сих пор не пришло, да и не могло прийти, ни единой весточки. Тележка с керосиновой бочкой движется по нашей улице, и продавец все звонит и звонит в колокольчик. Иерусалим бодрствует. Муха бьется об оконное стекло. Всего лишь муха — не знак, не символ. Муха. Жажда

меня не мучит. Я замечаю, что книга, которую держу в руках, изрядно потрепана. Обложка ее скреплена прозрачной клейкой лентой. Ваза стоит на своем месте. Под ней — бумажка, на которой Михаэль написал свой личный воинский номер и номер своей части. «Наутилус» погружен в пучину под ледяным покровом Берингова пролива. Господин Глик сидит в своей лавке и читает газету для религиозных людей. Город продувается осенним холодным ветром. Я умиротворена.

В девять часов радио сообщило:

Сегодня вечером силы Армии Оборона Израиля вступили в Синайскую пустыню, захватили пункты Кунтила и Рас-ан-Накеб, заняли позиции у Нахеля, в шестидесяти километрах восточнее Суэцкого канала. Военный комментатор разъясняет ... С государственной точки зрения ... Непрерывающиеся провокации ... Грубое нарушение права свободного судоходства ... С моральной точки зрения ... Террор и подрывная деятельность ... Беззащитные женщины и дети ... Все растущая напряженность ... Ни в чем не повинные граждане ... Просвещенное общественное мнение в стране и во всем мире ... В основе своей оборонительная акция ... Хладнокровие ... Не следует выходить на улицу ... Сделать затемнение на окнах ... Не запасать продукты ... Исполнять приказы и инструкции ... Не проявлять нервозности ... Следует проявить ... Вся страна — передовая линия фронта ... Весь народ — армия ... В случае, если раздастся прерывистая сирена ... События развиваются в соответствии с заранее намеченным планом ...

В девять пятнадцать:

Соглашение о прекращении огня умерло, похоронено и никогда не воскреснет вновь. Наши силы неудержимо продвигаются вперед. Сопrotивление противника сломлено.

До половины одиннадцатого по радио передавались маршевые песни, памятные мне с юности: «От Дана до Беер-Шевы», «Тебя я не забуду», «Верь, наступит день».

Почему я должна верить? И если вы не забудете, то что в том?

В десять тридцать:

Синайская пустыня, историческая колыбель израильского народа ...

В противовес Иерусалиму ...

Изо всех сил я стараюсь быть гордой. Заинтересованной. Не забыл ли Михаэль таблетки, помогающие при изжоге? Чист и аккуратен, как всегда. Итак, «пять лет плясал, а на шестой — прощай-ка, голубок».

Есть один заброшенный переулочек на окраине Иерусалима, в новом квартале Бейт Исраэль, и там сейчас совсем иной воздух. Переулок этот вымощен камнем. Каменные плиты потрескались, но блестят, как отполированные. Тяжелые своды отделяют переулок от низких облаков. А кончается все тупиком. Спрессованное присутствие заполняет все поры в камне.

Ленивый часовой, пожилой горожанин, мобилизованный в Гражданскую Оборону, стоит, опершись о стену. Дома — с закрытыми ставнями. Приглушенный благовест далекого колокола. Ветерок спускается с гор, растекаясь по переулку, завихряясь в глухом тупике ... Железные жалюзи, кованые железные двери ощутили прикосновение ветерка, пролетевшего переулком. Мальчик из религиозной семьи с яблоком в руке стоит у окна. Два локона, закрученные на висках, спускаются на бледные щеки. Он глядит на птиц, облепивших верхушку ивы, растущей во дворе. Мальчик замер без движенья. Пожилой часовой пытается привлечь его внимание через оконное стекло. Обуреваемый одиночеством, он корчит рожи мальчику. Но все застыло. Этот мальчик — мой. Голубые, с пепельным отливом, лучи света запутались в кудрявой кроне ивы. Горы далеки, а здесь — глубокая тишина, и звуки колоколов плывут невесомые. Безмолвие пало и на птиц, и на уличных котов.

Появятся огромные кареты, промчатся мимо, направляясь в далекие края. Если бы я была, как камень. Твердой и умиротворенной. Холодной. Чье присутствие непреложно.

Видимо, и Британский Верховный Наместник тоже ошибался. Во дворце Наместника на юго-востоке Иерусалима, на Горе Дурного Совета до самого рассвета длится тайное заседание. Бледный утренний свет пробивается в окна, но электричество все еще горит. Стенографистки сменяются каждые два часа. Караул устал и взвинчен.

Михаил Строгов несет секретное сообщение — он хранит его только в своей памяти. Одиноким и настойчивым, пробивается он сквозь ночь — посланец Верховного Наместника. Человек хладнокровный и сильный, Михаил Строгов окружен беснующимися дикарями. Ослепительные молнии занесенных кинжалов. Подстрекательский смех ...

Словно Азиз и Иегуда Готлиб с улицы Усышкина борются на пустыре. А я — судья. Я же — и приз. Лица обоих искажены. Глаза их залиты мутной злобой. Норовят ударить в живот, уязвимое место. Молотят друг друга изо всех сил. Даже кусаются. Один из них пустился наутек. Вдруг убегающий остановился, обернулся к преследователю, схватил тяжелый камень, швырнул его — промахнулся на волосок. Противник плюнул в него с неистовой яростью. Двое сцепились, перекатываясь по острым шипам проржавевшего мотка колючей проволоки, извиваясь, в бешенстве скрипя зубами. Впиваются когтями друг в друга. Оба — в крови. Норовят вцепиться в горло или поразить срамные части тела. Бранятся сквозь сжатые зубы. В полном изнеможении они вдруг падают одновременно. Какое-то мгновение они отдыхают в объятиях друг друга, словно двое влюбленных. И подобно возбужденному дыханию возлюбленных — и Азиз, и Иегуда Готлиб дышат порывисто, надсадно. Но в следующий миг вновь черные силы переполняют их. Череп бьется о череп. Коготь тянется к зенице. Кулак — в подбородок. Колено — в пах. Спины их исколоты шипами проржавевшей колючей проволоки. Губы плотно сжаты. Ни звука. Ни вопль, ни вздох не сорвутся с губ. Оба они плачут. Щеки залиты слезами. Я — судья, и я же — приз. Зло смеюсь, жажду увидеть кровь, услышать иступленный крик. Далеко в Эмек Рефаим заголосит сирена товарного железнодорожного состава. Неистовство и ярость сгинут в безмолвии. Испарятся. И только слезы ...

Дождь придет намного позднее. Не словами исхлещет дождь британские бронетранспортеры. Ночью, в переулке, по крутому склону скатились террористы, скользнув под каменные своды в квартале Мусрара. Проскользнувшие прижимаются к каменной стене. Расправляются с единственным уличным фонарем. Прикрепляют бикфордов шнур к взрывателю. И пока не заплещет электрическая искра, детонатор — все еще застывший кусок железа. Вулкан, упрятанный глубоко под слоем пыли, глинистых сланцев и гранита. Холодно.

Дождь придет. Мягкие туманы пройдут рощей у монастыря Креста. На Масличной горе закричит птица. Ветер обрушится бурей, прижимая кроны сосен. Не станет отныне земля проявлять свою сдержанность, иссякло ее терпение. На востоке — пустыня. С окраины Тальпиота открываются такие места, которым не дано узнать прикосновение дождя: горы Моава, Мертвое море, самое низкое море в мире. Проливной дождь ударит канонадой по Арноне, что напротив серой деревушки Пур-Бахер. Бичующие потоки исхлещут минареты мечетей. А в Вифлееме уединятся в кафе игроки, разложат они доски для игры в нарды, изо всех уголков польются протяжные, с переливами мелодии, передаваемые по радио из Аммана. Сосредоточены и молчаливы играющие. Восточные одежды, пышные усы. Обжигающий кофе. Клубы дыма. Близнецы в униформе бойцов-«коммандос», вооружены автоматами.

Вслед за дождем — прозрачный град. Красивые колючие кристаллы. Старики-коробейники из квартала Махане Иегуда сгрудятся, дрожащие от холода, под нависающими балконами. В горах Абу Гоша, в Кирыят Яарим, в Неве Илан, в Тират Яар разлапистые сосны в густых лесах окутаны белым туманом. Там прячутся бродяги от суровой руки закона. Молчаливо бредут они топкими тропинками, беглецы, изверившиеся, блуждающие в потоках дождя.

Низкое небо над Северным морем. «Дракон» и «Тигрица» патрулируют вместе, лавируя среди плавающих айсбергов, выискивая и высматривая на экранах своих ра-

даров Моби Дика, морское чудище, или «Наутилус». «Ахой, ахой! — закричит чернокожий матрос, скрючившийся в смотровой бочке на верхушке мачты. — Ахой, капитан!» «Чужеродное тело обнаружено в шести милях к востоку, четыре морских узла, два градуса левее Северного Сияния», — голосом с металлическими переливами радист передаст шифровку в Штаб Объединенного Командования, в подводное убежище за много миль отсюда. И Палестина погрузится во тьму, ибо дожди и туманы над горами Хеврона, до самого Тальпиота, до горы Августы-Виктории; они подступают к самой границе пустыни, которую дождям пересечь не дано, — вплоть до двorca Верховного Наместника.

Одиноко, в темнеющем окне, высокий и худощавый, стоит Британский Верховный Наместник. Руки его сложены за спиной, трубка в зубах, голубые глаза подернуты туманом. Разольет по бокалам прозрачный напиток, один бокал — себе, а другой — коренастому, кряжистому Михаилу Строгову. Посланцу, который уйдет в темень, чтобы проложить себе путь через вражеские земли, кишасщие вооруженными толпами дикарей, и достичь побережья, а оттуда — через бурное море — к Таинственному Острову, где, сверля горизонт пристальным взглядом, зажав в руке сильный бинокль, ждет его инженер Сайрус Смит, никогда не впадающий в отчаяние.

Убеждены мы, что одиноки здесь, на этом заброшенном острове. Но, по-видимому, наши чувства обманули нас. Не одни мы на этом острове. Замыслил недоброе человек, скрывающийся в недрах гор.

Мы дважды тщательно прочесали весь остров, заглянув в самые отдаленные уголки, и все же не удалось нам поймать того, кто наблюдает за нами из темноты с кривой усмешкой на губах. Он словно вечно прячется у нас за спиною, присутствие его не ощутимо, и лишь поутру обнаруживаем мы следы, оставленные им на топких тропинках в сердцевине трясины. Под покровом тьмы и тумана укрывается он в засаде и в дождь, и в бурю; в темных лесах прячется, под землей скрывается, за стенами монастырей в деревне Эйн Керем находит убежище этот чужак — всегда он в засаде, не зная устали. Вдруг, живой, возникнет он въявь, ударом собьет меня на землю, повре-

дит мои внутренности, зарычит во всю мочь, а я закричу в ответ, ужас и восторг переполнят меня до краев, ужас и наслаждение. Я буду кричать, испепелю его, высосу кровь его, подобно вампиру. Сумасшедшее судно, пьяный корабль — я буду носиться в ночи, пока он не придет ко мне. Я запою, возрадуюсь бурно, выйду из берегов, воспарю, буду кобылицей, взбрыкивающей, несущейся в ночь, в дождь. Потоки воды исхлещут меня, затопят Иерусалим, а небо нависнет низко, облака — вровень с землей.

И ветер будет безумствовать в городе.



XXXIV

— Д О Б Р О Е У Т Р О , Г О С П О Ж А Г О Н Е Н .
— Доброе утро, доктор Урбах.

— Мы все еще сердимся, госпожа Гонен?

— Температура уже спала, доктор Урбах. Через два-три дня я надеюсь быть здоровой, как всегда.

— «Как всегда», госпожа Гонен, это, в известном смысле, абстрактное выражение. Господин Гонен вне дома?

— Мой муж мобилизован, доктор Урбах. По-видимому, мой муж находится в Синайской пустыне. Я до сих пор не получила от него ни единой весточки.

— Времена значительные, госпожа Гонен, весьма сложные. В такие дни очень трудно удержаться от мыслей, навеянных Библией. Горло наше все еще жжет? Мы в него заглянем и узнаем. Нехорошо, плохо вы посту-

пили, госпожа моя, когда стали обливаться себя холодной водой в разгар зимы, словно это вполне возможно — разозлить свое тело, дабы успокоить душу. Прошу прощения, какова область научных занятий доктора Гонена? Биология? Геология, разумеется. Извините, но мы ошиблись. Итак, оптимистические новости поступают нынче с полей войны: и англичане, и французы будут сражаться вместе с нами против мусульман. По радио об этом так и сказали: «союзники». Почти, как в Европе. И все-таки, госпожа Гонен, в этой войне есть что-то от «Фауста». Разве не маленькая Гретхен ближе всех подобралась к Истине? А какой же преданной была она, Гретхен, и вовсе не столь наивной, как это принято писать о ней. Прошу вас, госпожа, дайте мне руку, я должен измерить кровяное давление. Несложная операция. Абсолютно безболезненная. Некий дефект в восприятии мира свойственен многим евреям: мы не способны ненавидеть наших ненавистников. Вид душевного расстройства. Вот, израильская армия, ее танковые части вчера захватили гору Синай. Почти что апокалипсис, сказал бы я, но только «почти». А теперь я приношу тысячу извинений, поскольку вынужден задать вам весьма интимный вопрос. Прошу прощения, но не пришлось ли вам, госпожа моя, страдать в последнее время из-за какого-либо нарушения месячного цикла? Нет? Это отличный признак. Очень хорошо. Свидетельство того, что тело тоже не желает принимать участия в драме. Ах, так ваш муж занимается геологией, а не антропологией. Это мы допустили небольшую ошибку. Мы должны отдохнуть еще в течение некоторого времени. Очень много отдыхать. Не напрягать свои мысли. Сон — вот лучшее лекарство. В определенном смысле, сон — он также наиболее естественное состояние для человека. Головные боли не должны пугать нас так сильно. Вооруженные аспирином, мы выйдем против мигрени. Мигрень ведь не болезнь сама по себе. И, кстати, человек не умирает столь быстро, как это порою нам кажется в экстремальном состоянии духа. Желаю полнейшего выздоровления.

Доктор Урбах ушел, а Симха, домработница Хадассы, появилась. Она, сняв пальто, склонилась над электропечкой, чтобы согреть руки. Она справилась о моем здоро-

вье, а я спросила, что слышно у моей подруги Хадассы. Симха прочитала утром в газете «Херут», что арабы уже потерпели поражение, а мы победили. И вправду, поделом им, сколько можно молчать и терпеть?

Симха вышла на кухню. Вскипятила молоко. Затем открыла окно в рабочей комнате Михаэля, чтобы проветрить квартиру. Холодный, пощипывающий воздух ворвался в дом. Симха протерла оконные стекла старыми газетами, смахнула ветошкой пыль, спустилась в бакалейную лавочку. Вернувшись, она сообщила, со слов соседей, что арабский военный корабль «горит живьем» в море около Хайфы. Должна ли она приступить к глажке?

В сладкой истоме млеет сегодня каждая клеточка моего тела. Я больна. Я не обязана быть собранной. «Полыхает живьем в открытом море» — все это уже было в далеком прошлом, все это не в первый раз.

— Госпожа моя, вы сегодня необычайно бледны, — заметила озабоченно Симха. — Господин сказал мне перед уходом, что не стоит много разговаривать с госпожой, так как здоровье ее ...

— Поговори со мной, Симха, — попросила я. — Говори без умолку. Не молчи ...

Симха все еще не замужем, но уже помолвлена. Когда ее суженый Бхор вернется из армии, они купят квартиру в новом районе Бейт Мазмиль. Весной сыграют свадьбу. Бхор такой, у него есть сбережения. Он водитель такси в компании «Кешер». Бхор немного застенчив, но парень он культурный. Симха обратила внимание на тот факт, что большинство ее подружек вышли замуж за парней, похожих на их отцов. И Бхор похож на ее отца. Есть такое правило, Симха читала об этом в женском еженедельнике, что жених обычно походит на отца. Если ты влюблена, то тебе хочется, чтобы он походил на того, кого ты любила прежде. Смешно, но она все ждала, пока нагреется уют, начисто забыв, что в Иерусалиме бывают перебои с электричеством.

Я представляла себе.

Молодой человек из рассказа то ли Сомерсета Моэма, то ли Стефана Цвейга, молодой человек, прибывающий из маленького городка в казино международного класса,

чтобы играть в рулетку. Поначалу он проигрывает две трети своих денег. Оставшихся денег, по осторожным подсчетам, едва хватит на уплату по счету в гостинице и покупку обратного билета, чтобы без унижений вернуться восвояси. Время — два часа ночи. В силах ли молодой человек немедленно встать и исчезнуть? Рулетка все еще крутится, и все люстры зажжены. Быть может, именно теперь, в конце этого круга его ждет необычный выигрыш? Десять тысяч сорвал в один миг сын шейха из какой-то восточной страны, сидящий напротив. Нет, он не сможет тотчас же встать и уйти. И, главным образом, потому, что старая английская леди с самого начала вечера пялит на него свои совиные глаза, упрятанные за стеклами пенсне, и она может бросить в его сторону исполненный холодного презрения взгляд. А на улице падает снег, замечая все в ночи. Приглушенный рокот бушующего моря. Нет, молодой человек не может просто так подняться и уйти. На оставшиеся деньги он купит последние жетоны. Зажмурит изо всех сил глаза, откроет их широко, откроет и заморгает, словно свет бьет слишком сильно. А снаружи в ночи бушует море, словно задыхается, и снег валит и валит в безмолвии.

Мы женаты уже более шести лет. Если тебе придется по служебным делам уехать в Тель-Авив, ты обычно возвращаешься домой в тот же вечер. Со дня нашей свадьбы мы никогда не расставались более, чем на две ночи. Мы женаты шесть лет и живем в этой квартире, а я все еще не научилась открывать и закрывать жалюзи на балконе, потому что ты приставлен к этому делу. Теперь, когда ты мобилизован, жалюзи открыты и днем и ночью. Я думаю о тебе. Ты ведь заранее знал, что мобилизация — это война, а не призыв на ученья. Война в Египте, а не на востоке. Короткая война — не затяжная. Все это ты просчитал с помощью своего внутреннего, хорошо сбалансированного механизма, благодаря которому ты постоянно выдаешь результаты безостановочного мыслительного процесса. Я должна представить на твое рассмотрение уравнение, от решения которого я завишу, подобно тому, как устойчивость человека зависит от высоты перил, на которые он опирается.

Утром я сидела в кресле и переставляла пуговицы на рукавах твоего черного пиджака; я пришила их так, как это нынче принято в модных костюмах. За шитьем я спрашивала себя: каким образом стеклянный непроницаемый колокол вдруг спускается на нас, отделяя нашу жизнь от вещей, мест, людей и мнений? Конечно же, Михаэль, существуют друзья, в наш дом приходят гости, есть и коллеги по работе, соседи, родственники. Но когда они сидят у нас в гостиной и разговаривают с нами, их речи всегда звучат глухо — из-за того стеклянного колокола, чье стекло вовсе не прозрачно. Только по выражению их лиц я пытаюсь догадаться, о чем они мыслят. Иногда их облик как бы расплывается, превращаясь в нечто бесформенное. Предметы, места, люди и мнения необходимы мне, чтобы я смогла выстоять. Ну а ты, Михаэль, ты доволен или нет? Откуда мне знать ... Временами ты грустен, не так ли? Доволен ли ты? А если я умру? А если ты умрешь? Я все еще бреду на ощупь. В преддверии, во введении, в предисловии. Все еще повторяю и заучиваю сложную роль, которую мне придется исполнить в будущем. Пакую чемоданы. Готовлюсь. Репетирую. Когда же мы тронемся в путь, Михаэль? Я устала все ждать да ждать. Ты кладешь свои руки на штурвал. Дремлешь или впал в задумчивость? Я не могу знать — ведь ты тих и ровен во все дни. Трогай, Михаэль, трогай, я уже давно готова и жду годами.



XXXV

СИМХА ЗАБРАЛА ЯИРА ИЗ ДЕТСКОГО САДА.
Его пальчики посинели от холода. По дороге они повстречали почтальона и получили из его рук военную почтовую открытку, посланную из Синайской пустыни: мой брат Иммануэль сообщает, что он жив-здоров и что ему довелось не только видеть, но и совершить нечто прямо-таки удивительное. Следующую открытку он пришлет нам из Каира, столицы Египта. Он надеется, что нам тут, в Иерусалиме, хорошо живется-можетя. А Михаэля он не встретил: пустыня необъятна, по сравнению с ней наш Негев кажется крошечной песчаной площадкой. Помнишь ли ты, Хана, как мы ездили с отцом в Иерихон, когда были маленькими? В следующий раз мы пойдем на Иорданию, и снова можно будет спуститься в Иерихон, купить плетеные циновки. Иммануэль просит поцеловать

за него Яира: «Расти молодцом и станешь бойцом. С любовью и почтением глядя — Иммануэль, твой дядя».

Он Михаэля мы не получили ни единой весточки.

Я вижу ...

В свете сигнальной лампочки на передней панели передатчика его лицо словно высечено резцом скульптора, он весь — выражение усталой ответственности. Плечи согнуты. Губы сжаты. Он склонился над прибором. Собран. Решительно повернулся спиной к лунному серпу, вознесенному над ним, ущербному и бледному ...

Два гостя навели меня под вечер.

В полдень на улице Турим встретились господин Кадишман и господин Глик. От господина Глика стало известно господину Кадишману, что госпожа Гонен больна, а господин Гонен призван на войну. Тут же они решили, что сегодня вечером явятся ко мне и предложат свою помощь. Они пришли навестить меня вдвоем: если бы меня навел один мужчина, это могло бы послужить поводом для сплетен.

Господин Глик сказал:

— Госпожа Гонен, вам, наверняка, трудно. Дни весьма напряженные. Зима холодная. А вы сидите тут одна ...

Тем временем господин Кадишман обследовал своими большими мясистыми пальцами стакан с чаем, стоящий у изголовья моей постели.

— Холодный, — заметил господин Кадишман с сожалением, — абсолютно холодный. Не позволите ли вы, госпожа Гонен, оккупировать вашу кухню — оккупировать, разумеется, в кавычках — и приготовить вам новый чай?

— Напротив, — сказала я, — мне можно встать с постели. Я немедленно надену халат и угощу вас кофе и какао.

— Сохрани вас Бог, госпожа Гонен, сохрани вас Бог! — перепугался господин Глик, заморгал глазами, словно я вдруг открыла ему нечто такое, о чем следовало бы скромно умолчать. Судорожный нервный тик тронул его губы. Словно зайчишка, которого бьет дрожь, едва слышит он чужой голос.

Господин Кадишман проявил заинтересованность:

— Что же пишет наш друг с театра военных действий?

— Ни одного письма пока еще не было,— ответила я с улыбкой.

— Бои уже закончились,— продолжал господин Кадишман с выражением игривой веселости на лице.— Бои уже закончились, и в пустыне Хорев больше нет наших ненавистников.

— Будьте добры, господин Кадишман, включите большой свет,— попросила я,— там, слева от вас. Зачем же всем нам сидеть в темноте?

Господин Глик схватил свою нижнюю губу большим и указательным пальцами. Глаза его словно проследили весь путь электрического тока — от выключателя на стене до лампочки под потолком. Может быть, он ощутил свою бесполезность, поскольку спросил меня:

— Не смогу ли я быть чем-нибудь полезным госпоже Гонен?

— Спасибо, господин Глик, вы очень любезны, но в помощи нет необходимости.

Неожиданно для себя я вдруг добавила:

— Наверно, и вам тяжело, господин Глик, без супруги, вот так ... в одиночестве?

Господин Кадишман на миг задержался у выключателя, словно засомневался в возможности благополучного исхода своих действий, и ему трудно поверить в собственный успех. Но тотчас он вернулся и уселся на свое место. Сидя, господин Кадишман походил на одно из тех первобытных созданий, у которых было огромное неповоротливое тело, но весьма маленькая голова. Я вдруг заметила нечно монголоидное в лице господина Кадишмана. Широкие, приплюснутые скулы. Лицо, которому присущи и грубые черты, и, напротив, удивительно тонкие линии. Татарская голова. Коварный следователь, допрашивавший Михаила Строгова. Я улыбнулась ему.

— Госпожа Гонен,— начал господин Кадишман, тяжело ворочаясь на своем месте,— госпожа Гонен, в эти великие дни я много размышляю над тем, что, хотя ученики Владимира Жаботинского были оттеснены с ключевых позиций, но сегодня его учение празднует великую победу.

Он говорил, словно испытывая огромное внутреннее облегчение. Мне понравились его слова: «Времена труд-

ные, но в конце трудных времен ждет награда». Так я перевела для себя его слова с татарского на свой, привычный мне язык. Не стоило огорчать его длительной паузой. Я сказала:

— Будущее покажет.

— Несомненно, нынешние дни уже говорят о многом, ясные и четкие вещи говорят нам эти дни, — восторгался господин Кадишман, и странное его лицо выражало ликование.

Тем временем господину Глику удалось сформулировать запоздалый ответ на мой вопрос, который уже перестал занимать меня:

— Моя госпожа, моя несчастная Доба, они лечат ее электрическим током. Шоком. Они говорят, что есть надежда. Нельзя впадать в отчаяние. Говорят, что с Божьей помощью ...

Его большие руки тискали, месили и без того мятую шляпу. Редкие усы подрагивали, похожие на маленького зверька. В голосе слышалась тревога, мольба о снисхождении, которого он недостоин: ведь отчаяние — жуткий грех.

Я сказала:

— Все будет хорошо.

Господин Глик:

— Дай-то Бог. Амен. Вот ведь несчастье, упаси Боже. И за что?

Господин Кадишман:

— Государство Израиль отныне изменит свой облик. На сей раз топор, как говорил наш великий Бялик, наконец-то в наших руках. Пришла очередь остальному миру жалобно выть и вопрошать, есть ли справедливость и когда она явится на свет Божий. Отныне Израиль — не «рассеянное овечьё стадо», и не «овца среди семидесяти волков», и не «скот, гонимый на убой». С этим покончено. С волками жить — по-волчьи выть. Все случилось так, как предвидел Владимир Жаботинский в своем пророческом романе «Самсон Назорей». Доводилось ли госпоже Гонен читать этот роман в превосходном переводе с русского? Весьма, весьма достойная книга, госпожа Гонен. Ее стоит прочитать именно теперь, когда наша армия преследует

войско фараона, с трудом уносящее ноги, и море не расступается перед нечестивцами египетскими ...

— Но почему же вы сидите, не сняв пальто? Я встану, включу печку, приготовлю чай. Будьте добры, снимите, пожалуйста, ваши пальто.

Словно человек, получивший выговор, господин Глик поспешно вскочил со своего места:

— Нет, нет, госпожа Гонен, нет никакой необходимости. Боже упаси! Ведь мы ... Просто мы исполнили заповедь «посещение больных». Мы вскоре покинем вас. Нет необходимости. Не вставайте. Да и печку включать не стоит.

Господин Кадишман:

— Ну что ж, и мне придется с вами расстаться. Направляясь на заседание комитета, я зашел сюда, чтобы выяснить, не могу ли я чем-нибудь помочь госпоже?

— Помочь, господин Кадишман?

— Может, вам что-нибудь необходимо сделать? Уладить то или иное дело в какой-то канцелярии?.. Или ...

— Я благодарна вам, господин Кадишман, за ваши добрые намерения. Вы — истинный джентльмен, каких теперь все меньше да меньше.

Его лицо динозавра засветилось. Он пообещал:

— Я вновь навещу вас завтра или послезавтра, чтобы узнать, что пишет с фронта наш друг.

— Милости просим, господин Кадишман, — ответила я, словно поддразнивая его. — Мой Михаэль изумительно умеет выбирать друзей.

Господин Кадишман подчеркнул, энергично кивая головой:

— Госпожа соизволила пригласить меня. Обязательно, обязательно приду с визитом.

Господин Глик произнес:

— Желаю госпоже полнейшего и скорого выздоровления. И, быть может, я смогу быть полезен. Сходить в бакалейную лавку либо с иными поручениями ... Есть ли в этом необходимость, госпожа моя?

— Как это любезно с вашей стороны, добрый господин Глик, — сказала я.

А он сосредоточил испытующий взгляд на своей мятой шляпе. Наступило молчание. Два пожилых джентль-

мена стояли теперь у порога, на максимальном расстоянии от моей постели. Господин Глик обнаружил и уничтожил белую ниточку на пальто господина Кадишмана. За окном пронесся ветер и стих. Из кухни донеслось урчание холодильника, словно у мотора проявились вдруг неожиданные силы. Вновь меня охватило ясное спокойное чувство, что вскоре я буду мертва. Какая холодная мысль ... Женщины уравновешенные отнюдь не безразличны к собственной смерти. Я и смерть безразличны по отношению друг к другу. Мы близки и чужды. Дальние родственники. Я чувствовала, что должна произнести что-нибудь. И немедленно. Да и нельзя мне расстаться с друзьями и позволить им уйти. Быть может, сегодня ночью, наконец-то, выпадут первые дожди. Безусловно, я совсем не старая женщина. Я умею быть красивой. Я должна немедленно встать. Надеть халат. Я обязана приготовить кофе и какао, подать печенье, принять участие в споре, быть интересной. Быть интересной: ведь и я — человек образованный, имею собственные взгляды и мнения. Но что-то сжало мне горло.

Я сказала:

— Вы очень спешите?

Господин Кадишман ответил:

— К великому сожалению, я вынужден покинуть вас. Господин Глик может остаться, если он того пожелает.

Господин Глик обернул свою шею толстым шарфом.

Пожалуйста, не уходите сейчас, мои престарелые братья, нельзя ей оставаться одной. Будьте добры, присядьте в кресла. Снимите ваши пальто. Успокойтесь. Поспорим о политике, о философии. Обменяемся мнениями по вопросам религии, веры, справедливости. Окунемся в живую, дружелюбную беседу. Вместе выпьем. Она боится остаться одна в доме. Оставайтесь. Не покидайте.

— Быстрейшего и скорейшего выздоровления госпоже Гонен. И спокойной ночи.

— Вы уже уходите? Я нагоняю на вас скуку?

— Не приведи Господь! Помилуй Бог! — смешались их встревоженные голоса.

В движениях этих джентльменов чувствовалась некая неуверенность, поскольку оба они — люди одинокие, да-

леко не молодые, не привыкшие исполнять заповедь «пощение больных».

— Улицы пустынно, — заметила я.

— Желаю вам доброго здоровья, — ответил господин Кадишман. Он сдвинул свою шляпу на лоб, словно вдруг прикрыл окно ставнями.

Господин Глик сказал мне, уходя:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, госпожа моя. Нет причин для беспокойства. Все будет хорошо. Все станет на свои места ... И воцарится мир, как говорится. О, госпожа моя улыбается. Как приятно видеть вашу улыбку.

Гости ушли.

Я тут же включила радио. Поправила одеяло. Неужели моя болезнь заразна? Почему же мои пожилые друзья забыли обменяться со мной рукопожатиями в начале и в конце своего визита?

Радио сообщило, что захват Синайского полуострова завершен. Министр обороны провозгласил, что остров Иотват, известный всем как остров Тиран, вновь принадлежит Третьему Царству Израильскому. Хана Гонен вернется к Ивонн Азулай. «Однако все наши устремления — к миру», — заявил министр с присущими ему модуляциями в голосе. При условии, что в арабском стане силы разума победят темные всплески инстинкта мести, наступит долгожданный мир.

Я думала о моих близнецах ...

Гнутя под ветром прямоствольные кипарисы в предместье Сангедрия. Распрямляются и вновь сгибаются в дугу. Я-то думаю, что их гибкость — чистое волшебство. Непрерывный холодный поток. И в то же время гибкость эта — статична. Несколько лет тому назад, холодным зимним днем, в здании университета в «Терра Санта» я записала слова профессора ивритской литературы, преисполненные подлинной грусти: от Авраама Мапу до Переца Смоленскина движение еврейского Просвещения переживало трудные и сложные внутренние противоречия. Кризис. Разочарования и прозрения. Один за другим рушатся прекрасные сны, и люди с нежной, чувствительной

душой сломлены. Но не согнуты. «Разорители и опустошители твои,— сказал профессор,— уйдут от тебя». Эта парафраза из пророка Исаяи имеет двойной смысл. По словам профессора, еврейское Просвещение само породило такие идеи, которые привели его к гибели. Спустя некоторое время многие из лучших его представителей отправились, как говорится, «обрабатывать чужие поля». Критик Авраам Ури Ковнер, личность трагическая, казалось, походил на скорпиона, который жалит самого себя, если бушующее пламя берет его в кольцо. В семидесятые — восьмидесятые годы девятнадцатого века возникло тяжелое ощущение невозможности выхода из замкнутого круга. Если бы не малочисленные мечтатели и борцы, реалисты, восставшие против реальности,— не состоялось бы наше Возрождение: это они предопределили его. «Но ведь великие дела всегда совершаются именно мечтателями»,— заключил профессор. Я не забыла.

Какой великий труд переводчика еще ждет меня! И это тоже я должна перевести на мой собственный язык. Я не хочу умирать. Госпожа Хана Гринбаум-Гонен — «ХАГ» — да ведь на иврите это слово означает «праздник». Да будет на то Его воля, и все дни жизни госпожи обернутся праздником. Давно уже мертв мой добрый друг, библиотекарь из «Терра Санта», ходивший в черной шапочке, с которым мы обменивались грамматическими парадоксами. Остались лишь слова. Я устала от слов. Какая дешевая приманка.



XXXVI

УТРОМ РАДИО СООБЩИЛО, ЧТО ДЕВЯТАЯ бригада захватила батареи береговой обороны в Шарм-эль-Шейхе, в Соломоновом заливе. Длительная морская блокада разлетелась в клочья. Отныне перед нами открываются новые горизонты.

И у доктора Урбаха нынче поутру была добрая весть. Лицо его осветилось дружелюбной, грустной улыбкой, дважды вздернул он свои миниатюрные плечики, словно не придавая значения своим же собственным словам:

— Нам отныне дозволено потихоньку ходить и немного работать. При условии, что не подвергнем себя никакому душевному усилию и, разумеется, не перетрудим горло. Да еще при условии, что наконец-то мы станем пребывать в мире с объективной реальностью. Желаю скорейшего выздоровления.

Впервые со дня ухода Михаэля в армию я встала и вышла на улицу. Я ощущала — что-то переменялось. Словно вдруг оборвался какой-то звук, высокий и пронзительный. Будто к вечеру заглушили двигатель, который стрекотал целый день. На протяжении всего дня этот шум не воспринимался, и лишь когда двигатель умолк, его заметили: внезапная тишина. Был и пропал. Пропал, значит, был.

Я отказалась от помощи домработницы. Написала в кибуц Ноф Гарим успокаивающее письмо маме и жене брата. Испекла пирог с творогом. В полдень позвонила военному коменданту Иерусалима, просила сообщить мне, где расположен батальон Михаэля. Мне ответили с вежливыми извинениями: большинство наших сил все еще — в движении. Почтовая связь неудовлетворительна. Но нет поводов для беспокойства. Имени Михаэль Гонен нет ни в одном их ТЕХ списков.

Напрасные хлопоты. Вернувшись из аптеки, я нашла в почтовом ящике письмо от Михаэля. По штемпелю я установила, что оно задержалось в пути. Прежде всего Михаэль с тревогой спрашивал о моем здоровье, о сыне, о доме. Затем он сообщал мне, что вполне здоров, только вот изжога ему досаждала, ибо готовят здесь из рук вон плохо. Кроме того, в самый первый день он разбил свои очки. Михаэль подчинился закону о военной цензуре и не сообщил, где находится, но использовал возможность намекнуть мне окольным путем, что его батальон не принимал участия в боях, а охранял границы государства. В конце Михаэль просил меня не забыть, что Яира следует отвести к зубному врачу в ближайший четверг.

Стало быть, завтра.

Назавтра мы с Яиром отправились в медицинский центр имени Штрауса, где находилась районная зубоврачебная клиника. Иораму Каменицеру, сыну наших соседей, было по пути с нами. Он спешил в клуб молодежного движения «Бней Акиба», что по соседству с центром имени Штрауса. Иорам, смущаясь, пытался объяснить мне, как огорчила его весть о моей болезни и как обрадовало его мое выздоровление. Мы задержались у прилавка,

где продавалась горячая кукуруза. Я собралась угостить Яира и Иорама. Иорам вначале счел, что ему стоит отказаться от угощения. Отказ его звучал робко, слова он проглатывал. Я была с ним чересчур строга. Спросила, почему сегодня он выглядит таким мечтательным и рассеянным, уж не влюбился ли в одну из сверстниц?

Мой вопрос привел к тому, что лоб юноши покрылся крупными каплями пота. Он хотел вытереть лицо, но не смог этого сделать, потому что руки его были липкими: он держал кукурузный початок, который я ему все-таки купила. Я не отвела своего пристального взгляда, надеясь вогнать его в полное замешательство. Унижение и отчаяние всколыхнули в юноше волну нервной смелости. Он обратил ко мне свое посеревшее страдающее лицо и пробормотал:

— Госпожа Гонен, у меня нет никаких дел со сверстницами, да и вообще с девчонками. Весьма сожалею, я не хотел бы вас обидеть, но вы не должны были задавать мне подобные вопросы. Ведь и я не спрашиваю ... Любовь и другие подобные вещи ... они всегда ... дело личное.

Поздняя осень заполонила Иерусалим. В небе — ни облачка, но и ясным его не назовешь. Было оно цвета осени: голубоватое с серым отливом. Подобно цвету дороги или цвету старинных каменных зданий — вот он подходящий оттенок. Я ощутила, что, вне всякого сомнения, со мной это уже не в первый раз. Я уже бывала здесь. Мне все мучительно знакомо. Я сказала:

— Прости меня, Иорам. На миг я забыла, что ты учишься в религиозной школе. Я проявила любопытство. Ты не обязан делиться со мной своими секретами. Тебе — семнадцать, а мне уже двадцать семь, и, естественно, я кажусь тебе древней старухой.

И на этот раз я привела его в смятение, еще большее, чем в предыдущий раз. И преднамеренно. Он отвел глаза в сторону. В охватившей его лихорадке он случайно толкнул Яира, едва не опрокинув его наземь. Он начал было говорить, не нашел нужных слов и совсем отчаялся:

— Старуха? Вы?.. Напротив, госпожа Гонен, напротив. Я хотел сказать, что ... Вас интересуют мои проблемы и ... с вами я могу иногда пого... Нет. Когда я пытаюсь выра-

зить это словами, то получается все наоборот. Я думаю только, что ...

— Успокойся, Иорам. Ты не обязан говорить.

Он был в моих руках. Я властвовала над ним безраздельно. По своему желанию я могла вызвать на его лице любое выражение. Словно рисовала на листке бумаги. Много лет прошло с тех пор, когда в последний раз подобная нечистая игра доставляла мне удовольствие. Поэтому я продолжала, высвобождая маленькими глотками внутренний смех, заливавший меня:

— Нет, Иорам. Ты не обязан говорить. Можешь написать мне письмо. Кроме того, ты почти все уже сказал. Кстати, кто-нибудь уже говорил тебе, что глаза у тебя очень красивые? Если бы ты был уверен в себе, мой юный друг, то разбил бы не одно сердце. И если бы я была молодой, твоей ровесницей, а не древней старухой, то уж не знаю, как могла бы я устоять и не влюбиться в тебя. Ты — прелестный юноша.

Не отвела я свой холодный взгляд от лица парня. Я впитывала его удивление, восторг, страдание, безумные надежды. Я вся была во власти упоительного ощущения.

Иорам пробормотал:

— Вы не должны, госпожа Гонен...

— Хана. Можешь называть меня просто — Хана.

— Я ... я вас уважаю и ... уважаю — это не совсем точное слово, хотя ... чувство уважения и ... глубокого внимания ...

— Почему ты извиняешься, Иорам? Ты мне нравишься. Это вовсе не грех — нравиться.

— Вы заставляете меня испытывать чувство сожаления, госпожа Гонен ... Хана ... Я не буду больше говорить, чтобы потом не жалеть об этом. Извините, госпожа Гонен.

— Говори, Иорам. Я не уверена, что тебе придется жалеть о сказанном.

И тут вдруг вмешался Яир. Сквозь зубы, перемалывающие кукурузные зерна, он процедил:

— Сожалеют — это англичане. В Войне за Независимость они были на стороне арабов, а теперь они сожалеют — в нашу пользу.

Иорам сказал:

— Госпожа Гонен, здесь я должен свернуть направо. Я хотел бы, чтобы вы забыли все, что я наговорил, и прощу у вас прощения.

— Подожди, Иорам, одну минутку. У меня к тебе есть просьба ...

Яир:

— Когда мы были в Холоне, еще жив был дед Залман, он объяснил мне, что у англичан — холодная кровь, как у змей.

— Да, госпожа Гонен, исполню с удовольствием.

— Мама, что это значит? Что у змей холодная кровь?

— Это значит, что кровь у змей не теплая. Холодная.

Иорам, ты так мил. Я хотела бы попросить тебя ...

— Но почему же это так? Почему у змей кровь не теплая? Почему у всех людей кровь теплая, кроме англичан?

— Скажите, что вы не сердитесь на меня, госпожа Гонен. Возможно, я молол чепуху ...

— Сердце разгоняет кровь и нагревает ее — так это у людей и у некоторых животных. Подробно я не смогу это тебе объяснить. Не мучай себя, Иорам. Когда я была молодой, в твоём возрасте, и у меня были необъятные силы для любви. Мне бы хотелось с тобой еще поговорить — сегодня или завтра. Яир, помолчи минутку, хватит приставать и теребить меня. Сколько раз говорил тебе отец, что нельзя перебивать других. Сегодня или завтра, Иорам, — об этом я и хотела тебя попросить. Я должна поговорить с тобой. Мне хотелось бы кое-что тебе посоветовать.

— Я никого не перебивал. Может быть, Иорама. Но это он перебил меня.

— Не стоит мучить себя, Иорам. До свиданья. Я вовсе не сержусь, Иорам, да и ты не сердись на себя. Я ведь уже ответила, Яир, что так это в природе. Не все в мире можно объяснить: «как», «где», «что», «почему», «зачем». «Если бы бабушка крылья имела, орлом в поднебесье она бы взлетела». Когда отец вернется домой — получишь все объяснения, ведь твой отец умнее меня и знает про все на свете.

— Нет, он не знает про все на свете. Но если он не знает, то говорит мне, что не знает, никогда не говорит, что он знает, но не может объяснить. Так на свете не бывает. Все, что знаешь, можно объяснить. Я закончил.

— Ну и слава Богу, Яир.

Мальчик выбросил кукурузную кочерыжку. Осторожно вытер салфеткой свои ладошки. Терпеливо снес обиду. Молчал. Не ответил даже на мой панический вопрос — не забыли ли мы выключить газ перед уходом. Я не выносила эту его упрямую гордость.

В клинике мне пришлось силой усадить его в зубо-врачебное кресло, хотя он и вообще-то не противился лечению. С тех пор, как Михаэль объяснил ему, какой вред наносят здоровью испорченные зубы, Яир проявлял явное стремление к сотрудничеству с врачами. И врачи не переставали удивляться. Более того, бормашина и прочее медицинское оборудование вызывали у мальчика пристальный интерес, который был мне ненавистен: пятилетний ребенок, наслаждающийся зубной болью, вырастет отвратительным человеком. Я презирала себя за подобные мысли, но не могла от них избавиться.

Пока врач занимался зубами Яира, я сидела на низкой скамеечке в коридоре и пыталась привести в порядок свои мысли, которыми я собиралась поделиться с Иорамом Каменицером.

Сначала я намеревалась вырвать у него ту самую исповедь, которая так отягощала его душу. Я знала, что легко достигну своей цели, и это вновь доставит мне удовольствие от ощущения своей силы, которая не оставила меня полностью, хотя Время и ополчилось против нее, в клочья разрывая ее своими бледными, неумолимыми пальцами и безостановочно подтачивая ее.

А затем, когда Иорам будет полностью в моей власти, я собиралась убедить его, что жизненный путь, который он избирает, должен обрести другое направление: иначе говоря, я хотела соблазнить его карьерой поэта, к примеру, а не школьного преподавателя Библии. Так сказать, перетянуть его на противоположный берег. В общем, в последний раз изгнанная принцесса подчинит себе последнего Михаила Строгова, возложив на него высокую миссию.

Кроме нескольких слов участия, обращенных к Иораму, никаких других действий я предпринимать не собиралась, потому что он — юноша чувствительный, и потому еще, что не нашла я в нем ни волшебной гибкости и силы, ни всплеска той внутренней энергии, которая затопляет все существо.

Но понапрасну я строила планы. Парень так и не исполнил своего обещания, данного впопыхах: он просто не пришел меня навестить. По-видимому, я нагнала на него такого страха, что он не сумел справиться с ним.

В том же месяце в одной из захудалых газет были напечатаны стихи Иорама о любви. В отличие от предыдущих его стихотворений на сей раз он осмелился упомянуть определенные части женского тела. Речь шла о супруге Потифара, обнажающейся, чтобы соблазнить Иосифа-праведника.

Господин и госпожа Каменицер были немедленно вызваны к директору средней религиозной школы, где учился Иорам. Стороны пришли к соглашению, что скандал можно будет замять при одном условии: юноша закончит учебный год в школе ультрарелигиозного кибуца на юге страны. Все эти подробности я узнала спустя некоторое время. Да и стихи о страданиях Иосифа-праведника попали ко мне позднее. Я получила их по почте, на конверте мое имя было написано квадратными печатными буквами. То была выпретенная, цветистая поэма: вопль измученного тела, задрапированный рифмованными строчками.

Я признала свое поражение. Иорам пойдет учиться в университет, а затем будет преподавать Библию и иврит — поэта из него не выйдет. Возможно, при случае станет старательно нанизывать рифмы, например, на обороте разрисованной открытки, которую он пошлет нам к Новому году. И мы, семейство Гонен, пошлем ему ответную открытку с пожеланиями Иораму и его молодой семье. Присутствие Времени неизменно: застывшее, высокое, прозрачное присутствие, не выказывающее своей любви ни к Иораму, ни ко мне, не сулящее нам ничего хорошего.

По сути все предопределила истеричная госпожа Глик. Перед тем, как забрали ее в больницу, она во дворе налетела на юношу, разорвала на нем рубашку, ударила его по щеке, наградив такими прозвищами, как «прелюбодей», «подглядывающий в замочную скважину», «гнусные глаза».

Но именно я потерпела поражение. Это была моя последняя попытка. Однако холодная предопределенность оказалась сильнее меня. Отныне я позволю себе держаться на поверхности. Плыть по течению. Не низвергаться потоком. Покориться.



XXXVII

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, К ВЕЧЕРУ, КОГДА я купала Яира, мыла ему голову, в прямоугольнике двери появился худой запыленный человек. Из-за плеска воды, из-за болтовни Яира я и не слышала, как он вошел. Он стоял в носках на пороге ванной. Наверно, несколько минут стоял он так и наблюдал за нами, пока я заметила его и испустила низкий вопль удивления и потрясения. Ботинки свои он снял в коридоре, чтобы не вносить грязь в дом.

— Михаэль, — собиралась произнести я с легкой улыбкой, но это имя вырвалось из гортани с рыданьем.

— Яир. Хана. Добрый вечер вам. Рад видеть вас в добром здравии. Мир вам, мои дорогие. Я вернулся.

— Папа, ты убивал арабов?

— Нет, сынок. Напротив. Еврейская армия меня чуть

было не погубила. Потом расскажу. Хана, вытри ребенка и одень его, пока он не простудился. Вода уже остыла.

Батальон резервистов, в котором служил Михаэль, все еще не был демобилизован, но Михаэля освободили, потому что по ошибке призвали двух радистов сверх штатного расписания. И потому, что из-за разбитых очков он был почти беспомощен у радиопередатчика. И потому, что все равно всех солдат батальона демобилизуют через пару дней, и они разъедутся по домам. И еще потому, что он, Михаэль, немного болен.

— Ты болен?! — возвысила я голос, словно выговаривала ему.

— Я же говорю: немного. Нет повода для крика, Хана. Ведь ты сама видишь, что я хожу, говорю, дышу. Немного болен. По-видимому, какое-то желудочное отравление.

— Я кричу от волнения, Михаэль. Немедленно перестану. Уже перестала. Все. И не плачу. Вот. Я соскучилась по тебе, Михаэль. Мне тебя так не хватало. Когда ты уехал, я была больна. Не в себе. А теперь я не больна. Я буду добра к тебе. Я хочу тебя. Ты умойся, а я уложу Яира спать. Приготовлю королевский ужин. Постелю белую скатерть. Открою бутылку вина. Так мы начнем наш вечер. Вот, по глупости я выболтала то, что задумала как сюрприз.

— Я не уверен, что мне можно сегодня пить вино, — извинился Михаэль, и тихая улыбка появилась на его лице. — Я чувствую себя нехорошо ...

Умывшись, Михаэль разобрал свой армейский рюкзак. Пропотевшую одежду бросил в корзину с бельем. Разложил по местам все свои вещи. Он свернулся под зимним одеялом, его била дрожь так, что зуб на зуб не попадал. Просил простить его за то, что вечер нашей встречи оказался испорченным.

Лицо у него было странным. Из-за того, что очки его разбились, читать газеты ему было трудно. Он погасил свет и отвернулся лицом к стене. Ночью я несколько раз просыпалась. Мне казалось, что Михаэль стонет, либо его,

возможно, мучает отрыжка. Я спросила его, не хочет ли он чаю. Михаэль поблагодарил, но отказался. Я встала и приготовила чай. Приказала ему выпить. Он подчинился и с трудом глотал. Из горла его вновь вырвался звук, не похожий ни на стон, ни на отрыжку. Казалось, что он чувствовал, как подступала рвота.

— Тебе больно, Михаэль?

— Нет, совсем не больно. Спи, Хана. Поговорим об этом завтра.

Утром я отправила Яира в детский сад и вызвала доктора Урбаха. Врач вошел, семеня мелким китайскими шажками, грустно улыбнулся, объявил, что мы нуждаемся в срочном медицинском обследовании в больнице. Заключил он своей всегдашней успокоительной формулой:

— Человек не умирает так быстро, как это кажется нам в критические моменты. Желаю полнейшего выздоровления.

В такси, по дороге в больницу «Шаарей Цедек», Михаэль пытался шуткой развеять мою тревогу:

— Я чувствую себя, как герой войны из советского фильма. Почти.

А затем после паузы он в задумчивости попросил меня, чтобы я сообщила о его болезни тете Жене в Тель-Авив, если состояние его ухудшится.

Я помню. Когда мне было тринадцать, мой отец, Иосиф Гринбаум, заболел в последний раз. Он умер от злокачественной опухоли. За несколько недель до смерти его лицо было тронут печатью разрушения. Кожа сморщилась и пожелтела, щеки ввалились, зубы и волосы выпали. Казалось, что с каждым часом он уменьшается в размерах. Больше всего испугали меня запавшие губы, создававшие впечатление застывшей сардонической улыбки. Словно его болезнь — хитрая уловка, которая увенчалась полным успехом. В свои последние дни он был охвачен какой-то наигранной страстью к шуткам-прибауткам: он говорил нам, что проблемы загробной жизни всегда возбуждали его любопытство еще со дней молодости в городе Кракове. Однажды он даже написал по-немецки

послание профессору Мартину Буберу, где задавал вопросы по этому поводу. В другой раз напечатал в газете «Наблюдатель» свои мысли в связи с теми же проблемами. И вот через считанные дни у него будет аргументированный и достоверный ответ на загадку загробной жизни. Отец хранил письмо к нему профессора Бубера, где говорилось, что наша жизнь продолжается в наших потомках, в творческой работе.

— По части творчества мне нечем гордиться, — насмешливо улыбались его запавшие губы, — но потомки есть и у меня. Не ощущаешь ли ты себя, Хана, продолжательницей моей души или моего тела?

И тут же добавил:

— Я пошутил. Твое личное ощущение — это твое личное ощущение. Ведь о подобных вещах уже сказано древними, что нет на них ответа.

Отец умер дома. Врачи считали, что госпитализация бессмысленна, поскольку нет никакой надежды, и отец знал это, и врачи знали, что он это знает. Они прописали ему болеутоляющее, поражаясь душевному спокойствию, проявленному отцом в его последние дни. В продолжение всей жизни готовился он к смертному часу. Последнее свое утро отец провел в кресле, где сидел он в коричневом домашнем халате, решая кроссворд из английской газеты «Палестайн Пост». В полдень отец отправился на почту, чтобы отослать в редакцию газеты свое решение. Вернувшись домой, он зашел в свою комнату, не прикрыв за собой дверь. Он оперся на подоконник, выглядывая в окно. И умер. Ему очень хотелось избавить близких от неприятного зрелища. Иммануэль, мой брат, в то время уже стал членом подпольной боевой организации и проходил тренировку в кибуце далеко от Иерусалима. Мы с мамой были в парикмахерской. С фронтов войны в этот день пришли непроверенные известия о переломе, наступившем после великой битвы под Сталинградом. Отец написал завещание, где мне оставлялось три тысячи лир, которые я получу в день своей свадьбы. Половину я должна была отдать Иммануэлю, если он уйдет из кибуца. Отец был человеком бережливым. Он оставил нам в наследство еще и картонную папку, в которой хранилась дюжина писем от выдающихся людей, удостоивших отца

своими ответами на заданные им вопросы научного и философского характера. Два или три письма были написаны собственноручно мировыми знаменитостями. А еще он оставил записную книжку. Сначала я по ошибке думала, что отец тайком записывал свои мысли и наблюдения. Но впоследствии оказалось, что записывал он высказывания, слышанные им от великих людей в разное время. Например, в поезде «Иерусалим — Тель-Авив» отец сидел на скамейке рядом с выдающимся лидером Менахемом Усышкиным и слышал от него следующую фразу: «Хотя и существует необходимость каждое действие подвергать сомнению, однако бывает необходимость совершать такие действия, будто из мира исчезли всяческие сомнения». Эти слова я нашла в записной книжке отца, а в скобках был указан источник, дата и сопутствующие обстоятельства. Отец был человеком, который, вслушиваясь, искал знамений и предвестий. Всю свою жизнь он склонялся перед мощными силами, которыми природа обделила его, и вовсе не считал это унижительным для себя. Я любила его больше, чем какую-либо другую живую душу на этом свете.

Три дня пролежал Михаэль в больнице «Шаарей Цедек». У него обнаружили первые признаки болезни желудка. Благодаря бдительности доктора Урбаха, болезнь удалось распознать уже на начальной стадии. Отныне ему запрещены некоторые блюда. Со следующей недели Михаэль сможет приступить к своей обычной работе.

В одно из наших посещений больницы Михаэлю представилась возможность исполнить свое обещание и наконец-то рассказать сыну о войне. Он рассказывал о патрулировании, о засадах, о боевых тревогах. Нет, он не может ответить на вопросы, касающиеся передовой линии фронта: что поделаешь, твой отец не участвовал в захвате египетского миноносца в Хайфском заливе, не был в городе Газа. И вблизи Суэцкого канала не приземлялся с парашютом. Ведь он и не пилот, и не парашютист.

Яир проявил понимание:

— Ты не очень-то годен к войне. Поэтому тебя и не взяли.

— Кто же, по-твоему, годен к войне, Яир?

— Я.

— Ты?

— Когда вырасту. Я буду крепким солдатом. Я сильнее некоторых больших ребят у нас во дворе. Быть слабым — это очень плохо. Как у нас во дворе. Я закончил.

Михаэль сказал:

— Надо быть разумным, сынок.

Яир замолчал. Сравнивал, увязывал, обобщал. Был серьезен. Сконцентрирован. И наконец вынес твердое суждение:

— Разумный — это не сильный, но наоборот.

Я сказала:

— Люди разумные и сильные — вот кто мне нравится больше всего. Мне бы очень хотелось повстречать однажды человека разумного и сильного.

Михаэль, естественно, ответил мне улыбкой. И молча.

Наши друзья не оставляли нас. Визиты следовали один за другим. Господин Глик. Господин Кадишман. Геологи. Моя лучшая подруга Хадасса с мужем, которого зовут Аба. И наконец Ярдена, золотоволосая подруга Михаэля. Она пришла в сопровождении офицера войск ООН. Это был гигант-канадец, и я не могла глаз от него отвести, хотя Ярдена заметила это и даже подмигнула мне дважды. Она склонилась над постелью Михаэля, поцеловала его руку, словно он умирает, и сказала:

— Брось ты это, Миха, тебе это все не к лицу, все эти болезни. Ты меня удивляешь. Можешь мне не поверить, но я уже подала работу и даже записалась на заключительный экзамен. Потихоньку-полегоньку. А ты, мой сладчайший Миха, не сможешь ли подготовиться к экзамену?

— Разумеется, — ответил Михаэль со смехом. — Помогу. Я за тебя очень рад, Ярдена.

Ярдена ответила:

— Миха — ты чудо. Такого умного и милого я еще не встречала. Будь здоров!

Михаэль выздоровел и вернулся к своей работе. И своими исследованиями он снова занялся после долгого перерыва. Снова по ночам я вижу его движущийся силуэт сквозь неплотно прикрытую стеклянную дверь, разделяющую его рабочий кабинет и комнату, в которой я сплю. Чай без лимона я подаю Михаэлю в десять часов. В одиннадцать он отвлекается от своей работы на короткое время, чтобы послушать сводку новостей. А затем — пляшут, сплетаются тени на стене, следуя за каждым его движением в ночи: вот он открыл ящик стола; перевернул страницу; положил голову на ладони; протянул руку, чтобы взять книгу ...

Очки его вернулись из починки. Тетя Лея прислала ему новую трубку. Мой брат Иммануэль подбросил из кибуца Ноф Гарим ящик яблок. Мама связала Михаэлю красный шарф. И наш зеленщик, уроженец Персии, господин Элиягу Мошия тоже вернулся из армии.

И наконец во второй половине ноября пришел долгожданный дождь. Из-за войн дождь в этом году припоздал. Он налетел с силой и яростью. Весь город спрятался за ставнями. Чувствовалось, как влага неслышно пропитывает все вокруг. Двор наш — вымокший и пустынный. Унылое бульканье водосточных труб. По ночам мощные порывы ветра сотрясают закрытые ставни. Старая смоковница, печальная и обнаженная, стоит напротив кухонного балкона. Но сосны зазеленели, словно убранные в богатые одежды. Их шепот исполнен жизни, он не покидает меня ни на минуту. Каждый автомобиль, проезжающий по нашей улице, оставляет по себе переливчатое эхо — от соприкосновения колес с мокрым асфальтом.

Дважды в неделю я хожу на интенсивный курс английского, организованный союзом работающих матерей. В перерывах между дождями Яир пускает кораблики в луже перед нашим домом. Его одолевает странная тоска по морю. Когда дождь запирает нас дома, ковер и кресло служат ему океаном и портом, а кубики и костяшки домино — это его флот. Великие морские баталии разыгрываются в гостиной. Египетский эскадренный миноносец пылает в открытом море. Орудия изрыгают огонь и гром. Капитан принял твердое решение.

Иногда, когда мне удается пораньше управиться с приготовлением ужина, я тоже включаюсь в игру: моя пудреница — это подводная лодка. Я — вражеская сторона. Однажды в приливе чувств я вдруг сжала Яира в объятиях. Голову сына я покрыла бешеными поцелуями, потому что на миг мне почудилось, что он — настоящий капитан. За это я немедленно была изгнана — и из игры, и из комнаты. Мой сын вновь проявил свою угрюмую гордость: мне позволено участвовать в игре лишь при условии, что я буду нейтральной и не стану проявлять свои чувства во время боя.

Быть может, я ошибаюсь. Холодная властность вдруг открылась мне в Яире. Она досталась ему не от Михаэля. И уж, конечно, не от меня. Колоссальные способности его памяти вновь потрясли меня. Он до сих пор помнит о банде Хасана Саламе, атаковавшей Холон со стороны Тель-Ариша, о чем рассказывал ему покойный дед полтора года тому назад.

Через несколько месяцев Яир перейдет из детского сада в школу. Мы с Михаэлем решили послать его в школу «Бейт-а-Керем», а не в расположенную по соседству религиозную школу для мальчиков «Тахкемони»: Михаэль твердо решил, что сын его получит современное, прогрессивное образование.

Соседи с третьего этажа, семейство Каменицер, выказывают в мой адрес вежливую враждебность. Они все еще снисходят до того, чтобы отвечать на мои приветствия, но уже не посылают свою маленькую дочь, чтобы одолжить у меня утюг или форму для выпечки тортов.

Господин Глик навещает нас, словно по расписанию, один раз в пять дней. Его систематическое чтение Еврейской Энциклопедии продвигается, и он уже дошел до статьи «Бельгия». В Антверпене, в Бельгии, живет торговец алмазами, брат Добы, несчастной жены господина Глика. Дела госпожи Глик явно идут на поправку. Врачи обещают выписать ее в апреле или в мае. Признательность нашего соседа не знает границ: кроме субботнего приложения к религиозной газете «Хацофе», он обычно приносит нам в подарок всякие коробочки со скрепками, кнопками, разные наклейки, иностранные почтовые марки.

В последнее время Михаэлю удалось пробудить в Яире активный интерес к собиранию марок. Каждым субботним утром они углубленно занимались своей коллекцией. Яир погружал марки в воду, осторожно отделяя остатки конвертов от тыльной стороны марок, для просушки выкладывал их лицевой стороной на промокательную бумагу, подаренную бескорыстным господином Гликом. Михаэль сортировал просохшие марки и клеил их в альбом. Я же в это время ставила пластинку. По обыкновению, углубившись в кресло, поджав под себя босые ноги, я занималась вязаньем и слушала музыку. Умиротворенная. Со своего места я могу видеть в окно, как соседка в доме напротив развесила на балконных перилах постельные принадлежности для проветривания. Я ни о чем не думаю и ничего не чувствую. Настоящее становится прошедшим. Я не замечаю Времени, намереваясь таким путем унижить его. Я отношусь к нему так, как в юности относилась к вызывающим взглядам грубых мужчин: я сама не спускала с них глаз, не отворачивала лица. Губы мои складывались в презрительную, холодную усмешку. Никаких признаков беспокойства или стеснения. Словно я говорила им:

— Ну и что?

Итак, я знаю и признаюсь: это — жалкая попытка самозащиты. Жалкая и безобразная уловка. Я не предъявляла чрезмерных требований: стекло должно было оставаться прозрачным. Воспитательница в детском саду, крупнотелая, с расширенными венами на икрах ног. Ивонн Азулай движется в безбрежном море. Стекло должно было оставаться прозрачным. Не более того.



XXXVIII

В САМЫЙ РАЗГАР ЗИМЫ ВЫПАДАЮТ В ИЕРУСАЛИМЕ ясные субботние дни, промытые солнцем. Небеса — не просто бирюзовые, цвет их — сгусток пронзительной голубизны, мощной и глубокой, словно море вознеслось ввысь и распростерлось над городом. Это — ослепительная ясность. Прозрачность, сотканная из бесшабашного птичьего пения. Испепеляющий свет. Все, что в отдалении, — холмы, дома, роци — словно охвачено неутрачиваемым трепетом. Влажные испарения — вот причина этого явления, как объяснил мне Михаэль.

В такие субботние дни мы обычно пораньше заканчиваем завтрак и отправляемся в далекое путешествие. Миновав «религиозные» кварталы, добираемся до Тальпиота, до Эйн Керема, Малхи, даже до Гиват Шауля. В полдень мы отдыхаем в одной из роциц и трапезничаем. На исходе субботы мы возвращаемся домой с первым же вечер-

ним автобусом. Дни, исполненные покоя. Порою я воображаю, что Иерусалим весь открылся мне, и лежит он без тайн, и все его сокровенные уголки залиты светом. Я не забываю, что голубой цвет — явление мимолетное. Пролетят птицы ...

Но я уже научилась отречься. Держаться на поверхности. Не сопротивляться.

В одну из таких субботних прогулок мы случайно встретились со старым профессором, у которого в юности я слушала лекции по ивритской литературе. В результате немалых усилий, весьма трогательных, профессору удалось не только вспомнить мою фамилию, но и связать ее с моим обликом. Он спросил:

— Какой сюрприз готовит нам таинственная незнакомка? Сборник стихов?

Я опровергла его предположение.

Профессор на миг задумался, вежливо улыбнулся и заметил:

— Сколь прекрасен наш Иерусалим! Не напрасно на протяжении веков в темных глубинах изгнания томилась и тосковала по нему бесчисленные поколения.

Я согласилась с ним. Мы расстались, обменявшись рукопожатием. Михаэль пожелал старику доброго здоровья. Профессор даже изобразил легкий поклон и все махал своей шляпой. Эта встреча меня очень обрадовала.

Мы собираем букет полевых цветов: лютики, нарциссы, цикламены, анемоны. Приходится нам пересекать заброшенные участки земли. Отдыхаем мы в тени скалы, бурой и влажной. Издали обозреваем приморскую низменность, горы Хевронские, Иудейскую пустыню. Иногда играем мы в прятки или догонялки. Оступаемся и смеемся. Михаэль весел и легкомыслен. Порой он способен выразить свой восторг, например, так:

— Иерусалим — это самый большой город в мире. Стоит пересечь две-три улочки — и перед тобой уже иной континент, иное поколение и даже иной климат.

Или:

— Как прекрасно все вокруг, Хана. И как прекрасна ты, моя грустная дочь Иерусалима.

Яира интересовали главным образом две темы: бои во время Войны за Независимость и система автобусных ли-

ний общественного транспорта. События войны Михаэль объясняет подробно: рукой указывает точки на местности, отмечает их особые приметы, веточкой рисует на земле схемы, с помощью камешков и шишек объясняет диспозицию: здесь были арабы, а здесь — мы; они намеревались прорваться тут, мы обошли их вон там.

Михаэль считает необходимым подробно рассказать мальчику и о промахах, и об ошибочных тактических предпосылках, и о явных провалах. Я тоже слушаю и учусь. Как мало знала я о битве за Иерусалим! Вилла, принадлежавшая Рашиду Шхаде, отцу близнецов, была передана организации здравоохранения; она стала клиникой, где заботились о роженицах и кормящих матерях. На пустыре построили жилой дом. Немецкая и Греческая колонии были покинуты и немцами, и греками. Оставленные дома заселили другие люди. В Иерусалиме прибавилось мужчин, женщин и детей. Однако эта битва за Иерусалим — не последняя. Так слышала я от нашего друга, господина Кадишмана. Я тоже ощущаю, как бродят в недрах беспокойные тайные силы, набухают и зреют заговоры, вздымаются, готовые прорвать оболочку и выплеснуться на поверхность.

Я поражаюсь умению Михаэля объяснить ребенку простыми словами самые сложные вещи. Он почти не употребляет прилагательных. Поражают меня и разумные, серьезные вопросы, которые задает Яир.

Война кажется Яиру необычайно сложной игрой, в которой вдруг открывается удивительный мир, упорядоченный и логичный. Оба они — и мой муж, и мой сын — воспринимают Время как некую последовательность клеточек на листке тетради по арифметике: клеточки — залог сохранения структуры и самого существования.

Никогда не возникает необходимости объяснить Яиру противоположные устремления воюющих сторон. Это ведь нечто само собой разумеющееся — завоевать и властвовать. Вопросы мальчика затрагивают лишь внутреннюю логику событий: арабы, евреи, холм, долина, руины, шоссе, окопы, укрепления, движение, неожиданность, расчет.

Система городских автобусных линий также поражала воображение моего сына — сложностью своего назначения. Разветвленная транспортная сеть вызывала в нем хо-

лодный восторг: вычисление расстояний между остановками, совпадающие общие участки пути на протяжении многих маршрутов, соединяющихся в центре города и разбегающихся по окраинам. Здесь Яир превосходил нас обоих. Михаэль предсказывал, что, когда наш сын вырастет, он станет диспетчером в одной из автобусных компаний, не забывая подчеркнуть, что это предсказание, разумеется, всего лишь шутка.

Яир в совершенстве знал марки всех машин, работающих на городских трассах. Он любил объяснять, почему выбирается та или иная марка автобуса: «Вот здесь — шоссе под откос. Здесь — крутой поворот. А здесь — дорога неисправна». Его манера говорить напоминала стиль лекций отца — оба они часто употребляли слова: «Итак ... Несмотря на ... Отсюда — вывод ...» А еще было у них выражени: «Вполне вероятно ...»

Я прилагаю все усилия, чтобы быть прилежной и тихой ученицей. И слушаю их обоих.

Видение:

Мой сын и муж склонились над какой-то огромной картой, разложенной на широком столе. Карта испещрена различными знаками. Разноцветные флажки воткнуты в соответствии с неким обусловленным порядком, который мне кажется абсолютным хаосом. Они ведут вежливый спор — на немецком языке. Оба — в серых костюмах, их галстуки спокойных тонов заколоты серебряными булавками. Я с ними — усталая, в несвежей, нечистой ночной рубашке. Они погружены в свои занятия. Залиты белым светом, но не отбрасывают тени. Оба они — полная сконцентрированность и осторожная ответственность. Я перебиваю их каким-то замечанием или просьбой. Они проявляют благосклонность и приветливость, не выказывают недовольства моим вмешательством. Они готовы помочь. С удовольствием исполняют мою просьбу. Не соизволю ли я подождать пять минут?..

Но бывают и иные субботние прогулки. Мы проходим самыми уважаемыми кварталами — Рехавия, Бейт-а-Керем. Выбираем себе дом, в котором будем жить. Осматриваем недостроенные дома. Обсуждаем до-

стоинства и недостатки разных квартир. Делим между собой комнаты. Определяем место для каждого предмета нашей обстановки: тут игрушки Яира, здесь — рабочий кабинет, там — кушетка. Книжные полки. Кресла. Ковер.

Михаэль говорит:

— Мы должны были начать собирать деньги. Не можем мы всю жизнь прожить, перебиваясь с хлеба на воду.

Яир предлагает:

— Можно продать за деньги наш проигрыватель с пластинками. По радио и так много музыки. Да и та надоела.

Я:

— Мне бы хотелось путешествовать по Европе. И чтобы у нас дома был телефон. А если мы купим маленький автомобиль, то сможем по субботам ездить к морю.

В годы моего детства жил рядом с нами сосед-араб по имени Рашид Шхаде. Это был очень богатый араб. Теперь они наверняка живут в одном из лагерей беженцев. Дом их стоял в квартале Катамон — вилла, выстроенная вокруг внутреннего дворика. Дом окружал двор. Можно было сидеть снаружи и все-таки ощущать, что ты укрыт стенами. Я хочу жить в точно таком доме. И чтобы вокруг были сосны и скалы. Погоди, Михаэль, я еще не исчерпала свой список. Я хотела бы еще постоянную домработницу. И большой сад.

— И шофера в ливрее, — улыбнулся Михаэль.

— И личную подводную лодку, — за спиной Михаэля энергично затопал своими маленькими ножками Яир.

— И чтобы муж твой был принцем, поэтом, боксером и пилотом, — добавил Михаэль.

Яир наморщил лоб, как обычно делал его отец в минуты раздумья, помолчал две минуты и выпалил:

— А мне нужен маленький брат. Аарону столько же лет, сколько мне, не больше, но у него уже есть два брата. Так что и мне можно иметь брата.

Михаэль сказал:

— Квартира здесь, в Рехавии или в Бейт-а-Керем, стоит сегодня уйму денег. Но если бы мы начали систематически экономить и собирать деньги, то можно было бы взять займы у тети Жени, получить ссуду в университетском фонде помощи, кое-что достать у господина Кадиш-

мана. Наша квартира — отнюдь не воздушный замок, парящий в облаках.

— Нет, — говорю, — он не в облаках. Это мы ...

— Что — мы?

— Это мы витаем в облаках. И не только я. Но и ты. Ты — даже выше облаков. В голубизне неба. Кроме маленького реалиста Яира.

— Ты — пессимист, Хана.

— Я устала, Михаэль. Давай вернемся домой. Я вспомнила про глажку. Меня ждет большая глажка. А завтра придут маляры.

— Папа, что это — «реалист»?

— У этого слова много значений, сынок. Мама имела в виду человека, который всегда ведет себя разумно, не погружен в мечтания и сны.

— Но ведь и мне по ночам снятся сны!

Я спрашиваю с робкой улыбкой:

— Какие сны тебе снятся по ночам, Яир?

— Сны ...

— Какие?

— Всякие.

— Ну, например ...

— Сны. И все.

Весь вечер я гладила. А назавтра в нашей квартире всю хозяйничали маляры. Моя лучшая подруга Хадасса снова прислала ко мне на два дня свою домработницу Симху. Зимние дожди вновь зарядили с середины недели. Роптали водосточные трубы, извлекая мелодию, в которой грусть смешивалась с гневом. Время от времени наступали продолжительные перебои с электричеством. Улица мрачна и печальна.

Когда ушли маляры, и квартира была отмыта и убрана, я взяла из кошелька Михаэля сорок пять лир и вышла в город в затишье между ливнями. Я купила новые люстры. Отныне у меня в гостиной будет люстра с хрустальными подвесками. Чистой воды. Мне нравится слово «хрусталь». Да и сам хрусталь тоже.



XXXIX

ДНИ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА В СВОЕМ однообразии. И я — однообразна. Но есть нечто, ни с чем не схожее. Имени его я не знаю.

Мой муж и я — словно два незнакомца, выходящие один за другим из клиники, где каждый прошел лечение, причиняющее неприятные физические ощущения: оба сконфужены, понимая переживания другого, неловкость и стыд сближают их, робко, на ощупь ищут они тот верный тон, который отныне будет присущ их общению.

Докторская диссертация Михаэля близится к завершению. В следующем году в его академической карьере откроются завидные возможности продвижения. В самом начале лета 1957 года Михаэль уехал на десять дней в Негев, где вел наблюдения и опыты, необходимые для его

исследований. Он привез нам в подарок бутылку, заполненную слоями песка разных цветов.

Со слов одного из его коллег мне стало известно, что после окончания своей докторской Михаэль намерен добиваться стипендии, которая позволит ему пройти длительную стажировку по теоретической геологии в одном из американских университетов. Муж мой решил не рассказывать мне о своем намерении, потому что он знает мои слабости. Ему не хочется возбуждать во мне новые сны и надежды. Сны могут развеяться. Им на смену придет разочарование.

Медленно, с течением лет, менялся наш квартал Мекор Барух. Новые жилые дома построены на западе. Проложены дороги. Одноэтажные дома турецкого периода надстроены в стиле «модерн». Иерусалимский муниципалитет установил в переулках зеленые скамейки и урны для мусора. Разбит небольшой парк. На пустырях, поросших прежде дикой растительностью, появились мастерские и маленькие типографии.

Старожилы постепенно оставляют эти места. Государственные служащие и чиновники перебрались в Рехавию и Кирьят Шмуэль. Кассиры и клерки приобрели недорогие квартиры в домах из бетона, построенных правительством на южных окраинах города. Оптовые торговцы текстилем и галантерейщики переселились в Ромему. И лишь мы остались стеречь умирающие улицы. Неощутимо, но непрерывно все вокруг как-то ужималось, стягивалось. Жалюзи и железные перила нещадно разъедались ржавчиной. Напротив нашего дома строительный подрядчик из религиозных ортодоксов выкопал яму под фундамент, навез груды песка и щебня, да вдруг все работы свернул и забросил. Может, обанкротился. А может, умер.

И семейство Каменицер тоже покинуло и наш дом, и Иерусалим, переселившись в окрестности Тель-Авива. Иорам получил отпуск в армии, прибыл, чтобы помочь уложить вещи. Издали он приветственно помахал мне рукой. В своей военной форме он виделся мне загорелым и крепким. Мне не удалось с ним поговорить, потому что отец его все время был рядом и глаз с него не спускал. Да и что могла я сказать Иораму — сейчас?

В освободившиеся соседние квартиры въехало несколько семей ортодоксальных евреев. Поселились и новые репатрианты, из тех, кому удалось как-то обосноваться в стране, в основном — выходцы из Ирака и Румынии. Постепенно все менялось. Прибавилось бельевых веревок, протянутых над улицами — от одного балкона до другого, что на противоположной стороне. По ночам я слышала вопли на каком-то гортанном наречии. Наш зеленщик — «перс», господин Элиягу Мошия продал свою лавку двум братьям, которые вечно кричали. Даже ученики религиозной школы для мальчиков «Тахкемони» казались мне более распушенными и дерзкими по сравнению с прошлыми временами.

В конце мая от болезни почек скончался наш знакомый господин Кадишман. Он завещал небольшую сумму Иерусалимскому отделению Национальной партии свободы. Михаэлю и мне он завещал все свои книги: работы Т. Герцеля, М. Нордау, В. Е. Жаботинского, И. Г. Клаузнера. Адвокат господина Кадишмана — и так было записано в завещании — явился к нам, чтобы поблагодарить за теплый, гостеприимный дом, который мы открыли перед нашим, ныне покойным другом. Господин Кадишман был человеком одиноким.

Летом тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года умерла и старая воспитательница Сарра Зельдин, после того, как военный грузовик сбил ее на улице Малахи. Ее детский сад закрылся. Я нашла себе работу на полставки в качестве регистратора в Министерстве торговли и промышленности. Аба, муж моей лучшей подруги Хадассы, помог мне получить это место. А осенью умерли три иерусалимца, старинные друзья нашей семьи, которых я знала с детства. Я о них не рассказывала здесь, потому что забвение пробило брешь в моей памяти. Никакими усилиями не выстоять против забвения. Я собиралась написать здесь все. Но все написать невозможно. Большинство вещей ускользает и умирает в молчании.

В сентябре наш сын Яир пошел учиться в начальную школу «Бейт-а-Керем». Михаэль купил ему в подарок ко-

ричный портфель. Я купила пенал, карандаши, точилку и линейку. Тетя Лея прислала по почте большую коробку акварельных красок. Из кибуца Ноф Гарим прибыла книжка «Сердце» Д'Амицис в красивой обложке.

В октябре наша соседка госпожа Доба Глик вернулась домой из закрытой лечебницы. Она выказывала некую молчаливую умиротворенность. Спокойной и тихой казалась мне госпожа Глик после возвращения домой. Она постарела и очень растолстела. Лишилась она и той зрелой сочной красоты, которой наделила ее природа, обделив детьми. В нашем доме больше не повторялись взрывы истерики, не слышались крики отчаяния. Равнодушной и покорной вернулась госпожа Глик после длительного лечения. Долгие часы просиживала она у ворот нашего дома, разглядывая улицу. Глядит и смеется беззвучно, словно наша улица стала местом веселья и развлечения.

Михаэль сравнил госпожу Глик с актером Альбертом Криспином, вторым мужем тети Жени. Он тоже заболел нервным расстройством, а поправившись, погрузился в состояние полной апатии. Вот уже шестнадцать лет он находится в пансионате в Нагарии, где ничего не делает, а лишь ест, спит да глазеет вокруг. Тетя Женя по-прежнему платит за его содержание.

Тете Жене пришлось оставить свою работу в детском отделении большой тель-авивской больницы в результате серьезного трудового конфликта. После долгих стараний и бесконечных усилий ей удалось устроиться на новом месте: доктором в частном доме для престарелых, страдающих хроническими недугами.

Когда она приехала навестить нас в праздник Суккот, я была просто испугана. Дым бесконечных сигарет повлиял на ее голос: он сделался грубым и надтреснутым. Закуривая сигарету, она всякий раз бранилась по-польски. Зайдя надсадным кашлем, она, бывало, цедила сквозь зубы: «Уймись, идиот! Х-хо-ле-ра!» Волосы у тети Жени поседели и поредели. Лицо ее походило на лицо старика, замыслившего недоброе. Часто ей не хватало какого-нибудь слова на иврите. Она с неистовством закуривала новую сигарету, гасила спичку выдохом, скорее подходящим на пле-

вок, что-то бормотала на идиш, а польские ругательства вырывались у нее с шипением и свистом.

Она осуждала меня за неумение выбирать одежду, приличествующую положению моего мужа. Обвиняла Михаэля за то, что он во всем мне поддается — просто тряпка, а не мужчина. Яир, по ее мнению, был грубым, дерзким и неотесанным мальчишкой. Она приснилась мне после отъезда: ее облик сплелся со старинными иерусалимскими типами, бродячими мастеровыми и разносчиками со свалывшимися бородами.

Я очень испугалась. Испугалась умереть молодой. И испугалась умереть старой.

Доктор Урбах был весьма озабочен состоянием моих голосовых связок. Случалось уже неоднократно, что голос мой пропадал на несколько часов. Доктор прописал мне длительный курс лечения, отдельные элементы которого заставляли меня испытывать чувство физического унижения.

Я все еще просыпалась на рассвете, открытая всем злым голосам. И страшный кошмар каждый раз возвращался, разве что нюансы варьировались бесконечно. Временами — война. Иногда — потоп. Железнодорожная катастрофа. Блуждание во мгле. Сильные мужчины всегда спасали меня лишь затем, чтобы издеваться и предавать.

Я будила своего мужа. Заползала к нему под одеяло. Прижималась к нему изо всех сил, вымогая у него великодушные и терпение, которых я так жаждала.

Отныне ночи наши стали такими бурными, какими они доселе никогда не бывали. Я ошеломила Михаэля своим телом, да и его собственным. Открыла ему живописные предместья, о которых читала в романах. Изощренные путешествия, подсказанные мне кинофильмами. И самые жуткие секреты, шепотом сообщенные мне в юности хихикающими подружками. Все, что я знала или предполагала о неумных, диких, мучительных фантазиях мужчины. Все, чему научили меня мои собственные сны. Вулканические взрывы неги. Пылающие токи дрожи, бьющие со дна студеного озера. Лавина нежности.

И при этом им я пренебрегала. Мои отношения были только с его телом: мышцы, плечи, волосы. В сердце своем я знала, что предаю его, изменяю ему снова и снова. С его же собственным телом. Это был стремительный слепой прыжок в объятия бездны, излучающей тепло. Другого выхода у меня не оставалось. Ведь очень скоро и этот выход будет заблокирован наглухо.

Михаэль не умел устоять перед лихорадочным, штормовым напором, который с рассветом во всей своей щедрости обрушивался на него. Как правило, он был бессилен перед первым же чувственным призывом и сдавался мне безоговорочно. Среди всего этого шквала чувств ощущал ли Михаэль и то безмерное унижение, которому я его подвергала? Однажды он осмелился спросить шепотом, не влюбилась ли я в него сызнова. Он спрашивал с таким нескрываемым опасением, что каждому из нас было ясно: ответа не требуется.

По утрам Михаэль не подавал виду. В проявлении своих чувств он, как всегда, был сдержанным. Не на мужчину, которого унижали ночью, походил он, а на нежного юношу, впервые в жизни ухаживающего за надменной и опытной девицей. Неужели мы умрем, Михаэль, ты и я, так и не прикоснувшись ни разу в жизни друг к другу? Касаться. Слиться. Быть поглощенным. Ты не понимаешь ... Каждый из нас затерялся: я в тебе, а ты во мне ... Расплавиться. Раствориться. Слиться ... Мы прорастаем друг в друге ... Болезненный симбиоз. Не в силах объяснить. Даже слова и те против меня. Какая уловка. Михаэль. Какая подлая западня. Я устала. Спать. Спать.

Однажды я предложила Михаэлю игру: каждый из нас расскажет все о своей первой любви.

Михаэль не мог постичь моего замысла: ведь я — его первая и последняя любовь.

Я попыталась объяснить: ведь был же ты мальчишкой. Юношей. Читал романы. В твоём классе учились девочки. Говори. Рассказывай. Неужели ты начисто утратил память и все свои чувства? Говори. Скажи что-нибудь. Нарушь свое бесконечное молчание. Перестань изо дня в день вести себя так, словно ты заведен, как часы-будильник. И не своди меня с ума.

В конце концов в глазах Михаэля засветилось деланное понимание.

Осторожно, не употребляя прилагательных, он стал рассказывать мне про какой-то давно забытый и брошенный летний лагерь в кибуце Эйн Харод. Про свою подругу Лиору, которая теперь живет в кибуце Тират Яар. Про какую-то инсценировку судебного процесса, где на него была возложена роль прокурора, а Лиора выступала защитником. И еще что-то невнятное о нанесенном ему оскорблении. О старом учителе физкультуры по имени Ихиям Пелед, который обыкновенно обижал его прозвищем «недотепа Ганц», поскольку он не отличался проворностью. И о письме. О персональном разбирательстве с инструктором молодежного движения.

Снова о Лиоре. Об извинениях. И тому подобное.

В общем — гнетущая история. Будь я вынуждена, скажем, прочесть лекцию по геологии — я бы не так запуталась.

Подобно большинству оптимистов, Михаэль относился к настоящему, как к податливому, аморфному материалу, из которого упорным, неутомимым трудом надо вылепить будущее. К прошлому он относился с подозрением. Прошлое — отяжеляет. Оно — лишнее, в некотором смысле. Прошлое казалось Михаэлю грудой шелухи и огрызков, которые надо выбросить. Не разбрасывать по дороге, чтобы не стали они препятствием, а собрать все воедино и уничтожить разом. Быть свободным, шагать налегке. Нести ответственность лишь за планы на будущее.

Не скрывая испытываемого мною омерзения, я спросила:

— Михаэль, зачем ты вообще живешь на свете, скажи мне, пожалуйста?

Михаэль не спешил с ответом. Он обдумывал мой вопрос, собирая тем временем в маленькую кучку крошки, рассыпанные по скатерти.

Наконец он изрек:

— Твой вопрос лишен всякого смысла. Люди, в большинстве, не живут для ЧЕГО-ТО. Они живут. И точка.

Я сказала:

— Миха Ганц, ты родился жалким нулем, им ты и умрешь. Точка.

Михаэль ответил:

— У каждого есть достоинства и недостатки. Ты скажешь: «Это банальность». Верно. Но «банальный» — это не противоположность понятию «истинный», Хана. Фраза «дважды два — четыре» — тоже банальна, и все же ...

— И все же, Михаэль, «банальный» — это противоположность «истинному». А в один прекрасный день я сойду с ума, точно как госпожа Доба Глик, и ты будешь виноват в этом, доктор «недотепа Ганц».

— Успокойся, Хана ...

Вечером мы помирились. Каждый из нас винил самого себя, полагая, что именно он — зачинщик всей ссоры. Попросив друг у друга прощения, мы отправились навещать Абу и Хадассу в их новой квартире в Рехавии.

Я должна записать и это.

Мы с Михаэлем спускаемся во двор, чтобы вытряхнуть покрывало, которым застелена наша постель. После нескольких попыток нам наконец удается согласовать движения. Пыль взлетает к небу.

Затем мы сворачиваем покрывало: Михаэль приближается ко мне, руки его разведены в стороны, словно он вдруг решил заключить меня в свои объятия. Он подает мне два угла покрывала. Отступает. Берется за нижние два угла. Вновь разводит руки в стороны. Приближается. Подает. Отступает. Берется. Приближается. Подает.

— Хватит, Михаэль, довольно. Мы закончили.

— Да, Хана.

— Спасибо, Михаэль.

— Не стоит благодарности. Ведь покрывало — наше общее.

Двор погружается во тьму. Вечер. Первые звезды. Невнятный, протяжный всплеск издалика: то ли женщина вскрикнула, то ли из радиоприемника донесся обрывок мелодии. Холодно.



XL

МОЯ НОВАЯ СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВЕ ТОР-
говли и промышленности намного удобнее моей
прежней работы в детском саду покойной Сарры Зель-
дин. С восьми утра до часу дня я сижу в здании бывшей
гостиницы «Палас», в комнате, которая когда-то служила
раздевалкой для горничных. На моем столе — отчеты
о деятельности предприятий, поступающие ко мне со
всех уголков страны. Я должна выбрать из этих отчетов
определенные данные, сравнить их с теми, что хранятся
в картонных папках, стоящих на этажерке слева от меня,
записать результаты сверки в разграфленный формуляр,
включая также и замечания, вынесенные на поля, и пере-
дать результаты моих трудов в соседний отдел.

Это — приятная работа, главным образом потому, что
неизмеримое очарование таится для меня в этих словах:
«опытный инженерный проект», «химический концерн»,

«судоверфи», «производство тяжелых металлов», «консорциум по сборке стальных конструкций».

Эти возникающие передо мной термины — свидетельство существования некой концентрированной реальности. Я не знаю и вовсе не горю желанием познать эти неведомые мне миры. Мне вполне достаточно и того, что они реально существуют где-то там, далеко. Они есть. Они функционируют. В них происходят перемены. Расчеты. Сырье. Рентабельность. Планирование. Стремительный поток объектов, мест, людей и мнений.

Я знаю: это очень далеко. Однако — и не за горами. Абсолютно точно.

В январе тысяча девятьсот пятьдесят восьмого у нас в квартире был установлен телефон. Михаэль пользовался правом первоочередности как научный сотрудник. Да и хорошие связи с Абой, мужем моей лучшей подруги Хадассы, оказались весьма полезными. Аба помог нам также и с квартирой: он внес нас в списки на получение жилья, частично субсидируемого государством. Мы будем жить в новом квартале, который строится на склоне холма, за кварталом Байт Ваган, — оттуда открывается вид на холмы Вифлеема и на часть Эмек-Рефаим. Мы внесли задаток. Подписали соответствующие обязательства. Нам было обещано, что, по договору, мы получим ключи от новой квартиры в тысяча девятьсот шестьдесят первом году.

Михаэль поставил на стол бутылку красного вина. Купил мне большой букет хризантем, чтобы создать праздничную атмосферу. Он наполнил бокалы и произнес:

— В добрый час, Хана. Я уверен, что новая обстановка повлияет на тебя успокаивающе. Мекор Барух — удручающее место.

Я сказала:

— Да, Михаэль.

— Все эти годы мы мечтали о переезде в новую квартиру. Теперь у нас будут три отдельные комнаты, не считая рабочего кабинета. Я так надеялся, что в этот вечер ты будешь веселой.

— Я весела, Михаэль. У нас будет новая квартира, и в ней отдельные комнаты. Мы всегда мечтали о другой квартире. Мекор Барух нагоняет тоску.

— Но ведь именно это я только что сказал! — воскликнул Михаэль.

— Именно это ты и сказал, — улыбнулась я. — После восьми лет супружеской жизни люди начинают и думать, и говорить одними и теми же словами.

— Настойчивость со временем принесет нам все. Вот увидишь, Хана. Со временем, быть может, мы отправимся в путешествие по Европе. А возможно — и в другие дальние страны. Со временем у нас появится и маленький автомобиль. Со временем тебе станет лучше.

— Время и труд все перетрут. Михаэль, разве ты не чувствуешь, что твой отец Иехезкиэль говорит твоими устами?

— Нет, — сказал Михаэль, — я об этом не подумал. Но это — вполне возможно. Да и вполне естественно: ведь я — сын своего отца.

— Абсолютно. Возможно. Естественно. Ты — его сын. Это ужасно, Михаэль. Ужасно.

Михаэль заметил с грустью:

— Что же в этом ужасного, Хана? Жаль, что ты с пренебрежением относишься к моему отцу. Это был чистый человек. Твои слова несправедливы. Тебе не следовало говорить так.

— Это недоразумение, Михаэль. Ужасно не то, что ты — сын своего отца. Ужасно, что твой отец вдруг начинает говорить твоими устами. И твой дед Залман. И мой дед. И мой отец. И моя мать. А после нас будет Яир. Мы все — словно череда: человек за человеком, поколение за поколением — всего лишь отброшенный черновик. Переписываемые набело, вновь и вновь переписываемые набело, и снова — скомканные, брошены в мусорную корзину. Чтобы вновь быть переписанными с незначительными изменениями. Какая глупость, Михаэль. Какая скука. Какая бессмысленная шутка.

Михаэль счел, что мои слова вполне достойны того, чтобы над ними поразмышлять в молчании.

Тем временем, взяв бумажную салфетку, он соорудил из нее маленький кораблик, оглядел его испытующим взглядом, с превеликой осторожностью поставил его на стол. В конце концов он заметил, что мой взгляд на жизнь очень литературен. Его покойный отец как-то ска-

зал, что в Хане он видит поэтессу, хотя она и не пишет стихов.

Затем Михаэль развернул передо мной план новой квартиры, в которой нам предстоит жить. Чертеж этот он получил сегодня утром, когда подписывал договор на покупку квартиры. Он объяснял, как обычно, четко и деловито. Я хотела уточнить кое-какие детали. Михаэль повторил свои объяснения. И вдруг охватило меня гнетущее чувство, будто все, что происходит со мной сейчас, — это не в первый раз. Ни в коем случае! Я уже бывала и в этом месте, и в этой ситуации. Все слова уже были сказаны в далеком прошлом. И бумажный кораблик уже был. И дымок из трубки, поднимающийся к потолку, к люстре. Урчанье холодильника. Михаэль. Я. Все. Словно сквозь кристалл, далекое виделось четко и ясно.

Весной тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года у нас появилась постоянная домработница. Отныне другая женщина возится на кухне. Теперь, когда я возвращаюсь, усталая, с работы, мне не приходится лихорадочно шарить по полкам холодильника, спешно разогревать на газовой плите содержимое консервных банок, крошить второпях овощи и полагаться на природное благородство Михаэля и Яира, которые не станут жаловаться на унылые, однообразные обеды.

Каждое утро я вручаю Фортуне, нашей домработнице, лист с перечнем работ. Она действует согласно тому, что в нем записано, вычеркивая жирной линией уже исполненное. Я довольна ею: проворна, честна, без всяких затей.

Но вот уже несколько раз я заметила, что на лице моего мужа появилось новое выражение — за все годы нашей совместной жизни ничего подобного я не видела. Когда окидывал он взглядом фигуру девушки, лицо его выражало какую-то напряженную неловкость. Рот слегка приоткрыт, голова наклонена, нож и вилка на мгновение застыли в его руках ... Так выглядит, наверно, безмерная глупость. А может, полное непонимание: словно первый ученик, уличенный в том, что списывал на экзамене, не в силах постичь, как стряслось с ним такое ... И поэтому я больше не приглашала Фортуна обедать вместе с нами

в полдень. Она гладила, протирала пыль, складывала белье. А обедала в одиночестве. После нас.

Михаэль посчитал нужным заметить:

— Мне жаль, Хана, что ты обходишься с Фортуной так, как обходились некогда барыни со своими служанками. Она — не служанка. Она — не наша собственность. Она — работающая женщина. Подобно тебе.

Я ответила насмешливо:

— Молодец, товарищ Ганц!

Михаэль сказал:

— А это уж ни в какие ворота не лезет...

Я сказала:

— Фортуна — не служанка и не принадлежит нам. Она — работающая женщина. И впрямь, ни в какие ворота, когда ты в моем присутствии и при мальчишке ешь своими остекленевшими телячьими глазами ее телеса. Это — ни в какие ворота. Да еще и глупость отменная.

Михаэль был застигнут врасплох. Он побелел. Собрался было ответить мне. Раздумал. Молчал. Открыл бутылку содовой и осторожно наполнил три стакана.

Однажды, возвращаясь из клиники, — я проходила длительный курс лечения, связанного с моим горлом и голосовыми связками, — я увидела Михаэля, вышедшего из дома и шагающего мне навстречу. Он встретил меня у лавки, которая когда-то принадлежала господину Элиягу Мошия, — нынче в ней сидят два брата, вечно кричащие. Шел он с дурной вестью. Случилось с ним несчастье. Небольшое.

Лицо его не располагало к сочувствию. Скорее выглядел он пристыженным, будто мальчишка, который, расшалившись, порвал свою рубашку.

— Несчастье, Михаэль?

— Несчастье. Небольшое.

Итак, к нему в руки попал научный журнал, издаваемый британским геологическим обществом. Напечатана там статья известного профессора из Кембриджа, излагавшая новую потрясающую теорию процессов эрозии. Некоторые положения, легшие в основу исследования, над которым работал Михаэль, были опровергнуты с помощью блистательных доводов.

— Великолепно,— сказала я.— Вперед, Михаэль Гонен. Покажи-ка этому англичанину. Дай ему бой. Уничтожь его. Ни за что не сдавайся.

— Я не могу,— ответил Михаэль смущенно.— Вне всякого сомнения, он прав. Я убедился.

Как большинство гуманитариев, я всегда считала, что любые факты готовы подчиниться их толкователям, а толкователь — это напористый, остроумный человек, во власти которого покорить и взнуздать голый факт, заставив его служить себе, навязав ему свою волю. Главное — это твердая мужская воля. Я сказала:

— Ты сдаешься без боя, Михаэль. Я хотела бы видеть тебя сражающимся и побеждающим. Я бы тобой очень гордилась.

Михаэль улыбнулся. Не ответил. Если бы я была Яиром, он бы постарался мне ответить. Я обиделась и поддела его:

— Бедняжка. Теперь тебе придется сжечь все свои работы и начать все сначала.

Нет, я преувеличиваю. Ситуация не столь безнадежна. Утром Михаэль беседовал со своим профессором. Не следует думать, что все рухнуло. Предстоит заново написать введение, а в заключительной части можно будет учесть новые обстоятельства. Все описательные главы войдут без всяких изменений, они остаются в силе. На переделки потребуется еще один дополнительный год, а может, и того меньше. Профессор тут же согласился дать Михаэлю эту отсрочку.

Мне представилось: когда Строгов попал в ловушку, расставленную коварными татарами, те собирались выжечь ему глаза каленым железом. Строгов был человеком твердым, но любовь переполняла его сердце. От великой любви глаза его наполнились слезами. Эти слезы любви спасли ему зрение, потому что остудили раскаленный металл. Хитрость и железная воля помогли Строгову притвориться слепым до завершения трудной миссии, которую возложил на него в Петербурге русский царь. Мис-

сия была успешно завершена — благодаря любви и мужеству.

И, быть может, издалека, словно чистое, незамутненное эхо, доносилась до него щемящая мелодия. Лишь напряжением всех сил души можно было распознать эти приглушенные звуки. Далекий оркестр все играл и играл там, за лесами, за горами, за лугами. Юноши шагают и поют. Крепкие стражники скачут верхом на сильных, спокойных конях. Военный оркестр — в белоснежных мундирах, с золотыми аксельбантами. Принцесса. Празднество. Очень далеко.

В мае я отправилась в школу к Яиру, чтобы встретиться с его классной руководительницей. Она оказалась молодой стройной девушкой, золотоволосой, с голубыми глазами, очень похожей на принцессу из иллюстрированной книжки для малышей. Студентка. В последнее время в Иерусалиме вдруг появилось множество красивых девушек. Правда, десять лет назад среди моих подруг тоже было несколько красавиц. И я в их числе. Однако в новом поколении четко обозначились иные черты, некие воздушные контуры, какая-то легкая, небрежная красота. Эту молодежь я не любила. Мне не нравились и одежды, в которые она предпочитала рядиться, — отдающие какой-то детскостью.

От классной руководительницы я услышала, что юный Гонен наделен острым, систематическим мышлением, крепкой памятью, умением сконцентрироваться, но, увы, недостает ему эмоциональности и душевности. Вот, к примеру, в классе говорилось об Исходе из Египта и о десяти казнях египетских. Большинство детей были потрясены жестокостью египтян и долготерпением евреев и — пусть неумело — пытались выразить это. Но ученик Гонен вообще говорил о том, как разверзлось Красное море: он выдвинул основательные аргументы против того, что сказано в Священном Писании, предпочтя объяснить законы приливов и отливов. Словно египтяне и евреи его вовсе не интересовали. Непринужденную веселость и свежесть излучала молодая учительница. Описывая мне маленького Залмана, она улыбалась. А когда улыбалась — лицо ее светилось, словно в нем не осталось ни

единой клеточки, которая не была бы частью этой улыбки. И вдруг я возненавидела всеми фибрами души то зеленое платье, которое было на мне.

Потом, уже на улице, мимо меня прошли две студентки, из новых. Они смеялись во весь голос и были красивы до боли, их невероятная красота затмевала все вокруг. У каждой в руках — плетеная сумочка из соломки, а юбки на них — с глубоким разрезом по бокам. Мне их раскатистый смех показался вульгарным. Будто весь Иерусалим принадлежит им.

Проходя мимо меня, одна из них говорила своей подруге:

— От них можно с ума сойти. Они просто ненормальные.

А та отвечала со смехом:

— Каждый волен выбирать то, что он хочет. По мне — пусть хоть на крышу залезут.

Иерусалим расширяется и развивается. Новые магистрали. Современная канализация. Общественные здания. Уже в отдельных местах вдруг замечаешь черты обычного города: например, вновь проложенные прямые аллеи с расставленными вдоль них садовыми скамейками для отдыха. Однако это впечатление очень зыбко. Стоит лишь повернуть голову — и в кипении строительных работ откроются взору поляны, усеянные валунами, оливковые деревья, выжженная пустошь, долины, поросшие густым кустарником, запутанные дикие тропки, протоптанные множеством ног. Неподалеку от здания Канцелярии главы правительства в новом комплексе государственных учреждений рассыпалось небольшое стадо. Овцы мирно щиплют травку. Старый пастух застыл на скале. Горы вокруг. Развалины. Ветер в соснах. Горожане.

На бульваре Герцля я видела, как смуглокожий рабочий, обнаженный до пояса, пробивал канаву поперек проезжей части улицы, пользуясь тяжелым отбойным молотком. Он весь обливался потом, и кожа его блестела, как начищенная медь. Плечи его вибрировали в такт с ударами тяжелого молотка, словно человек более не в силах сдерживать переполняющую его энергию и вот-вот, взревев, взмоет ввысь.

Траурное объявление, наклеенное на стене дома престарелых, что в конце улицы Яффо, извещало о смерти благочестивой супруги раввина госпожи Тарнополер, у которой я снимала квартиру до своего замужества. Госпожа Тарнополер научила меня заваривать чай из мяты, успокаивающий мятущуюся душу. Я сожалела о ее смерти. И о вечно мятущихся душах.

Перед сном я рассказала Яиру историю, памятную мне с далеких детских дней: прекрасный рассказ о мальчике Давиде, который всегда был аккуратным и подтянутым. Я любила этот рассказ и надеялась, что мой сын тоже его полюбит.

Летом мы все втроем отправились в Тель-Авив, чтобы побыть у моря. На этот раз мы остановились у тети Леи, в старом доме на бульваре Ротшильда. Пять дней. Каждое утро мы отправлялись на южное побережье, у самого Бат-Яма. После обеда толкались в зоопарке, в «Луна-парке», ходили в кино. А однажды вечером тетя Лея потащила нас в оперу. Здание заполнили пожилые польские пани, увешанные золотом. Они плыли с царственной неторопливостью, словно тяжелые броненосцы.

Мы с Михаэлем ускользнули во время антракта. Спустились к кромке моря. Пошли по песку на север, оставив в стороне город, добрались до каменной стены, ограждавшей порт. Вдруг захлестнуло меня неведомое чувство — словно боль, словно дрожь, пробиравшая до костей. Михаэль пытался мне что-то объяснить. Я его не слышала. С силой, мне совершенно не свойственной, я рванула на нем рубаху. Швырнула его на песок. Укусила его. Затем зарыдала. Я подминала его под себя, навалившись всем телом, будто была значительно тяжелее его. Много лет тому назад девочка в голубом пальто точно так же на переменах дралась с мальчишками, которые во много раз превосходили ее силой: холодная и пылающая, плачущая и обливающая презрением.

Море было соучастником. И песок. И были тонкие, словно следы от хлыста, полоски удовольствия, грубого, пронзительного, обжигающего.

Михаэль был перепуган: он снова открыл во мне нечто, дотоле неведомое. Бормотал, что я ему чужая, и та-

кой я ему не нравлюсь. Я обрадовалась, что я ему чужая. И не собиралась ему нравиться.

Когда мы вернулись домой, Михаэль, заливаясь краской, вынужден был объяснить тете Лее, почему у него порвана рубашка и исцарапано лицо:

— Мы гуляли, и ... какой-то громила пытался на нас напасть, и ... случилась неприятность ...

Тетя Лея ответила:

— Ты обязан всегда помнить о своем положении и своих обязанностях, Миха. Люди, подобные тебе, не должны ввязываться в скандалы.

Я залилась смехом. И до самого рассвета не утихал во мне этот внутренний смех.

На следующий день мы взяли Яира в цирк в Рамат-Ган. В конце недели возвратились домой. Михаэль узнал, что подруга его Лиора из кибуца Тират Яар оставила своего мужа, взяла детей и отправилась жить в Негев, в молодой кибуц, основанный после Войны за Независимость одноклассниками Михаэля и Лиоры. Это известие тяжело подействовало на Михаэля. Выражение затаенного страха разлилось по его лицу. Он был молчалив и подавлен. Более молчалив, чем обычно. Как-то в субботу после обеда он собирался сменить воду в вазе с цветами. В движениях его — некая мимолетная неуверенность, медлительность, которую он попытался исправить чересчур резко. Я прыгнула и успела еще в воздухе поймать фарфоровую вазу. В воскресенье я отправилась в город, чтобы купить ему в подарок авторучку, самую дорогую.



XLI

ВЕСНОЙ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОГО года, за три недели до праздника Песах, докторская диссертация Михаэля была завершена.

Это было всеобъемлющее исследование о процессах эрозии в руслах пересыхающих потоков в пустыне Паран. Работа опиралась на новейшие теории эрозии, распространенные в современном научном мире. Основательно анализировалась морфотектоническая структура всего региона. Исследовались квесты, экзогенные и эндогенные силы, влияние климатических условий и тектонических факторов. Заключительная часть содержала предположения о возможном практическом применении результатов исследования. В общем, солидная, основательная работа. Михаэль справился с очень серьезной темой, посвятив ей четыре года. Диссертация была написана с чувством внутренней ответственности. Увы, ему не удалось избежать

неполадок и задержек, обусловленных и объективными трудностями и личными обстоятельствами.

После праздника Михаэль отнесет рукопись машинистке, и та перепечатает ее набело. Затем он передаст свое исследование на суд крупных геологов. Михаэлю предстоит защищать свою диссертацию в открытой научной дискуссии.

Он намеревался посвятить свою работу памяти дорогого Йехезкиэля Гонена, человека требовательного к себе, честного и скромного: памяти его надежд, его любви, его преданности.

В те дни мы распрощались с моей лучшей подругой Хадассой и ее мужем Абой. Аба послан на два года в Швейцарию экономическим советником. Он заверял нас, что в душе ждет того дня, когда министерство назначит его на должность, соответствующую его способностям, которая позволит ему находиться в Иерусалиме, а не носиться по чужеземным столицам, как мальчик на побегушках. Кроме того, он не отбросил весьма соблазнительной идеи — оставить государственную службу и на свой страх и риск окунуться в мир бизнеса.

Хадасса сказала:

— Ты тоже будешь счастлива, Хана. Я уверена в этом. Придет время, и вы достигнете поставленной цели. Михаэль — парень работающий, а ты всегда была умной девочкой.

Расставание с Хадассой и ее слова сильно взволновали меня.

Я плакала, слушая Хадассу, заверяющую меня, что и мы добьемся своей цели. Неужели все, кроме меня, со временем живут в мире со своими стремлениями, усилиями, настойчивостью, амбициями и успехами? «Одиночество», «отчаяние» — эти слова я не употребляю. Я ощущаю притеснение, унижение. Что-то гнетет меня. Какой-то обман. Надувательство.

Когда мне было тринадцать лет, Иосиф, мой покойный отец, предупреждал меня: гнусные мужчины-обманщики сладкими речами заманивают женщин, используют их, а затем бросают на произвол судьбы. Он сформулировал свою мысль таким образом — раздельное существова-

ние двух полов вносит сумятицу в мировой порядок, увеличивая зло. Потому мужчины и женщины обязаны приложить все усилия, чтобы смягчить последствия этой сумятицы. Я не была использована развратным, грубым мужчиной. Я вовсе не противлюсь существованию двух разных полов. Но обман состоялся. Унизительное надувательство.

Езжай себе с миром, Хадасса. Почаще пиши Хане в Иерусалим, в далекую Палестину. Наклей побольше красивых марок — пусть мои муж и сын порадуются. Поведай мне в своих письмах о горах и о снегах. О кабачках и заброшенных хижинах, рассыпанных в долине, ветхих хижинах, чьи двери на ржавых петлях с силой раскачиваются ветром. Мне все равно, Хадасса. В Швейцарии нет моря. Мои «Дракон» и «Тигрица» отдыхают в сухом доке на островах Сен-Пьер и Микелон. Моряки растеклись по долинам, охотясь за девушками. Я не завидую, Хадасса. Я не причастна. Просто я отдыхаю. В Иерусалиме все еще моросит мелкий дождь.

За десять дней до Песаха наш сосед господин Глик умер от внутреннего кровоизлияния. Мы с Михаэлем пошли на похороны. Ультрарелигиозные евреи, торговцы с улицы Давид Елин, возбужденно говорили на идиш об открытии в Иерусалиме некошерной мясной лавки. Худой кантор в черном прочел заупокойную молитву над раскрытой могилой, и небо в ответ разразилось ливнем. Госпожа Доба Глик нашла забавным это сочетание — дождь и заупокойная молитва, а посему залилась хриплым смехом. Господин Глик и его жена Доба не имели ни детей, ни родственников. Михаэль им ничем не обязан. Но обязан он быть верным принципам и натуре своего покойного отца Иехезкиэля. Поэтому он взял на себя заботу о похоронах. С помощью тети Жени ему удалось устроить госпожу Глик в пансионат для престарелых, страдающих хроническими болезнями. В тот самый пансионат, где тетя Женя работала врачом.

На праздники мы отправились в Галилею.

Нас пригласили в кибуц Ноф Гарим — на праздничную трапезу вместе с мамой и семьей брата.

Подальше от Иерусалима. Подальше от глухих переулков. Подальше от ссохшихся на солнце пожилых религиозных женщин, похожих на злых птиц, восседающих на низеньких скамеечках и озирающих все вокруг пристально — будто перед ними раскинулась бескрайняя степь, а не выморочное захолустье.

Была весна. По обочинам шоссе пробивались полевые цветы. Стаи перелетных птиц текли в безбрежных голубых просторах. В истоме устремились ввысь кипарисы и эвкалипты, отбрасывающие на дорогу умиротворяющую тень. Умытые поселки. Красные крыши. Не было унылого, мрачного камня и прогнивших балконов с ржавыми перилами. Расстилалась белая земля. Зеленая. Розовая. Дороги запружены. Множество людей стронулось с мест, отправившись путешествовать. В нашем автобусе пассажиры пели не умолкая. С нами ехала группа юношей и девушек — членов молодежного движения. Они смеялись, во все горло распевали переведенные с русского песни про любовь, про цветущие поля. Водитель одной рукой сжимал баранку, а другой отбивал такт, постукивая по приборной панели. То были задорные песни. Иногда водитель, подкрутив ус, включал микрофон и рассказывал пассажирам смешные истории. Природа наделила его прекрасным, глубоким голосом.

На протяжении всего пути заливал нас теплый свет. Солнечные лучи играли на каждой железке, на каждом осколке стекла. Голубизна и зелень схлестнулись далеко у горизонта. На остановках входили новые пассажиры: кто с чемоданом, кто с рюкзаком, кто с охотничьим ружьем. У некоторых в руках — букеты цветов: цикламены, анемоны, лютики, хризантемы, орхидеи. Когда мы приехали в Рамлу, Михаэль принес каждому из нас по желтому эскимо. На перекрестке в Бейт Лид купили лимонад и земляные орехи. По обеим сторонам дороги простирались поля с сетью пластиковых труб для искусственного орошения. Ослепительные солнечные зайчики на гладкой поверхности труб превратили их в сверкающие полоски.

Вдалеке синели горы, окутанные дрожащим маревом. Воздух — теплый, пропитанный влагой.

Михаэль и Яир беседовали о боях времен Войны за Независимость и о крупномасштабных программах ирригации, которые наша страна собирается воплотить в жизнь. Я улыбалась самой очаровательной из моих улыбок. Не сомневалась, что нашей стране удастся реализовать самые грандиозные планы. Я вновь и вновь чистила апельсины, разламывая их на дольки, удаляя белую волокнистую сердцевину, утирала Яиру рот салфеткой.

Крестьяне из деревни Вади-Ара, стоявшие на обочине, приветственно махали нам. Я сняла с головы свой зеленый шелковый платочек и махала им в ответ, пока они не исчезли из виду.

Город Афула отмечал какую-то памятную дату: развевались бело-голубые флаги, гирлянды разноцветных лампочек протянулись вдоль улиц. Триумфальная арка из железных конструкций была воздвигнута на восточном въезде в город. Приветственный транспарант развевался на ветру. И мои волосы трепал ветер.

Михаэль купил праздничный выпуск вечерней газеты. Была там, как пояснил мне Михаэль, благоприятная политическая новость. Я обняла его за плечи, ерошила его коротко стриженные волосы.

Между Афулой и Тверией Яир задремал у нас на коленях. Я разглядывала головку моего сына. Его крепкие скулы, высокий, светлый лоб. Вдруг открылось мне в голубых наплывах света, что сын мой, став взрослым, превратится в красивого крепкого мужчину. Офицерский мундир будет плотно обтягивать его тело. Золотистый пушок покроет предплечья. Я пройду с ним под руку, и более гордой матери не сыщется во всем Иерусалиме. Почему в Иерусалиме? Мы будем жить в Ашкелоне. В Натании. На берегу моря, под рокот пенящихся волн. В маленьком белом бунгало — в четыре окна и с красной черепичной крышей. Перед домом — клумбы с цветами. Каждое утро мы будем выходить на берег и собирать перламутровые ракушки. Соленый бриз бьется в наши окна. А мы — всегда загоревшие, просоленные морем и ветром. Горячий солнечный свет заливает нас нещадно. Радио никогда не умолкает в наших комнатах ...

В Тверии водитель объявил, что стоянка автобуса продлится полчаса. Яир проснулся. Мы съели лепешку с салатом. Спустились к берегу озера Кинерет и, сняв обувь, брели по кромке воды. Вода была теплой. Озеро лучилось и переливалось светом. Мы заметили стаю рыб, беззвучно уходивших в глубину. Беспечные рыбаки, забросив удочки, стояли, опираясь на парапет. Все они, как на подбор, крепкие парни с волосатыми сильными руками. Я помахала им своим зеленым шелковым платочком. И не зря — один из них, заметив меня, крикнул: «Красотка!».

Дальше путь наш лежал через цветущие долины, зажатые с двух сторон горами. Вот справа от дороги голубовато-дымчатой гладью блеснули зеркала прудов, где разводят рыбу. Отражение высоких гор дрожало в воде. То было сдерживаемое дрожание, укрощенное нежностью. Так дрожат тела, охваченные любовью. Черные базальтовые валуны была рассеяны вокруг. Старые, давно укорененные поселения излучали какое-то умиротворение: Мигдаль, Рош Пина, Есуд-а-Маала, Маханаим ...

Объятая внутренним, все захлестывающим безумием, земля, словно выйдя из берегов, пронеслась в вихре.

Неподалеку от Кирыт-Шмона появился в автобусе пожилой контролер, походивший на поселенцев-первопроходцев тридцатых годов. Наш водитель был, по-видимому, его закадычным другом, и они весело обсуждали планы охоты на оленей в горах Нафтали, куда собирались в пасхальную неделю. Все водители-ветераны решили принять участие в охоте. Старая гвардия все еще держится, не ржавеет: Чита, Абу-Масри, Мошкович, Замбези. Поедут без женщин. Три дня и три ночи. И знаменитый следопыт из парашютистов-десантников тоже с ними. Вот будет охота, какой еще свет не видывал: от Манары через Бар-Ам до Ханиты, до Рош-а-Никра. Три великих дня. Без баб и слюнтяев. Только старая гвардия. Охотничьи ружья и американские палатки уже наготове. Кого только не будет! Все старые волки, львы и зубры, которые не утратили силу чресел своих. Как в былые добрые времена. Все, все соберутся. Как один. Будем носиться по горам, пока из нас искры не посыплются ...

От Кирьят-Шмона автобус начал карабкаться в горы Нафтали по узкой разбитой дороге. Крутые повороты вырублены в скалах. Безумное коловращенье красок. Автобус наполнился криками восторга и ужаса. Водитель нагнал страху, крутанув руль так, что машина прошла по самому краю пропасти. А затем сделал вид, будто собирается расплющить нас ударом об отвесные скалы. И я тоже вопила от восторга и страха.

В Ноф Гарим мы добрались с последним лучом света. Люди шли после бани, влажные волосы аккуратно расчесаны, полотенца через плечо. Русоволосые дети резвились на лужайке. Запахи скошенной травы. Дождевальное устройство рассеивало брызги воды. Закатное зарево дробилось в водяных каплях, словно радужный фонтан вдруг забил чистыми алмазами.

Кибуц Ноф Гарим называют еще «Орлиным гнездом». Кибуцные постройки, оседлавшие черную вершину, словно парили в воздухе. А у подножия раскинулась просторная долина, расчерченная квадратами делянок. Завораживающий обзор с высоты. Я видела далекие селения, утопающие в зелени роц, пруды для разведения рыбы. Острова плодоносных садов. Тропинки, по обеим сторонам которых стояли шпалерами кипарисы. Белые водонапорные башни. И далекие горы в голубоватой дымке.

Члены кибуца Ноф Гарим — сверстники брата, большинству из них около тридцати пяти. Это было сообщество рачительных хозяев, за их веселыми шутками угадывались и серьезность, и ответственность. Мне виделась в них твердая сдержанность. Они скоморошничали и смешили как бы в силу приказа, процеженного сквозь сжатые зубы. Я любила их. Я любила и это место в высоких горах. А еще я любила маленькую квартирку брата Иммануэля, за стенами которой тянется ограждающий кибуц забор, одновременно являющийся границей с Ливаном. Холодный душ. Апельсиновый сок с кексом, испеченным моей мамой. Летняя юбка. Краткий отдых. Приветливая улыбка Рины, жены брата. Сценка с медведем, разыгранная Иммануэлем перед моим сыном Яиром. Та самая сценка, которую Иммануэль разыгрывал в юности, смешала нас до слез. И на этот раз мы все смеялись без удержу.

Иоси, мой племянник принял на себя заботу об Яире. Они, взявшись за руки, отправились поглядеть на коров и овец. В этот час все предметы отбрасывали очень длинные тени, а свет был нежен и мягок. Мы расположились на лужайке перед домом. Когда же наступила ночь, Имануэль вынес лампу на длинном электрическом шнуре и повесил ее на одну из ветвей дерева. Между братом и мужем моим завязался легкий, с нотками юмора, спор, который вскоре завершился почти полным согласием.

Затем — минута счастья моей матери Малки: со слезами, с поцелуями, с ломаным ивритом, когда она поздравляла Михаэля с завершением докторской диссертации.

В последнее время мать моя страдала от тяжелой болезни кровеносных сосудов. Чувствовалось, что она угасала. Как мало места занимала мать в моих мыслях. Она была женой отца. Не более. В тех редких случаях, когда она возвышала голос на отца, я ненавидела ее. Кроме этого не нашлось ей места в моем сердце. Я смутно ощущала, что обязана иногда говорить с ней о себе. О ней самой. О юности отца. Но я знала, что и на этот раз не начну этого разговора. И я знала, что в следующий раз такой случай, может, и не представится, потому что мать угасала. Но все эти мысли не умаляли моего счастья. Счастье переливалось во мне, будто у него — своя собственная жизнь, от меня не зависящая.

Я не забыла. Праздничная пасхальная трапеза. Свет «юпитеров». Вино. Кибуцный хор. Церемония вознесения пшеничного снопа. Пиршество у костра до самого рассвета. Танцы. Я танцевала, пока не смолкла музыка. Я пела. Кружила в танце стройных партнеров. Даже изумленного Михаэля я силой вытасила в круг.

Иерусалим был далек, здесь ему не достать меня. Может, он уже захвачен врагами, подступившими к нему с трех сторон. Быть может, наконец-то он превратится в пыль. Как ему и следует. Я не любила Иерусалим издали. Он желал мне зла. И я желала ему зла.

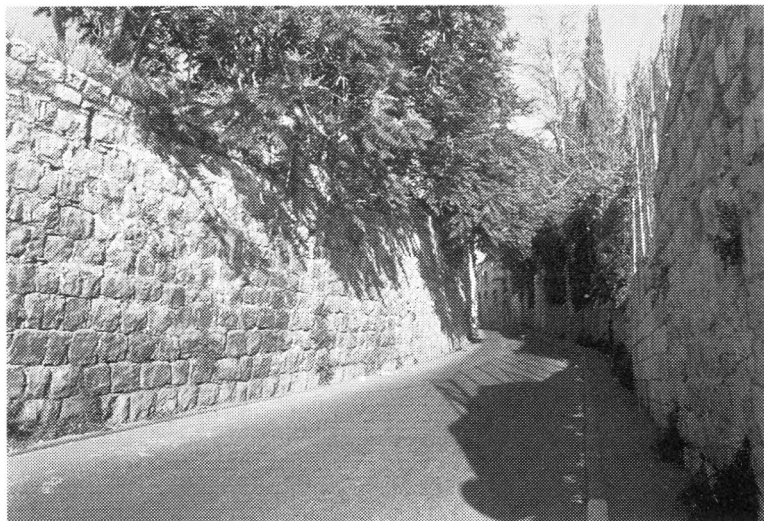
Бурную прекрасную ночь провела я в кибуце Ноф Гарим. Кибуцная столовая наполнилась запахами дыма, пота, табака. Губная гармоника не умолкала. Я была захвачена празднеством. Я ощущала свою причастность.

Но под утро я вышла постоять в одиночестве на балконе маленькой квартирке Иммануэля. Я видела перед собой забор из колючей проволоки, темные заросли. Небо посветлело. Я смотрела на север. Уже можно было различить очертанья горных отрогов: вот она, граница с Ливаном. Желтые огни устало мерцали в деревьях, чьи дома сложены из камня. Долины, до которых никогда не добраться. Далекие вершины, покрытые снегом. Одинокие постройки на холмах, то ли монастыри, то ли укрепленные замки. Пространство, загроможденное скалами, изрезанное глубокими ущельями. Потянуло прохладой. Я дрожала. Медлила, не уходила. Столь велика была сила умиротворяющего покоя.

Около пяти пробилось солнце. Оно взошло, окутанное густой пеленой тумана. Дикий кустарник был едва различим на поверхности земли. На противоположном склоне стоял юноша-араб, пасший овец, которые, рассыпавшись у его ног, яростно поедали траву.

Я слышала далекие раскаты колоколов, кругами расходящиеся по окрестным горам. словно открывался иной Иерусалим, явившись из печальных снов. Видение мрачное и ужасное. Иерусалим преследовал меня.

Огни автомобильных фар сверкнули на шоссе, которое я прежде не заметила. Одинокие деревья, огромные, очень старые, стояли все в цвету. Обрывки тумана заблудились в безлюдных ущельях. Застывшее, замутненное видение. Холодный свет заливал чужую землю.



XLII

Я УЖЕ ОДНАЖДЫ ПИСАЛА: В МИРЕ ЕСТЬ АЛХИМИЯ, и она — внутренняя мелодия моей жизни. Теперь я склонна отказаться от этой фразы, потому что в ней нет смысла. «Алхимия». «Внутренняя мелодия». В конце концов что-то случилось в мае тысяча девятьсот пятьдесят девятого. Нечто низменное. Гнусная, жалкая пародия.

В начале мая я забеременела. Потребовалось медицинское обследование, потому что во время первой моей беременности были некоторые осложнения. Меня обследовал доктор Ломброзо, поскольку наш семейный врач доктор Урбах умер от инфаркта в начале зимы. Новый врач не нашел никаких поводов для беспокойства. Конечно, тридцатилетняя женщина — это не девушка двадцати лет. Физические нагрузки, острая пища и близость с мужем отныне запрещены до конца беременности. У меня

снова набухли вены на ногах, появились темные круги под глазами. Рвота. Постоянная усталость. На протяжении мая я несколько раз забывала, где лежит тот или иной предмет, не могла вспомнить, куда положила свою одежду. Я восприняла это как знак. До сих пор я ничего не забывала.

Итак, Ярдена вызвалась перепечатать на машинке докторскую диссертацию Михаэля. В свою очередь, Михаэль обещал подготовить ее к выпускному экзамену, которые она все откладывала, дотянув до самого крайнего срока. Поэтому каждый вечер, начищенный и наглаженный, Михаэль отправлялся к Ярдене в студенческое общежитие.

Признаюсь, все это граничило с нелепостью. При глубоко, трезвом размышлении скажу, что предвидела все заранее. Особых бурь во мне это не вызывало. За ужином Михаэль выглядел перепуганным и рассеянным. Беспорывно поправлял свой галстук спокойных тонов, заколотый серебряной булавкой. Улыбка растерянная, виноватая. Трубка его отказывалась раскуриться. Без конца приставал ко мне с предложением помощи: перетащить, встряхнуть, подмести, подать. Отныне я свободна, и никакие знаменья не причинят мне страданий.

Скажу ясно и прямо, я полагаю, что Михаэль не преступил рамки стыдливых мечтаний и фантазий. Я не вижу причины, в силу которой Ярдена готова отдаться ему. Правда, я не вижу и причины, почему бы ей отказать Михаэлю. Впрочем, в моих глазах, слово «причина» лишено всякого смысла. Я не знаю, не ведаю и не горю любопытством. Скорее душит меня внутренний смех, чем ревность. В лучшем случае походил сейчас Михаэль на нашего пушистого котенка, который пытался однажды неуклюжими прыжками настичь бабочку, парившую под потолком.

Десять лет тому назад мы с Михаэлем видели в кино-театре «Эдисон» фильм с участием Греты Гарбо. Героиня картины принесла в жертву свое тело и свою душу ради грубого ничтожного мужчины. Я помню, что страдание и грубость казались мне математическими символами в простейшем уравнении, и я не прилагала никаких усилий,

чтобы решить его. Я смотрела на экран как бы со стороны, пока кадры фильма не превратились в пляшущий поток различных оттенков — от черного до белого, но преобладающим цветом был светло-серый. Даже теперь я не прилагаю никаких усилий, чтобы разгадать или решить. Я смотрю как бы со стороны. Чувствую, как сильно я устала. И все-таки что-то определенно изменилось по истечении всех этих серых лет.

Долгие годы руки Михаэля покоились на штурвале, а сам он был погружен то ли в размышления, то ли в дрему. Езжай себе с миром. Я безучастна. Уступила. Вот когда я была восьмилетней девочкой, я верила, что если всегда и во всем буду вести себя, как мальчишка, то вырасту не девушкой, а юношей. О, напрасные усилия. Мне ли карабкаться, рваться вперед, срывая дыхание, словно обезумев? Езжай себе с миром, Михаэль. Я буду стоять у окна, пальчиком писать на отуманенном стекле. А ты волен думать, что я машу тебе рукой. Не стану тебя разуверять. Я — не с тобой. Мы — два человека, а не один. Ты не можешь навсегда оставаться моим разумным старшим сыном. Езжай с миром. Может, еще не поздно раскрыть тебе, что от тебя ничего не зависело. Да от меня тоже. Не забыл ли ты, Михаэль, как много лет назад, когда мы сидели в кафе «Атара», ты сказал мне, что было бы хорошо, если бы наши родители встретились. Постарайся представить себе. Наши покойные родители. Иосиф. Иехезкиэль. Пожалуйста, перестань, наконец, улыбаться. Приложи усилия. Сконцентрируйся. Представь себе: ты и я — брат и сестра. Варианты связей неисчерпаемы. Мать и сын. Холм и кустарник. Камень и вода. Озеро и челнок. Движение и тень. Сосна и ветер.

Но и у меня остались не только слова. Мне все еще по силам сдвинуть огромный засов, отворить железные двери. Выпустить на свободу братьев-близнецов. Выскользнут они, исполняя мой приказ, зарыщут по просторам ночи. Я натравлю их.

Вечеру, низко склонившись, они будут готовить снаряжение к походу. Линялые армейские рюкзаки. Ящик взрывчатки. Детонаторы. Бикфордов шнур. Боеприпасы. Ручные гранаты. Сверкающие ножи. В заброшенной хижине воцарятся густые сумерки. Прекрасные Халиль

и Азиз. Я звала их Хальзиз. Слов у них не будет. Всплеск гортанных звуков. Движенья их размеренны. Крепкие, гибкие пальцы. Ладные тела возносятся с твердой нежностью пальмы. Автомат висит на плече. Плечо — смуглый квадрат. Резиновые подошвы. Одежда цвета хаки прилегает к телу. Головы подставлены ветру. С последним мгновением сумерек поднимутся они разом. Покинув хижину, скатятся по крутому склону. Ступни вожмутся в тропинку, не различимую глазом. На языке простых знаков общаются они: легкие прикосновения, сдавленное бормотанье — словно влюбленные мужчина и женщина. Палец — к плечу. Ладонь — к затылку. Птичий вскрик. Тайный посвист. Высокий терновник в овраге. Тени старых олив. Земля отдается в безмолвии. Исхудалые — кожа да кости, — проберутся они извивами пересохшего русла. Напряженность загнана внутрь, гложет душу. Движенья их округлятся плавно, как изгиб тростника под дуновением ветра. Ночь приютит, сокроет их во чреве своем. Стрекот кузнечиков. Отдаленный хохот лисиц.

Дорога пересечена внезапным броском. Отныне движенья подобны паренью в невесомости. Шелест темных дубрав. Колючая проволока рассечена стальными ножницами. Звезды — соучастницы. Их мерцанье подскажет путь. На горизонте — очертанья гор, как глыбы туманных облаков. Огни деревень на равнине. Журчанье воды в сплетеньях труб. Плеск оросительных фонтанчиков. Все обратилось в слух: и ступни, и ладони, и поры кожи, и корни волос. Бесшумно обойдена засада, что расставлена в устье оврага. Срезав путь, проберутся они черными садами. Мелкий камешек сорвался. Знак. Азиз ринулся вперед. Халиль распластался за каменным уступчиком. Завыл шакал и унялся. Автоматы заряжены, взведены, предохранитель снят. Блеск отточенного кинжала. Приглушенный стон. Бросок. Холодок соленого пота. Поток безмолвия.

В освещенном окне усталая женщина склонится на подоконник, затем закроет ставни, исчезнет. Сонный сторож зайдет хриплым кашлем. Ползком проберутся они сквозь заросли колючек. Белыми зубами выдернута чека

гранаты. Охрипший сторож громко рыгнул. Повернулся. Пошел прочь.

Водонапорная башня на массивных бетонных столбах. Углы ее, скругленные тенями, растворяются во тьме. Четыре худые руки взметнутся ввысь. Согласно, словно с танце. Словно в любви. Словно все четыре произросли из одного тела. Бикфордов шнур. Взрыватель. Предохранитель. Детонатор. Запал.

Неодолимая тяга к откосу, к открытому пространству. Легкий бег. На спуске, за линией горизонта, станет бег совсем бесшумным. Прикосновение, исполненное тоски. Распрямляются примятые на бегу травы. Так легкий челнок скользит по лону тихих вод. Скалы. Устье пересохшего русла. В обход засады. Трепет черных кипарисов. Фруктовые сады. Вьющаяся тропка. Коварное уменье прильнуть к отвесной скале. Расширенные ноздри ловят воздух. Пальцы цепляются за выступы. Колдовство невидимых кузнечиков. Сырость росы и ветра. И тогда вдруг — и не вдруг — приглушенный гром взрыва. Пляшущие огни замерцают у горизонта, на западе. Прерывистое, глухое эхо прокатится по скрытым в горах пещерам.

И взрыв смеха. Переливающегося, дикого, рвущегося из нутра, сотрясающего. Поспешное переплетенье пальцев. Тень одинокого дерева на склоне. Хижина. Закопченная лампа. Первые слова. Вопли радости. А затем — глубокий сон. Фиолетовая ночь. Тяжелые росы падали на долины. Звезда. Неясные громады гор.

Тихий ветерок прикоснется к соснам. Медленно светлеет горизонт. И на бескрайние просторы сойдет прохладное умиротворение.

Май. 1968 год.

ОПАЛЕННЫЕ РОССИЕЙ

Амос Оз

О моих отношениях с Россией — а они, я полагаю, характерны для большинства людей моего поколения и, пожалуй, для всей нашей культуры — об этих отношениях можно сказать так: «Мы обожжены!» И невозможно стереть признаки, стереть следы этой «обоженности», связанные со становлением и переживанием нашего несчастного, трагического «русского романа», — мы им мечены, клеймены, опалены.

Он, и в самом деле, «несчастный роман» — в аспекте политическом и идеологическом. Свидетельство этому — последние сто лет взаимоотношений евреев с Россией. Но в плане культуры его никак нельзя назвать несчастным: напротив, это роман, нас оплодотворивший. И не будь этого «русского романа КУЛЬТУРЫ» — не стали бы мы теми, какие мы есть.

Впрочем, «несчастный роман» тоже принес свои плоды, он тоже часть культурного оплодотворения, ибо даже безответная любовь формирует, закаляет человека, способствует кристаллизации его личности, а чувства, пусть и отвергнутые, — суть слагаемые духовного мира. В конце концов в мире есть больше песен о несчастной любви, чем о любви счастливой ...

Связь наша с Россией — фундаментальная, глубокая, духовная, культурно-литературная, обусловленная, среди

прочего, и сходством темпераментов, — связь нашего общества и нашей культуры не вписывается в простую формулу: «они дали, а мы взяли». Наши отношения с Россией не похожи на взаимные связи между другими европейскими народами, к примеру, между Россией и Францией — хотя и русско-французские связи не столь уж просты и однозначны. Однако, при всей их амбивалентности, можно говорить, что это отношения равного с равным. Россия немало почерпнула у Франции, но, в свою очередь, Франция тоже получила от России нечто существенное. Франция пролила немало русской крови, но и русские в долгу не остались. Случалось и так, что обе эти страны были союзниками.

Наши же отношения с Россией не вписываются в подобную схему. Все намного сложнее. Мы — я имею в виду еврейский народ, а не евреев Эрец-Исраэль, — всегда были для России «проклятым братом», тем братом, которого держат на задворках.

Еврейский народ немало дал России. И не только революцию, которую — правомерно или нет — некоторые называют «детисцем евреев». Мы вправе говорить о еврейском влиянии в самых разных аспектах — начиная от Библии и кончая повседневной жизнью. Ведь и о России можно сказать, что многое из того, что было достигнуто ею, — достигнуто не без участия своих, живших в этой стране евреев. Но при этом они всегда были «братом», который оставался в тени, которому предназначалась не столбовая дорога, а убогий проселок.

И потому многие из них в разное время поднялись и оставили Россию ...

Но куда бы они не пришли — везде была с ними Россия, которую они привезли с собой.

Я бы хотел мысленно вернуться на сто с лишним лет назад — в восьмидесятые годы прошлого века. Для евреев России это было время великих надежд и великих разочарований. Надежды возлагались на реформы Александра Второго. Казалось, что дух Парижа — нетленного символа европейской культуры — вот-вот воцарится и в России, и на Украине: Париж перемещается на Восток, и получение гражданских прав евреями Российской империи —

всего лишь вопрос времени. Казалось, что русское общество вот-вот примет их ...

Потрясение, пережитое евреями России в связи с провалом реформ Александра Второго, убитого народолюбцами в 1881 году, вызывало к жизни первые ПРАКТИЧЕСКИЕ мысли, обращенные к Иерусалиму, идеи, которые можно было бы назвать предтечами сионизма.

В 1881—1882 годах разразились небывалые погромы, впервые в истории России носившие МАССОВЫЙ характер и охватившие значительные территории на юге и юго-востоке Украины. Евреи, опасаясь полиции и цензуры, даже придумали для этих погромов кодовое название — «Ураганы в Негеве». Напомню моим русскоязычным читателям, что пустыня Негев — южная часть Эрец-Исраэль, и направление на юг у нас иногда называется по имени этой пустыни — негба.

Между погромами «Ураганы в Негеве» и погромами начала века — Кишиневским (6—7 апреля 1903 года), а также теми, что сопутствовали первой русской революции (1905—1907), — еврейская интеллигенция пережила долгий период весьма напряженных отношений с русской культурой, период «любви-ненависти». В своем обращении к украинским читателям, предваряющем публикацию моего романа «До самой смерти» в Киеве (1991 год), я назвал эти отношения «безответной любовью» или, если хотите, «разочарованием в любви». В еврейской интеллигенции долго не угасала какая-то надежда, обращенная не к власти предрержащей — та поощряла погромы, поддерживала их и разжигала, — но была великая надежда, что те русские, в которых не умерла совесть, вознесут голос протеста, а вслед поднимется ВСЯ русская интеллигенция. И когда этого не произошло, последовало глубокое разочарование и потрясение. Рухнули определенные пласты в сознании еврейской интеллигенции, обнажив сокрытые дотолде материки и континенты, — и взгляды ее устремились к Сиону, к Эрец-Исраэль.

Отдельные голоса протеста все же прозвучали. Были среди представителей мыслящей России те, кто сказал свое слово в защиту евреев. Но можно понять разочарование евреев, если вспомнить, что из литераторов и мыслителей ПЕРВОЙ шеренги, пожалуй, лишь один М. Е. Салтыков-Щедрин высказался против погромов 1881—1882 годов, и голос великого русского сатирика оказался гласом вопиющего в пустыне. Промолчали

и Л. Н. Толстой, и Ф. М. Достоевский, и И. С. Тургенев. Зато популярный публицист А. С. Суворин, редактор и издатель газеты «Новое время», напечатал статью, в которой задавался поистине гамлетовский вопрос: «бить или не бить?»

Со временем выступления в защиту евреев значительно активизировались, но это произошло позднее, а не в те страшные погромные годы. В. Г. Короленко, на протяжении всей своей жизни рыцарски защищавший евреев, считавший преследования их «позором для СВОЕГО отечества», в это время находился в ссылке. И высказывания Максима Горького, который не раз гневно осуждал антисемитизм, считая его наследственным грехом русского народа, порождением его рабской истории, — эти высказывания также прозвучат много позже.

А пока, как уже сказано, — едва слышны лишь отдельные, не слишком громкие голоса ... Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы в определенных кругах еврейской интеллигенции пробудилась новая надежда: еще не все потеряно, надо ждать. А тем временем в народных массах нашелся свой ответ на погромы — огромное число евреев покидало Россию. Их уже не интересовала ни позиция русской интеллигенции, ни грядущая революция, сулившая всеобщее избавление, ни реформы. Для многих выбор был однозначным — Америка. В интеллигентной среде «американский вариант» не был столь популярным. Актуальными стали поиски путей к национальному пробуждению, обсуждались все возможности — от Бунда до сионизма, вернее, тех идей, которые позднее вылились в сионизм.

Как известно, после погромов, весной 1882 года, были обнародованы «Временные правила», и положение евреев в России еще ухудшилось: существенно сократилась «черта оседлости», перед евреями практически наглухо закрылись двери высших учебных заведений.

Возникло и такое понятие, как «бескровный погром». На страницах столичных и провинциальных газет стали появляться статьи, разъяснявшие, что евреи САМИ накликали на себя беду, что погромы — это расплата за их образ жизни, за тот способ, которым они добывают себе пропитание, за их замкнутость, отчужденность, за то, что они — «не такие, как все».

Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Антисемитизм — явление весьма сложное и неоднозначное. Спустя примерно полвека после «Ураганов в Негеве» был всплеск антисемитизма в Польше, который объясняли примерно теми же причинами: евреи, мол, «не такие, как все» — они на нас не похожи, говорят не на польском, а на чужом языке, одеваются по-иному, едят по-иному, ведут себя по-иному ... В то же самое время в соседней Германии, где антисемитизм также набирал силу, доводы антисемитов были прямо противоположными: евреи так похожи на нас, что уже трудно отличить их от немцев — они и одеваются, как мы, и выглядят, как мы, их поведение и манеры подобны нашим, они усвоили наш язык, да так, что присвоили его себе, они стремятся пожать лавры, не им предназначенные ...

И в Центральной Европе отношение интеллигенции к евреям было амбивалентным. С одной стороны, евреи должны покончить со своей обособленностью, замкнутостью, стать такими, как и мы, — и тогда мы примем их. Но ... если евреи «такие, как все», если они подобны нам, то как тогда отличить — кто же еврей! А если евреи не отличимы от нас — это конец: они все заполонят, все присвоят, все захватят ...

Подобное отношение существовало и в России.

Стоит, наверно, вспомнить и о некоторых высказываниях русских революционеров конца девятнадцатого века, утверждавших, что погромы могут ускорить приход революции, послужить катализатором. В самом крайнем своем выражении это формулировалось так: погром — это народное восстание, поднявшееся сначала против евреев, а затем — против царя. Народ взялся за топоры? Отлично! Наконец-то осуществился призыв: «К топору зовите Русь!» Может, и жаль, что громят евреев, но топор в руках народа — это явление положительное, это раздувает огонь революции, это во имя общего справедливого дела. Увы, подобная фразеология стала банальностью. Банальностью зла ...

И еще одно характерное явление заслуживает внимания. Личный опыт, приобретенный российским образованным евреем, даже тем, кто искренне намеревался ассимилироваться, свидетельствовал о том, что я бы назвал — нет, не антисемитизмом, — а отчуждением, неприятием со стороны русской интеллигенции. Впрочем, об

этом писал в свое время один из лидеров сионизма В. Жаботинский, определив это явление как «асемитизм»: «Это не борьба, не травля, не атака: это безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента».

И в самом деле, нельзя же назвать антисемитом образованного русского человека, который не любит приглашать к себе в дом евреев. Даже убежденные филосемиты как бы окружены невидимой непроницаемой стеной и, горячо выражая свою приязнь евреям, они тем не менее не открывают им свои объятия. Более того, я осмелюсь заявить, что Лев Толстой — тоже из их числа, хотя мое уважение к нему безгранично.

Следует заметить, что подобный «синдром непроницаемости» был характерен не только для России. В той или иной форме схожие явления наблюдались и в Германии, и во Франции, практически во всех цивилизованных странах, за исключением разве что Соединенных Штатов Америки.

И это не могло не быть прочувствовано и осмыслено той частью еврейской интеллигенции, которая в силу своей интеллектуальной честности была обязана дать себе отчет в происходящем. Мне представляется, что сионизм провозвестника Еврейского государства Теодора Герцля, так же, как и других лидеров этого движения, в конечном счете основывался на «чуждости» евреев тем странам, в которых они жили в диаспоре, а отсюда — и единственное решение — Исход.

Еврейская интеллигенция «получила» от интеллигенции русской необычайный конгломерат — смесь национализма с либерализмом, народничеством, толстовством, коммунизмом. И даже — чуть-чуть анархизма, приправленного нигилизмом. И хотя еврейская интеллигенция сумела каким-то образом «переварить» и усвоить эту нелегкую духовную пищу, это не помогло ей открыть запертые двери. Ни один из «ключей», которым пытались воспользоваться, не подходил ни к одной двери! Так и осталась еврейская интеллигенция со связкой ключей в руках, а «русская дверь» по-прежнему была заперта на семь замков. И тогда евреи приняли решение: «Мы создадим

дверь, которая откроется НАШИМИ ключами. Мы построим СВОЮ дверь!»

С этого, по сути, начинается истинно сионистское мышление. Поначалу речь шла лишь о духовном обновлении — об обновлении политическом еще не думали. Созидание НАРОДА. Сначала — в России, а затем, быть может, во всей Восточной Европе, а там — и во всем мире!

В работах основателя «духовного сионизма» Ахад-ха-Ама (Ашера Гинцберга, 1863—1927) доминантной стала идея о «жажде национального существования», которой обуян народ, — в силу всеобщего инстинкта, присущего равно и отдельной личности, и целому народу.

Нетрудно уловить здесь нечто общее с идеями славянофильства или даже пан-славизма: есть некая СУЩНОСТЬ, которая определяется не государственной принадлежностью — она превалирует над государственными институтами, не зависит от паспорта, сущность эта — нечто мистическое.

Схожие идеи появились и в еврейской среде: иудаизм — это не только религия, но еще и СУЩНОСТЬ. Такой подход явился, пожалуй, первым зерном, из которого проклюнулись ростки сионизма. Зарождение сионистской мысли в России было «облучено» идеями, возросшими на явно славянской почве ...

Еще одна идея, дошедшая до евреев разными путями и усвоенная ими с «русского голоса», — связь между коллективным здоровьем, самочувствием индивидуума и «простой жизнью». Всякий, кто оторван от земли, нравственно не здоров. Эта идея была весьма популярна в России в XIX веке. Жизнь в деревне идеализировалась русской интеллигенцией и противопоставлялась городской: по воззрениям славянофилов, город — это разложение; он загажен «немецкой грязью», испорчен «влиянием Запада». Подлинное, истинное, исконное — это деревня. Корни народа — в почве. У евреев такой «почвы» не было. Отсюда в сионизме — особенно, русском, — так силен мотив «возвращения на землю» в самом прямом смысле слова. Кстати, сионисты Запада об этом возвращении почти не говорили. Для сионизма же российского — вернее, прото-сионизма — все другие варианты были неприемлемы: все, что не связано с землей — болезнь и загнивание. Еврейскому народу необходимо вернуться на землю, вернуться к земле. А такое возвращение возможно лишь на СВОЕЙ земле — в Эрец-Исраэль.

...В июне 1882 года четырнадцать молодых евреев из России во главе с Израэлем Белкиным высадились в порту Яффо и вскоре стали работать в сельскохозяйственной школе Микве Израэль. Эти молодые люди, принадлежавшие к организации БИЛУ (ее название составлено из первых букв библейского стиха: «Бейт Яаков лху венелха» — «Дом Яакова! Вставайте и пойдём!» Исход, 2:5), своим переселением в Эрец-Израэль не только выразили решительное неприятие той ситуации, которая сопутствовала погромам 1881 года. Они привезли с собой и тот комплекс идей, о котором я говорил выше, те веяния, что во многом определили духовную жизнь русского еврейства перед первой волной массовой репатриации — так называемой Первой алией (1882—1903).

Пример такого рода веяний: иллюзии по поводу «простого человека». Сами эти иллюзии возникли под явным влиянием взглядов интеллигенции русской: дескать, власть омерзительна, прогнила до основания, жестока, немолима, а «простой человек» — хорош. Он, быть может, пьёт слишком много, чересчур вспыльчив, его легко сбить с толку, но он — хороший. Кровавые погромы поставили еврейскую интеллигенцию перед жестоким фактом: антисемитизм «простого русского человека» — рабочего, мужика, мещанина — мало в чем уступает антисемитизму власти предрержащей. Непреложность этого факта трудно было вынести. Пока еврейская интеллигенция верила в «простой народ», в его моральное превосходство над властью, в его чистоту, наивность, неиспорченность, — была еще надежда, что безумие схлынет, исчезнет, сойдет на нет. Канет в небытие один царь, сойдет со сцены другой, а там и революция грянет, а уж после революции — рай земной, всеобщее братание. Когда же эта иллюзия рухнула, еврейская интеллигенция отправилась на поиски иного, так сказать, НАШЕГО «простого народа».

Этот извечный миф — а в это определение я вкладываю еще и целую систему ценностей и идеалов — евреи принесли и в Эрец-Израэль. Но здесь эпос обернулся комедией. Почему? Потому, что на местных арабов были перенесены прежние, российские представления. Пусть араб ходит в бурнусае, отрастил длинные усы, опален южным солнцем — это, мол, тот же представитель «простого народа».

И в определенных кругах новоприбывших из России заговорили с энтузиазмом: «Мы будем добры к этим простым людям, мы принесем им образование и прогресс, но и сами научимся у них, как жить простой, здоровой жизнью, как пахать землю. Мы сольемся с ними». Если МЫ оградим их от произвола местных помещиков — «эффенди», защитим от коррумпированной власти, оторвем от религии, приблизим их к себе, поделимся своими знаниями — они нам будут благодарны, примут нас, и совместными усилиями мы примемся за строительство прекрасного отечества и для НАС, и для НИХ. Одним словом, палестинская версия «хождения в народ», где в роли «простого народа» выступают арабы ...

А вот и еще один миф: арабский земледелец-феллах — это «мужик», а кочевник-бедуин — «казак». На почву Эрец-Исраэль были опять-таки перенесены российские заблуждения: казак — добрый, в сущности, человек; если его не сбивают с толку, не подстрекают, не спаивают, он исполнен доброты и тепла.

И когда случились первые столкновения между арабами и новоприбывшими из России, реакция последних была чисто «русской»: это погром, антисемитизм, снова иноверцы-«гои» занимаются тем, в чем достигли высшего искусства, — резней. Такие чувства испытывали, в основном, представители Первой алии, которые были потрясены, растеряны, дезориентированы. Вновь зазвучал классический вопрос — что делать?

Попробуем представить себе, что должен был пережить, к примеру, писатель Моше Смилянский, переселившийся в Эрец-Исраэль в 1890 году. Одним из первых в новой ивритской литературе выводит он на страницы своих книг арабских персонажей. И свой псевдоним «Хаваджа Муса» он тоже выбирает не случайно — это заимствование из арабского: «хаваджа» — вежливое обращение к мужчине, Муса — это Моисей. Его рассказы и повести из жизни Эрец-Исраэль окрашены в романтические тона. Нетрудно догадаться, откуда черпал свое вдохновение этот писатель, идеализировавший простого феллаха-землепашца, честно и упорно обрабатывающего свой надел, свое поле, свою родную землю. М. Смилянский, так же, как и многие другие, пережил настоящий шок после первых столкновений с арабами.

Представители Первой алии еще не успели оправиться от этого шока, как накатила новая волна репатриантов — более 40 тысяч человек: Вторая алия (1904—1914), прозванная «социалистической», основавшая рабочее и кибуцное движение в стране.

Они привезли с собой идейный пыл, бурный темперамент революции 1905 года. Они не только пережили погромы, сопутствовавшие этой революции, но и впервые попытались организовать еврейскую самооборону, хотя попытки эти чаще всего оказывались неудачными. Однако этот российский опыт не пропал втуне — именно Вторая алия создала ядро еврейских вооруженных сил.

У этих первых боевых формирований было потрясающее сходство с русскими «источниками»: совершенно явно ощущается влияние методов российского революционного подполья — те же приемы конспирации, то же сочетание коллективизма с индивидуализмом. Новые призывы зазвучали в Эрец-Исраэль: надо с оружием в руках встать против арабских погромщиков, но также надо не давать спуску и зажиточным еврейским землевладельцам-эксплуататорам.

В разговорах зазвучали такие слова, как «революция», «экспроприация», словно революция переместилась сюда, на Ближний Восток, и еврейским «кулакам-мироодам» из Петах-Тиквы и Зихрона придется держать ответ перед пролетариатом. Кстати, слово «кулак» именно в его русском звучании и смысле вошло в иврит, равно как и другие слова, привезенные из России в тот период — самовар, рубашка, гармошка, балаган ...

Группа участников самообороны из России организовала в 1907 году конспиративную организацию по охране и обороне, названную «Бар-Гиора» — в честь вождя антиримского восстания времен Второго Храма. Индивидуалисты, люди с непреклонным характером и твердыми убеждениями, члены этой маленькой подпольной ячейки действовали под глубоким воздействием идей и методов русской партии эсеров, о чем они сами неоднократно говорили и писали — достаточно прочесть их манифесты. В 1909 году «Бар-Гиора», расширившись, стала организацией «Хашомер», явившись тем ядром, из которого впоследствии развилась «Хагана» (1921), поставившая, в свою очередь, кадры первым Вооруженным Силам Государства Израиль.

Политические страсти, столь привычные для российского еврейства, отныне кипели в Эрец-Исраэль. В 1906 году здесь были организованы первые рабочие партии — «Поалей Цион» (Рабочие Сиона) и «Хапоэль ха-цаир» (Молодой рабочий). Их члены полагали, что защита от арабских погромщиков и борьба против еврейских богатеев, обращавшихся с еврейскими батраками, как с рабами, — это и есть подлинная еврейская социалистическая революция.

В литературе, создававшейся в Эрец-Исраэль в те годы — вплоть до начала 1-й мировой войны — применение силы, индивидуальный террор признавались вполне допустимыми. Здесь сказывалось также влияние и анархистов, и нигилистов. Непримируемое отношение к сложившейся действительности, идеологизация истории, взгляд на роль личности в истории, убежденность, что небольшая авангардная группа активных деятелей способна изменить ее ход, — не правда ли, все это хорошо знакомо русскоязычному читателю?..

И еще один столь же знакомый мотив: можно — а порою просто необходимо! — отбросить принятые моральные нормы. Почему? Потому что в революционную эпоху существует ВЫСШАЯ мораль, позволяющая преступить и закон, и моральные категории. Гуманизм может подождать до лучших времен. «Высшую» мораль, как известно, исповедовали и русские радетели за народ. Кстати, слово «народ» в те времена звучало в Эрец-Исраэль не реже, чем ивритское слово с тем же значением — «ам». Но понятие «народ» включало в себя лишь тех, кто трудился на земле, и наши революционеры, говоря о народе, исключали, скажем, зажиточных еврейских поселенцев: они — не народ. Народ — это те, у кого ничего нет ...

Теперь я хотел бы более подробно остановиться на литературе периода Второй алии — периода взлета халуцианского движения («халуц» — так называли на иврите пионеров-поселенцев, приехавших из России, чтобы работать на земле).

... Тургеневская меланхолия чувствовалась в описаниях умирающих еврейских местечек, их неизбежного заката. В чеховские тона были окрашены рассказы о «маленьком

человеке» из гущи еврейских масс, вечном неудачнике, вечном страннике, нигде не находящем своего места. Когда же еврейские писатели говорили о невероятной сложности нашей природы — нельзя было не услышать голоса Достоевского. А стоило им заговорить о справедливости, о народе, о корнях, о земле, об опрощении, о природе — тут уж сам Лев Николаевич Толстой входил в комнату, и его присутствие можно было ощутить прямо-таки физически.

Так тень великой русской литературы девятнадцатого века осенила ивритскую литературу эпохи ее становления.

Позднее, во времена Авраама Шленского (1900—1973), выдающегося поэта и блестящего переводчика, под чьим пером на иврите зазвучали и Пушкин, и Тютчев, и Ахматова, и Гумилев, — проявились и иные русские веяния: символизм, акмеизм, футуризм. Словно местный Маяковский, ходил по улицам Тель-Авива поэт Александр Пэнн (1906—1972). Он блестяще перевел знаменитого советского поэта и даже издал книгу его избранных стихов ...

В период между двумя мировыми войнами русская культура, старая и новая, оказывала решительное влияние на культуру ивритскую. В некоторых произведениях того времени можно даже отыскать и марксистский детерминизм, и популистскую советскую романтику ...

Но вернемся к литературе периода Второй алии. И познакомимся с одним из основателей, идеологом и духовным руководителем халуцианского движения в сионизме, движения, целью которого было еврейское заселение и освоение Эрец-Исраэль. Аарон Давид Гордон (1856—1922) смог осуществить свое желание жить на этой земле, когда ему было уже под пятьдесят. Он решил стать сельскохозяйственным рабочим и, приложив нечеловеческие усилия, стал трудиться с мотыгой в поле. Книжки, которые он написал уже здесь, я бы мог назвать анархистскими и религиозными в одно и то же время.

Взгляды Гордона сложились в основном под воздействием идей Льва Толстого. Путь к исправлению мира — в самоусовершенствовании человеческой личности, в признании ее непреложной ценности, в естественной простоте, в близости к природе. Человек должен работать на земле, ибо такой труд — наиболее естественный, он непосредственно удовлетворяет человеческие потребности.

Его результатами надо делиться с ближним. Молиться следует не в синагоге, а на природе. Поклоняться горам, ветру, воде, свету — именно там и есть Бог. Жил Гордон с чувством аскета, который готов отказаться от всех благ и удовольствий жизни, чтобы дойти до истины, познать ее. Это пришло от Толстого, но имеет более глубокие русские корни.

Будучи убежденным противником частной собственности на землю и средства труда, Гордон отвергал марксизм, равно как и любую другую идеологию. По мнению Гордона, утверждения, что бедняки и рабы хотят свободы, и стоит им добиться ее, мир станет раем, — эти утверждения ошибочны. Рабы хотят не свободы — они жаждут сами стать господами, чтобы другие были рабами вместо них. Поэтому недостаточно освободить ОБЩЕСТВО. Главное — это ЛИЧНОСТЬ. И исправлять, изменять нужно только личность, а не общество. Поэтому нет смысла стремиться к созданию совершенного ГОСУДАРСТВА. В центре всех усилий — ЛИЧНОСТЬ, и вокруг нее и к ней устремлены идеи А. Д. Гордона. Добровольное приобщение к физическому труду послужит не только совершенствованию личности, но и средством интуитивного постижения, мистического восприятия Бога. Не случайно последователи Гордона определяли его мировоззрение как «религию труда».

Подобные взгляды — сочетание анархизма с религиозностью — непонятны ни одному западному мыслителю, но зато уроженец России легко проникается ими, хорошо представляя их истоки, берущие начало в русских идеях, русском бытии, русском духовном опыте. Я бы сказал, что воззрения Гордона — странный, а возможно, даже трагический брак русского начала с еврейской традицией.

Личность Аарона Давида Гордона, его обаяние, сама его жизнь оказали огромное влияние на современное ему поколение созидателей страны. Его именем было названо всемирное молодежное движение — «Гордония», возникшее в 1923 году. Но вслед за гордонистами появились ... марксисты.

Тут мне хочется повторить свое высказывание о марксистах, сделанное в одной из бесед с журналистами и имеющее прямое отношение к теме этой статьи. Я сказал, что эти люди поклонялись Сталину и лелеяли надежду, что в один прекрасный день он приедет к ним в кибуц. Тогда-то они покажут ему ВСЕ. Как водится, разго-

рится великая полемика о марксизме-ленинизме и всем таком прочем, и вот тут-то они Сталину докажут раз и навсегда, каков он должен быть — ПОДЛИННЫЙ марксизм-ленинизм. И тогда, надеялись они, Сталин усмехнувшись в свои усы, скажет им: «Ну, жида, вы построили социализм почище, чем в России, честь вам и хвала!» — а потом можно и умереть от великого счастья ... Вот как иногда скрещиваются русские идеи с реальным воплощением их в Эрец-Исраэль ...

Но, пожалуй, самым интересным «перекрестком идей» оказался Иосеф Хаим Бреннер — и в своих художественных произведениях, и в публицистических выступлениях, и в своей жизненной позиции.

Бреннер был личностью очень еврейской, сказал бы я, — в своих страданиях, в стремлении к подлинной нравственности, в своем индивидуализме, в освящении жизни ЛИЧНОСТИ. В этом он походил на Гордона. Но в противоположность последнему, он относился к действительности с жестоким реализмом, исполненным крайнего пессимизма. С пессимизмом думал он об отдельном человеке, и об обществе в целом, и о еврействе, вернее, о той ситуации, в которой оно находилось.

Он первым увидел с абсолютной бескомпромиссностью и предельной жестокой ясностью, что нам предстоит неизбежное столкновение с арабами. И вовсе не потому, что арабы плохи, злы или проданы, а потому, что они отнюдь не глупы и прекрасно понимают, что мы пришли сюда не для того, чтобы их жизнь стала легче. Мы готовы одарить их всяческими «пирожными» — прогресс, образование, здравоохранение, но эту землю заберем себе. И если эта земля станет еврейской, она уже не будет арабской — и арабы это отлично понимают! А раз так, то никакие сладкие пилюли не помогут — ни поднятие уровня жизни арабов, ни прогресс, ни образование. Предстоит столкновение — и к нему необходимо готовиться. Он не верил, что мы победим, но считал, что необходимо попытаться.

Вся суть мировосприятия Бреннера сконцентрирована вокруг идеи «вопреки всему, наперекор всему». Быть может, нет надежды на победу, но человек ОБЯЗАН попытаться. Поэтому он верил, что НАДО браться за ору-

жие — вопреки мнению Гордона. Изучать военное дело, не превращая оружие в религию, в предмет поклонения, к чему, по его мнению, призывал создатель первых еврейских отрядов самообороны в Эрец-Исраэль Владимир Жаботинский.

Бреннер презирал и пацифизм, привезенный немецкими профессорами, считавшими, что, если мы «подставим другую щеку», нас полюбят. Он не мог примириться с бессилием и покорностью. Он непреложно верил в право на самозащиту — когда нельзя не взяться за оружие и применить силу. Но ни в коем случае не создавать из силы РЕЛИГИЮ, не возвеличивать ее и не прославлять. «Тот, кто полагает, что наш идеал — агнец, глуп, как и тот, кто считает, что наш идеал волк», — так писал Бреннер.

Он был убит арабскими погромщиками 2 мая 1921 года во время антиеврейских беспорядков в Яффо. Было ему 40 лет ...

Его оппонент — Жаботинский, живший с 1920 года в Иерусалиме, предвидя опасность антиеврейских выступлений со стороны арабов, организовал в том же году первые отряды самообороны, за что был судим военным судом и приговорен к пятнадцати годам каторги. Бурные протесты общественности вынудили британскую администрацию Палестины сперва смягчить, а затем и вовсе аннулировать этот приговор.

Отголоски той полемики, что вели некогда Бреннер и Жаботинский, — эти два ярчайших представителя русского еврейства, духовный мир которых сформировался под воздействием русской культуры, — можно услышать в спорах, ведущихся в израильском обществе и в наши дни. Каковы границы применения СИЛЫ? Как, обладая силой, не потерять РАЗУМ?..

А сейчас я хочу перейти к теме, которой уже мимоходом коснулся. Я хочу поговорить о странном, сюрреалистическом периоде, когда часть еврейского населения Эрец-Исраэль была влюблена в Россию времен Сталина. Оговорюсь сразу: НЕ ВСЕ были влюблены. Та часть, о которой пойдет речь, была невелика, но весьма заметна и представительна в обществе.

Чтобы разобраться в этом эпизоде нашей истории, следует остановиться на обстоятельствах, ему сопутствующих.

Одним из главных таких обстоятельств было разочарование в британцах. Они обещали нам «национальный очаг» — и не сдержали обещания. Обещали нам государство — и слово свое нарушили. Переметнулись на сторону арабов — по крайней мере так это выглядело внешне: репатриация евреев в Эрец-Исраэль была заблокирована британскими мандатными властями с помощью всевозможных ограничительных законов. Подобные законы затрудняли покупку земель. Еврейское население Эрец-Исраэль чувствовало, что британцы всячески сдерживают, тормозят развитие сельскохозяйственных поселений, промышленных и торговых предприятий.

У некоторых людей появилось ощущение, что освобождение от британцев придет лишь тогда, когда рухнет мировая империалистическая, колониальная система. Кто в состоянии добиться падения мирового империализма? Сталин! Подобный взгляд был весьма популярен не только в Эрец-Исраэль.

Следует также напомнить: когда вспыхнула 2-я мировая война, Сталин позволил еврейским беженцам из Польши укрыться в СССР. Как он поступил с ними в дальнейшем, бросив часть в тюрьмы, сослав многих в Сибирь, — об этом здесь не было известно. Но хорошо было известно, что Сталин — единственный спаситель польских евреев, что он один стоит против Гитлера. Героика Сталинграда, романтический ореол вокруг мужественных людей, грудью заслонивших свою страну от захватчика, — все это было так близко и понятно большинству еврейского населения в Эрец-Исраэль. Это понимание породило и солидарность — ведь если не Сталин, неминуемо придет сюда Гитлер! Евреи в Эрец-Исраэль глубоко переживали поражение русских в начале войны, а затем бурно радовались победам Красной Армии.

С британцами невозможно было солидаризироваться, далекая Америка была воплощением «мирового империализма». А если вспомнить, что в конце 1947 года Советский Союз проголосовал в ООН за создание Еврейского государства, то чувства евреев в Эрец-Исраэль легко понять. Многие думали, что наступили мессианские времена. Наконец-то прояснится трагическое недоразумение — заканчивается время абсурдного непонимания и разногла-

сий между евреями и Россией. О, наивные евреи! Они думали, что все это происходит потому, что созданы кибуцы, построен социализм, и в России наконец-то поняли, что мы принадлежим к одной семье, и эта большая семья распахивает нам свои объятия.

Евреям, взявшимся за оружие, был понятен русский идеал НАРОДНОЙ армии, политизированной, вооруженной идеологией, — империализм можно победить, лишь создав именно такую армию, начав с подпольного партизанского движения. Некоторые из тех, кто сражался в России с нацистами, после провозглашения Государства Израиль прибыли сюда. Большинство этих людей разделяли взгляды коммунистов, а часть просто были коммунистами.

Книга о двадцати восьми героях-панфиловцах А. Бека произвела здесь огромное впечатление, и ее влияние на еврейскую молодежь того времени просто трудно описать. В этих краях звучали русские песни, которые стали неотъемлемой компонентой здешней жизни, — кстати, и по сей день это так. Очень популярен был и русский фольклор, который во время 2-й мировой войны коммунисты умело использовали. Тогда в СССР была проведена «всеобщая мобилизация» всех национальных символов и атрибутов, интернациональное на время как бы отошло в тень.

Поворот Сталина к «национальному» был с большим интересом воспринят в Эрец-Исраэль. Если коммунизм не противостоит всему национальному, стало быть, он не противостоит и сионизму, он ПРИНИМАЕТ сионизм. Люди, которые лет за пятнадцать до того спаслись бегством от Евсекции, вдруг предположили, что Сталин отправит в Сибирь всю Евсекцию и признает сионистов. (Они и не подозревали, что многие из ретивых деятелей Евсекции именно в Сибири и пребывали в эти годы, а иные из них и головы не сносили). Надежды теснили грудь, многие были едва ли не в экстазе, считая, что пришел конец не только непониманию между евреями Эрец-Исраэль и Сталиным, нет, завершился столь долгий период судьбоносных разногласий между русской интеллигенцией и еврейским народом — наконец-то мы поняты и приняты!

Очевидно, что для всего этого не было ни малейших оснований, кроме телячьего восторга здешних евреев. Все действия Сталина в данном случае сводились лишь к то-

му, чтобы досадить Британии и Америке. Все было направлено на то, чтобы раздуть арабо-израильский конфликт и получить таким образом возможность вмешаться в ближневосточный кризис. И когда Россия открыто выступила в поддержку арабов, наступило великое отрезвление ...

Вместе с освобождением от иллюзорной надежды, что коммунизм станет союзником сионизма, пришло и освобождение от объятий «русского медведя». Появились и антисоветские настроения, иногда перераставшие в антирусские: хотелось отринуть все — и песни, и танцы, и фольклор, отрешиться от этой особой «русской атмосферы».

Взгляды местных литераторов обратились к Западу. Русская поэзия — ни В. Маяковский, ни А. Ахматова, ни Б. Ахмадулина — уже не была тем источником, из которого черпалось вдохновение. Отныне вдохновляли Томас Стернз Элиот, Роберт Фрост, французские символисты, представители других западных течений. Вдруг возникло сильнейшее желание разом покончить с «русскими связями», оборвать и отбросить все.

Таким настроениям способствовала и волна всеобщей антиидеологизации. Евреи, прибывшие в Эрец-Исраэль из Румынии, Польши или, скажем, из Марокко, — не хотели ни социализма, ни равноправия, ни революции, ни идеологии. Они жаждали НОРМАЛИЗАЦИИ. Они не хотели, чтобы глава правительства целый день расхаживал в военной форме цвета хаки и ко всем обращался за просто: «хавер» (товарищ). С «товарищем» покончено. Новоприбывшим хотелось, чтобы их премьер ходил в синагогу, был джентльменом, предупредительно открывал перед дамами двери и целовал им ручки. Подлинным идеалом нового Израиля, абсорбировавшего огромную волну репатриантов, была Франция. Не Франция президента Миттерана, а Франция генерала Шарля де Голля. Может быть, даже Франция девятнадцатого века. Проникнутая национальным духом, слегка религиозная, но не чрезмерно, военная держава, не чуждая некоторой ксенофобии. Страна с отличными манерами и с сильной властью. Держава, заботящаяся прежде всего о собственных интересах. А потому Давид Бен-Гурион, первый глава правитель-

ства и министр обороны Государства Израиль, — это он ходил в хаки и любил обращение «хавер», — ушел из политической жизни, поселившись в кибуце в Негевской пустыне. А ему на смену — после нескольких промежуточных стадий — пришел Менахем Бегин. Костюм и галстук сменили военную форму ...

Так и «русский сантимент», точнее — целая гамма сантиментов: сторонников революции и ее противников, приверженцев коммунизма и антикоммунистов, предтеч коммунизма и посткоммунистов — все это уступило место идеалам мелкой буржуазии, обществу, которое было в поисках иной, **НОВОЙ** своей личной самоидентификации.

Но ... В мире духа ничто не умирает. Только люди умирают. Чувства и ощущения не умирают. Мелодии не умирают. Идеи не умирают. Все возвратилось и, просочившись, напитало литературу. Читатель легко заметит это, открыв книгу стихов или углубившись в прозу последних лет.

И автор этих строк — не исключение. Все, что я написал, безусловно, имеет русские корни. У меня нет никакого чувства, будто русские — избранный народ, а русская культура — наивысшее духовное достижение. И я не думаю, что идеологические наши связи с Россией характеризуются чем-то таким необъяснимым, близким, чего нет в наших взаимоотношениях с другими странами и культурами.

И тем не менее ...

В глубине души я осознаю и принимаю свои собственные русские корни. Корни духовные и душевные. Мне близки и русская мелодика, и даже русский темперамент. Ибо вне всякой связи с тем, каков он, облик России — до Сталина, времен Сталина, после Сталина, до погромов, во время погромов, после погромов, и Бог знает, может нам еще суждено пережить русские погромы! — есть один непреложный факт: наше прошлое и настоящее связаны тысячью и одним узлом с тем, что досталось нам от России.

Кое-что из полученного нами было навязано насильно, выжжено на нашей шкуре, словно тавро. Но ведь и наси-

лие — один из параметров личностной самоидентификации.

Небольшое тавро можно спрятать под рубашкой. Мы же опалены Россией так, что скрыть это невозможно — ни от себя, ни от других. Потому и сказал я вначале: «Мы обожжены».

В этих заметках я сознательно уклонялся от того обилия ВНЕШНИХ признаков наших связей с Россией, которыми полна повседневная жизнь современного Израиля. И все же стоит, наверно, привести один-два примера.

Начнем с того, что в разговорном иврите имеется целый «русский» пласт. Это обусловлено рядом исторических причин. На протяжении столетия — с 1820 по 1920 — литература на иврите, ее основные, если можно так выразиться, модели создавались на славянской территории — в России и Польше. Так что славянское влияние на иврит было практически неизбежным. И когда в двадцатые годы центр ивритской культуры переместился в Эрец-Исраэль, это влияние оставалось интенсивным на всех уровнях языка: интонационные модели, синтаксические конструкции, множество слов ... Эти «кальки» и в наши дни поражают новоприбывших.

Забавная ситуация сложилась с использованием особого слоя русского языка. Когда советские торговые суда впервые бросили якорь в Хайфском порту, израильские докеры поразили прибывших моряков отличным владением русским матом (приходится признать, что в этой области иврит целиком живет на заимствованиях, где русская отборная брань сочетается с подобными структурами арабского). Когда же состоялся ответный визит израильтян в Одессу, один из наших моряков, уроженец Марокко, удивленно воскликнул, услышав виртуозную брань портовых рабочих: «Неужели они русские? Ведь все эти ругательства они взяли у нас!»

Некоторое время назад в Израиле гастролировал ансамбль песни и пляски Советской Армии, и молодые слушатели, не подозревая об истинном происхождении услышанных мелодий, с таким же удивлением спрашивали: «Как же так? Половину песен они У НАС позаимствовали!»

Все это свидетельствует об укорененности русского влияния — о том, что его неосознанно испытывают даже те, кто уже не связан с Россией ни рождением своим, ни воспоминаниями ...

Но вернемся к тем, кто прибыл из России. Поколение за поколением стремились новые репатрианты говорить на иврите, читать и писать на иврите, жить на иврите. Быть ИЗРАИЛЬТЯНАМИ. Но ... Сны они видели на русском, мечтали, смеялись, плакали, бранились на русском ... Эта «русская экспансия», проникшая в самые сокровенные уголки, в наши ткани и клетки — одно из слагающих трагедии еврейско-русского романа.

На протяжении последних ста — ста пятидесяти лет евреи России предпринимали гигантские усилия, чтобы «вписаться», стать «самыми русскими». Еврейские либералы, коммунисты, анти-коммунисты, диссиденты — все хотели принести максимальную пользу России, быть в первых рядах. При этом, думается, ими двигало одно желание — слиться с русским народом, быть принятыми им. Но цель эта оставалась недостижимой ...

И были, конечно, евреи, которые это осознавали. Назову, к примеру, Оскара Грузенберга (1886—1940) — замечательного адвоката, добившегося оправдания Менделя Бейлиса на печально знаменитом процессе в 1913 году. (В том же году именем Грузенберга была названа улица в Тель-Авиве, а в 1951 году его прах был перенесен из Ниццы и захоронен в Израиле.) Этот незаурядный человек, немало сделавший для защиты чести и достоинства еврейства, беззаветно любил Россию. И все-таки, когда ему предложили преподавать в Киевском университете при условии, что он примет христианство, Оскар Грузенберг это предложение отверг. Я думаю, он понимал, что даже принятие христианства не сделает его своим в России, которая всегда одной рукой приближала евреев, а другой отталкивала.

По-видимому, это не изменилось и по сей день. Мы виноваты всегда и во всем. И ничто нам не поможет ...

Все наши попытки совместного проживания с народом России успехом не увенчались. Пожалуй, это квинт-эссенция нашего исторического опыта, из которого сионизм сделал надлежащие выводы. И русско-еврейский

опыт не уникален. Совместное проживание евреев с другими народами ни в одном уголке земного шара нельзя назвать гармоничным. И вовсе не потому, что евреи не стремились вписаться, приобщиться, усвоить, изучить, внести свой вклад! Кто был большим французом, чем Альфред Дрейфус, офицер французского генерального штаба? И кому не известно «дело Дрейфуса» — та разнузданная антисемитская кампания, которая была развернута в связи с ложным обвинением его в шпионаже в пользу Германии? А в Германии нашлись свои «предатели-евреи» ... Любовь русских евреев к России — их вовлеченность в ее литературу, историю, философию, науку, политику, промышленность — подобна еврейско-немецкому симбиозу, еврейско-французскому, еврейско-польскому ... Примеры можно множить до бесконечности.

У меня нет рационального объяснения, почему все наши попытки сближения с другими народами оказались обреченными на провал. И не это — наша тема. Важным мне представляется другое: сегодня мы на пороге новых еврейско-русских отношений. Я бы сказал так: завершены их пролог.

Что я имею в виду? То, что в еврейско-русском диалоге наступил период РАВНОПРАВНОГО партнерства. И это равноправие обусловлено не тем, что численно два этих народа равны, а прежде всего историческими переменами, в результате которых каждый из нас САМ распоряжается своей судьбой. И русские и евреи вольны выбирать свой путь и свое будущее. Сегодня — это СВОБОДНЫЕ народы, и тем положен конец ДЕМОНИЗАЦИИ. Россия — не наш демон. И я очень надеюсь, что и мы навсегда перестали быть демоном России.

Покончено и с той невероятной АНОМАЛИЕЙ, когда евреи постоянно жили «в гостях». Случалось, что мы были желанными гостями, иногда — непрощенными. Бывало, что наши старания «быть, как все» вызывали смех. Происходили с нами вещи и похуже. Из своей длинной истории человечество вынесло один существенный урок, который усвоили еще первобытные люди, обитавшие в пещерах: человек не создан для того, чтобы быть вечным ГОСТЕМ. Вечный гость — состояние парадоксальное, и многие века евреи пребывали в этом состоянии.

Но теперь у нас есть Израиль.

Сюда евреи России привезли накопленные ими духовные богатства. Но хочу особо подчеркнуть: наш Изра-

иль — отнюдь не «реплика» России. Слава Богу, есть у нас и другие «гены» высокого качества, без которых наш национальный организм не смог бы успешно функционировать. Евреи — уроженцы Германии, Британии, США, Франции, Центральной и Восточной Европы, Северной Африки и иных стран прибыли сюда со своими традициями, и все этнические общины создают ПОЛИФОНИЧЕСКОЕ общество. В этой ПОЛИФОНИИ русская СКРИПКА — не балалайка! — русская еврейская скрипка — все еще ведущий инструмент, и я думаю, что так будет долго.

Но — и это крайне важно помнить: эта скрипка — не сольный инструмент. Мы — симфонический ОРКЕСТР. И в звучании этого оркестра у каждого своя значительная партия.

Наше общество унаследовало идеи Моше Мендельсона (1729—1786), еврейско-немецкого философа, и взгляды рабби Моше Хаима Луццатто (1707—1747), каббалиста, драматурга, поэта, уроженца Падуи, прибывшего в Эрец-Исраэль в 1743 году, и философскую глубину средневековой еврейской поэзии, расцветшей в Испании и Провансе, и сложную символику произведений Шмуэля Иосефа Агнона (1888—1970), классика ивритской литературы, лауреата Нобелевской премии, родившегося в Галиции, долго жившего в Германии, свои лучшие произведения написавшего в Эрец-Исраэль ...

Все это — и многое, многое другое, не поддающееся даже краткому перечислению, — все это и создает ту полифонию, в которой — повторю это снова — «русской» скрипке отведена хотя и доминантная, но не исключительная партия.

Полифония — это плодотворный парадокс нашего национального бытия.

Немало земель обошли мы в наших странствиях, и то, что почерпнули в скитаниях, внесли мы в национальную сокровищницу. Порою нам самим трудно очертить параметры нашей личностной самоидентификации, и внутренний мир многих из нас — поле сражений «гражданской войны». Пламя этой войны охватывает не только душу израильянина, чей отец прибыл в страну, скажем, из Марокко, а мать — из Галиции, или того, чей отец — уроженец Йемена, а мать — «россиянка». Даже человек, просто прибывший из той же России (Англии, Франции и любой другой страны), ощущает это внутреннее борение, которое я и называю «гражданской войной».

Еврей, уроженец России, чувствует себя евреем среди русских, но стоит ему попасть в среду евреев, выходцев из Северной Африки, к примеру, — и он тут же почувствует свою «русскость» так остро, как он и предположить не мог: ему будет не доставать русского языка, русских песен, и он вдруг ощутит свою связь с Россией до боли в сердце. Видимо, такова наша судьба: и через тысячелетия проносим мы любовь к тем местам, где родились, сохраняем незримую связь с ними.

Такова наша общая судьба. Такова и судьба русского еврейства.

Но сегодня — я хочу это повторить снова — во взаимоотношениях евреев с Россией, в нашем «несчастном романе» завершен пролог. Отныне мы больше не живем в тени России.

Что же начнется отныне?

Будущее покажет ...

Арад, 1994 г.

АМОС ОЗ

(Краткая биография)

Амос Оз (Клаузнер) — современный израильский писатель, публицист, эссеист и ученый, родился в 1939 году в Иерусалиме. Мать его родом из украинского города Ровно, а отец — из разветвленной (корни ее — в Литве и на Украине) еврейской семьи, которая с 1885 года жила в Одессе. Родители Амоса приехали в Эрец-Исраэль в тридцатые годы. Отец его долгие годы работал библиографом в Национальной библиотеке в Иерусалиме, а брат деда Иосеф Гдалия Клаузнер — литературовед, лингвист, историк, политический деятель, был одним из инициаторов возрождения национальной культуры на иврите.

Пятнадцатилетним подростком Амос, восстав против воззрений своих родителей, принадлежавших к возглавляемому В. Е. Жаботинским ревизионистскому течению в сионизме, оставляет Иерусалим и поселяется в кибуце Хулда. В 1961 году, завершив срочную службу в Армии обороны Израиля, он возвращается в свой кибуц и работает на хлопковой плантации. Тогда же он печатает свои первые рассказы в журнале «Кешет» («Радуга»), основанном в 1959 году известным поэтом и переводчиком Аароном Амиром для популяризации лучших произведений современной израильской литературы.

В 1956 году Оз заканчивает Еврейский университет, куда он был послан кибуцным движением, по специальности литература и философия, и снова возвращается

в кибуц — работает в поле, преподает в средней школе, пишет ...

Он принимал участие в Шестидневной Войне 1967 года, воевал в Синае, а во время Войны Судного Дня 1973 года сражался на Голанских высотах. Амос Оз последовательно выступает в печати по проблемам арабо-израильского конфликта, придерживаясь его компромиссного решения, основанного на взаимном признании, на сосуществовании двух народов. Нынешние переговоры между Израилем и палестинцами были, можно сказать, предсказаны Озом почти сразу после израильской победы в Шестидневной войне.

Перу Амоса Оза принадлежат пятнадцать книг: семь романов (назовем такие из них, как «Мой Михаэль», «Коснуться воды, коснуться ветра», «Черный ящик», «Познать женщину», «Третье состояние»), три сборника рассказов, четыре книги публицистики и одна детская книга — «Сумхи», удостоенная целого ряда премий, среди которых — «Медаль Ганса Христиана Андерсена».

Книги его вышли в тридцати странах на двадцати шести языках, в том числе на русском и на украинском (роман «До самой смерти» — журнал «Знамя», № 8, 1991 г.; киевский журнал «Всесвіт», № 3, 1991 г.; «Повісті», 1993 г.)

Самый популярный его роман «Мой Михаэль» (1968) был экранизирован, и фильм, как и книга, пользовался широким успехом.

Амос Оз — лауреат многих престижных литературных премий, израильских и зарубежных, почетный доктор нескольких университетов, член ряда академий, и среди них — Израильской Академии языка иврит. С 1987 года он профессор университета им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, где заведует кафедрой современной ивритской литературы.

Живет писатель в городе Арад, в пустыне Негев.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	стр.
№ 1. Terra Santa	9
№ 2. Лестница и ворота	13
№ 3. Здание «Дженерале» у улицы Мелисанда	20
№ 4. Ворота Terra Santa	25
№ 5. Кинотеатр «Эдисон»	30
№ 6. Общий пейзаж — по дороге на Иерусалим	36
№ 7. Общий вид квартала Мекор Барух	40
№ 8. Вид квартала Мусрара	46
№ 9. Монастырь Ратис Бон	53
№ 10. Иерусалимское окно	57
№ 11. Вид Иерусалима весной	62
№ 12. Иерусалимская больница	67
№ 13. Иерусалимский переулок	73
№ 14. Иерусалимское окно	77
№ 15. Переулок	81
№ 16. Переулок	85
№ 17. Переулок	90
№ 18. Дом, где была вечеринка	95
№ 19. Дом в Иерусалиме	100
№ 20. Пейзаж в Иерусалиме	105
№ 21. Балкон	111
№ 22. Внутренний дворик	115
№ 23. Стена с минаретом	124
№ 24. Стена университета	131
№ 25. Вид Иерусалима	139
№ 26. Вид Иерусалима	151
№ 27. Вид Иерусалимского дома — стена	158
№ 28. Балкон с занавесом	169
№ 29. Дом с кустом	176
№ 30. Двор — переулок	182
№ 31. Дворец	185
№ 32. Вход	193
№ 33. Здание на русском подворье	200

- № 34. Здание в переулке
- № 35. Стена
- № 36. Закрытые ворота
- № 37. Здание больницы
- № 38. Вид Иерусалима
- № 39. Вид квартала Мекор Барух
- № 40. Вид Иерусалима
- № 41. Иерусалимский вокзал
- № 42. Стена — символ конца романа

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПРОРОКОМ. А. Миллер	5
МОЙ МИХАЭЛЬ. Роман	7
ОПАЛЕННЫЕ РОССИЕЙ. А. Оз	275
АМОС ОЗ (Краткая биография)	299
Перечень иллюстраций	301

Амос Оз
«МОЙ МИХАЭЛЬ»
Роман

Запрещено копирование и распространение этой книги полностью или частично, любыми способами и средствами.— электронными или механическими, в частности, копированием, или записью на магнитную пленку — без письменного разрешения издателя

Технический редактор *Николаева Е. В.*
Корректор *Романова Е. К.*

Лицензия ЛР № 060571 от 22.01.92 г.

Подписано в печать 17.10.1994 г. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага кн-журнальная. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,96. Тираж 10 000 экз. Заказ № 10.

Научно-издательское предприятие «2Р»
107082, Москва, ул. Бакунинская, 77, стр. 3

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати, 113054, Москва, Валовая, 28



Амос Оз (Клаузер) — современный израильский писатель, публицист, эссеист и ученый.

Его перу принадлежат пятнадцать книг: семь романов (назовем такие из них, как "Мой Михаэль"; "Коснуться воды, коснуться ветра"; "Черный ящик"; "Познать женщину"; "Третье состояние"), три сборника рассказов, четыре книги публицистики и одна детская книга — "Сумхи", удостоенная

целого ряда премий, среди которых — "Медаль Ганса Христиана Андерсена".

Книги его вышли в тридцати странах на двадцати шести языках, в том числе на русском и на украинском (роман "До самой смерти" — журнал "Знамя", № 8, 1991 г.; киевский журнал "Всесвіт", № 3, 1991 г.; "Повісті", 1993 г.)

Самый популярный его роман "Мой Михаэль" (1968) был экранизирован, и фильм, как и книга, пользовался широким успехом.

Амос Оз — лауреат многих престижных литературных премий, израильских и зарубежных, почетный доктор нескольких университетов, член ряда академий, и среди них — Израильской Академии языка иврит. С 1987 года он профессор университета им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, где заведует кафедрой современной ивритской литературы.

Живет писатель в городе Арад, в пустыне Негев.

Амос Оз

Мой Михаэль

АМОС ОЗ МОЙ МИХАЭЛЬ

2 10 61

25.00